# Острее шпаги

# Александр Петрович Казанцев

###### Научно-фантастический роман о магистре прав, чисел и поэзии и его современниках в трех частях, с прологом и эпилогом

Искателей истин судьба нелегка,

Но тень их достанет в веках облака

Пьер Ферма (?)

### ПРОЛОГ

Ни куб на два куба, ни квадрато-квадрат и вообще никакая, кроме квадрата, степень не может быть разложена на сумму двух таких же.

Пьер Ферма

Мы с сыном, капитаном первого ранга, инженером, думали, что едем в купе вдвоем, но, когда в окне вагона замелькали трубы уральских заводов, с верхней полки вдруг спустился человек, назвавшийся Аркадием Николаевичем. Он оказался приятным собеседником, и я ему обязан всем, что дальше расскажу.

— А я думал, что вас нет, — простодушно признался я ему.

Аркадий Николаевич улыбнулся:

— Что ж, считайте меня «мнимой величиной»[[1]](#footnote-1), есть в математике такое понятие. Величина существует, и в то же время она мнимая.

— Как это понять? «Мнимая»? — спросил мой Олег.

Наш попутчик рассмеялся:

— Вот не слышал такого слова. Впрочем, оно точно выражает суть явления, связанного с «машиной времени».

— Вы допускаете ее? — искренне удивился я.

— В свое время категорически отрицал, ибо она противоречит закону причинности. Не может следствие произойти раньше причины, ребенок появиться раньше матери. Но потом... потом нашел оправдание.

Мой Олег сочетал в себе эмоциональность с дотошностью:

— И допускаете, что можно перенестись в недавнее прошлое, встретиться с собственной бабушкой, когда она была хорошенькой, и жениться на ней, став самому себе дедом?

— Если бы это было возможно для мнима.

— То есть?

— У каждого есть своя «машина времени» — это его ВООБРАЖЕНИЕ. Оно способно перенести и в прошлое, и в будущее, и за тридевять земель. Можно «присутствовать» при исторических событиях, скажем, стоять рядом с сумрачным императором во время битвы при Ватерлоо, но лишь как мнимая величина.

— Как мним? А это здорово! — восхитился Олег. — И Наполеон, скрестив руки на груди, пройдет сквозь меня, как через облачко тумана!..

— Поскольку вы находитесь там как плод собственного воображения.

— Словом, «я тебя вижу, а ты меня нет!»

— Если хотите, то да.

— Но ведь вас-то мы видим, а вы назвали себя мнимой величиной.

— Я просто заметил на столике вашу книжку «Теорема Ферма» и вспомнил о своем недавнем путешествии на триста лет назад, когда я находился рядом с Ферма, как «мним».

— Что? — поразился я, косясь на попутчика.

Надо сказать, что у меня склонность к фантазии сочетается со скептицизмом. Мне доводилось встречаться с «марсианином», приходившим ко мне (как я четверть века назад описал в своем рассказе «Марсианин»), чтобы доказать свое неземное происхождение, и со свидетелями приземления из космоса «летающих тарелок», даже с Иисусом Христом, который явился ко мне сообщить об «открытии самого себя». Оказывается, любое желание одного техника по телевизорам из Львова телепатически передавалось окружающим и беспрекословно выполнялось.

Видимо, я был исключением, а потому мне с немалым трудом, но все же удалось убедить его прислать (но уже из Львова) подробное описание его «прозрения». Каюсь, я терзался тем, что упустил, быть может, интересного для науки человека-экстрасенса, наделенного необыкновенными способностями.

Аркадий Николаевич не был телепатом, но, логически мысля, угадал мои опасения:

— Уверяю вас, я совершенно в своем уме. Мне просто потребовалось для теории насыпей, над которой работал, доказательство Великой теоремы Ферма.

— xn + yn = zn — не имеет целочисленных решений при n > 2, — вмешался Олег. — Но этого доказать ученые не смогли в течение трехсот лет, даже создав новую отрасль математики.

— Алгебраическую теорию чисел. Вы правы. Ферма не знал ее, написав на полях «Арифметики» Диофанта: «*Ни куб на два куба, ни квадрато-квадрат и вообще* (заметьте, „вообще“ — обобщение!) *никакая, кроме квадрата, степень не может быть разложена* (заметьте, „разложена“!) *на сумму двух таких же. Я нашел удивительное доказательство этому, однако ширина полей не позволяет здесь его осуществить*», — наизусть процитировал Аркадий Николаевич.

— Приведено в этой книжке, — показал я брошюру[[2]](#footnote-2), захваченную Олегом в дорогу, — но дальше сказано: «Следует со всей решительностью предостеречь читателя искать элементарное доказательство теоремы Ферма. Можно быть уверенным, что это будет лишь ненужная трата труда и времени. Во всяком случае, ни издательство, ни автор книги „Теорема Ферма“ М. М. Постников ни в какую переписку по поводу теоремы Ферма вступать не будут».

— Потому мне и нужен был сам Ферма.

— Зачем?

— Чтобы получить у него его доказательство.

— А было ли оно? — вступил Олег. — Ферма мог найти собственную ошибку, как находили впоследствии ошибки в несчетных доказательствах теоремы, а потому не записал и не опубликовал своего доказательства!

— Ферма вообще почти никогда не публиковал своих доказательств. Он сделал открытие в математике и как бы просил всех принять его вызов и повторить то, что удалось ему сделать.

— Кто же он? Шутник? «Принцесса Турандот от науки» или гордец с непомерным самомнением?

— Нет, нет! Просто скромный автор «математических этюдов», предлагаемых, подобно шахматным, для решения любителям математики.

— И что же? Доказывали его выводы? Решали эти этюды?

— Только Эйлеру в следующем столетии удалось это сделать, исключая Великую теорему, которую доказал только сам Ферма.

— Почему вы в этом уверены?

— Потому что он подсказывал, как это сделать.

— И вы у него это узнали? С помощью спиритического сеанса? — иронизировал Олег.

— Нет, зачем же? С помощью анализа его намеков, изучения других сделанных им открытий и с помощью воображения, которое способно все это объединить, создав образ Ферма.

— Конечно, «бессмертного академика», как это принято во Франции.

— Он даже не слышал о таком звании. Бессмертного, но не по выбору старцев в мантиях или по королевскому указу, а по сделанному им вкладу в науку, ощутимому и в наши дни.

— И у вас, говорите вы, состоялась встреча с ним? — наседал Олег.

— Я вообразил ее. А «беседа» с ним вылилась в чтение его трудов, изданных полвека спустя его сыном Самуэлем, тоже ученым и поэтом, как отец.

— Так! И что же вам сказал «при свидании» Ферма?

— В его отказе публиковать свои доказательства, пожалуй, было больше скромности, чем желания возвыситься над всеми, кому он предлагал найти им найденное. Но вместе с этой его чертой в нем можно увидеть и кое-что поглубже. Например, не без скрытого лукавства пишет он на полях книги Диофанта замечания, неоднократно употребляя частицу «ни». И вовсе не для усиления отрицания, а для того, чтобы подчеркнуть существование единого, общего способа разложения степени на сумму слагаемых той же степени.

— И есть такая формула?

— Конечно, есть! Я отыскал бином Ферма, несправедливо забытый. Отталкиваясь от него, я прошел путем Ферма к доказательству его Великой теоремы.

— Кажется, вы докажете сейчас если не теорему, то реальность своего путешествия к Ферма, — пошутил я.

— Пожалуй, результат математического вывода может служить таким доказательством.

— Так вы же сможете получить знаменитую премию, обещанную за доказательство теоремы Ферма!

Аркадий Николаевич усмехнулся:

— Это немецкий любитель математики Вольфскель в 1908 году завещал сто тысяч марок тому, кто докажет теорему Ферма.

— Но, по вашим словам, вы это сделали!

— Нет. Я лишь нашел доказательство у Ферма.

— Значит, вы действительно побывали у него, перебирали его записи и смело можете рассказать, как он выглядел триста лет назад.

— Записи перебирал, это верно. Мне он представляется из моей «машины времени» (воображения!) веселым, толстым и многодетным человеком, который служил в суде, попутно занимался математикой для души, делая гениальные открытия, не придавая им особого значения. Что же касается получения премии, то она принадлежит его потомкам, а не мне. И вряд ли может их обрадовать.

— Ну что вы! Сто тысяч марок — это вещь! — заметил Олег.

Аркадий Николаевич расплылся в улыбке:

— Вам, конечно, известно, что одинокая и богатая почитательница Жюля Верна после его романа «Из пушки на Луну» завещала свое значительное состояние первому человеку, который ступит на Луну. Им оказался Армстронг. И не так давно в Париже ему вручили премию дамы XIX века. Но, увы, после двух мировых войн и многократных девальваций франка завещанной суммы хватило астронавту лишь на покупку легкого плаща на память о щедрой парижанке. Боюсь, что остатков премии Вольфскеля в марках хватит разве что на одни рукава.

— Но не можете же вы утаить от всего мира то, что нашли у Ферма, неважно, побывали у него или нет! — горячился Олег.

— Увы, вы сами прочитали в этой брошюре предупреждение. Кто согласится разделить со мной ответственность за найденное мной у Ферма его доказательство? Кто поверит в это?

— Но вы же не мнимая величина, а реальный человек?

Вместо ответа Аркадий Николаевич протянул визитную карточку, напечатанную на меловой бумаге машинописным шрифтом: «Аркадий Николаевич КОЖЕВНИКОВ, Главный специалист института Сибгипротранс. Новосибирск». На обороте от руки — адрес: «630076, Новосибирск, 76, Вокзальная магистраль, 17, кв. 23».

— Прекрасно, — сказал я. — Теперь математики вас найдут, не говоря уже обо мне! Если вы, конечно, не растворитесь сейчас в воздухе.

Аркадий Николаевич загадочно улыбнулся и в воздухе не растворился.

Поезд подошел к Свердловску. Мы с сыном направились к выходу, где нас встречали уральцы, с которыми я хотел познакомить идущего сзади Аркадия Николаевича. Но... когда я обернулся, то его уже не было. Он словно растворился в воздухе.

— Мним! — многозначительно произнес Олег без тени улыбки на лице.

Но все-таки он шутил! Мы оба не верили, не могли верить в «машину времени», которая вдруг забросила в купе идущего поезда путешественника во времени на пути из будущего в эпоху Ферма или обратно! Нет, это был самый реальный человек, передавший мне реальную карточку, по которой можно отыскать реальное доказательство теоремы трехсотлетней давности.

Я-то, конечно, это сделаю, не знаю, как математики, потому что эта встреча в пути задела во мне самое сокровенное, пробудила неутолимый интерес к удивительному человеку, гордецу или скромному гению, тень которого и поныне тревожит математические умы.

Если мой попутчик силой воображения мог перенестись в кабинет Ферма, то не пример ли это для меня, фантаста, быть может, способного вообразить и самого Ферма, и его время, проследить за его жизнью, о которой известен лишь скупой пунктир дат: родился, учился, женился, переписывался, скончался? Не обязан ли я, хоть в виде «мнима», оказаться с ним рядом, чтобы восполнить промежутки между равнодушно вбитыми колышками на его пути?

Однако то, что нарисует воображение, не может быть точным отображением ни подробностей жизни подлинного исторического лица, ни поэтических его произведений, не дошедших до нас, ни даже математических открытий, сформулированных, но намеренно не доказанных, словом, все это требует от автора, во избежание справедливых упреков уважаемых историков, осудивших в свое время самого Александра Дюма за вольное обращение с историей (отчего, кстати сказать, популярность его романов не пострадала за счет отнесения их к авантюрному жанру!), словом, все это, быть может, требует от автора, претендующего на безукоризненность повествования, изменения имен персонажей в такой же мере, в какой нельзя точно отразить их исторический облик, располагая слишком скудными и малодостоверными сведениями о них.

Но форма научно-фантастического романа позволила автору преодолеть собственные сомнения и, уподобясь «мниму», решиться на фантастический экскурс в историю, в прошлые века, назвав все-таки героев своими именами.

Вместе с тем автор не берется утверждать (это дело математиков), что находка его спутника в фирменном поезде «Урал» А. Н. Кожевникова может удовлетворить строгих судей математических доказательств, ибо не Великая теорема Ферма привлекла внимание автора (и, надеюсь, читателей), а сам неповторимый образ непревзойденного математика.

Вперед, читатель, если и ты готов превратиться в «мнима»!

Вернее, назад! На сотни лет назад!

Альпийский сонет

У юности первый и легкий подъем.

До неба открылись просторы.

Мы песни признанья любимым поем,

Все в жизни — далекие горы.

Пусть там, в поднебесье, и холод и лед,

Под солнцем снега не согрелись.

На склоны и скалы нас властно зовет

Вершины манящая прелесть.

К высотам познанья! За кручей обрыв!

Дороги орлам незнакомы.

Пройдет человек лишь, но прежде открыв

Природы и Чисел законы.

Искателей истин судьба нелегка,

Но тень их достанет в веках облака.

Пьер Ферма

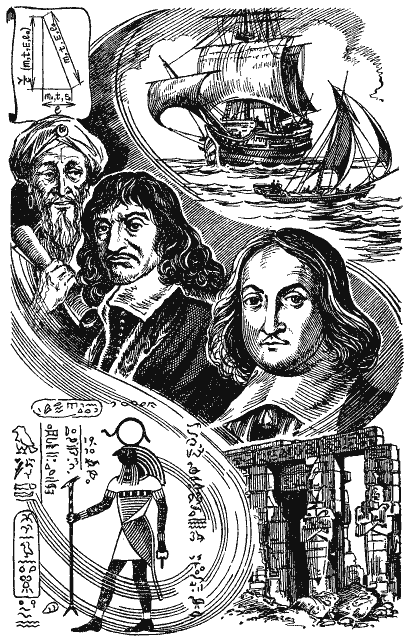
Из числа ненайденых стихотворений на французском, испанском и латинском языках периода 1625—1659 годов в «переводе» автора данного романа.

### Часть первая

### ЮНОСТИ ПЕРВЫЙ И ЛЕГКИЙ ПОДЪЕМ

Поведение — это зеркало, в котором каждый показывает свой лик.

В. Гёте



#### Глава первая.

#### В МУШКЕТЕРСКИЕ ДНИ

В героях повести, которую мы будем иметь честь рассказать своим читателям, нет ничего мифологического.

Александр Дюма

Всему миру известно (благодаря ослепительному таланту Александра Дюма-отца), как в первый понедельник апреля 1625 года в маленький городишко Менг, не найденный мной на современных картах Франции, но тем не менее прославленный рождением в нем ныне малоизвестного автора «Романа о розе» Жана Колпенеля Менгского, въехал знаменитый литературный герой на кляче столь необыкновенной, кажется, поразительно желтой масти, что она вызвала смех и удивление толпы зевак у гостиницы «Вольный мельник», на всякий случай вооруженных чем придется, ибо происходило это событие в полное смут и разбоя время короля Людовика XVII, что величал себя Справедливым, хотя был просто капризным, а подлинно правил Францией коварный, умный и жестокий кардинал Ришелье (герцог Арман Жан дю Плесси).

Но мало кто знает, что не у литературного героя, а у подлинного гасконского дворянина д'Артаньяна, впоследствии капитана-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров, чьи мемуары, опубликованные в 1701 году, блистательно и вольно использовал для своего романа несравненный Дюма, существовал сверстник, действительный современник, который на самом деле въехал в тот же первый понедельник апреля 1625 года, но не на кляче желтой масти, а в почтовой карете, забрызганной дорожной грязью, не с длинной и грозной шпагой, успешно заменявшей тому образование, а со степенью бакалавра, способной стать острее шпаги, и не с напутствием благородного отца, а в сопровождении почтенного родителя, второго консула городка на юге Франции, носящего название Бомон-де-Ломань, и въехал сей современник д'Артаньяна не в Менг, а в портовый город Тулон, где тоже встретил пеструю толпу людей, которые собрались, однако, не по поводу появления всадника на кляче редкой масти или прибытия грязноватой почтовой кареты, а просто, как обычно, толкались вблизи порта с его ящиками, тюками, корзинами, досками, бочками, шумного из-за разноязычного говора, ругани, скрипа и грохота телег, душного благодаря острым запахам ворвани, рыбы, жареных каштанов, фруктов и все же чем-то волнующего из-за дыхания моря, моря, не виданного прежде молодым бакалавром.

В толпе мелькали разноцветные платки на лохматых матросских головах, всевозможные береты, кепи, шляпы с перьями и без перьев, порой виднелись издали заметные чалмы правоверных мавров, побывавших в Мекке, а изредка над всей этой пестротой проплывал замысловатый женский головной убор, напоминая парусник, рассекающий морские волны.

Отец и сын из Бомон-де-Ломань не направились по примеру остальных пассажиров почтовой кареты к гостинице «Пьяный шкипер» с ржавым якорем над входом вместо вывески, а пошли прямо в порт, где у набережной сгрудилось несметное число лодок, шлюпок, фелюг и рыбачьих суденышек и в солидном отдалении от них на рейде стояли со спущенными парусами несколько каравелл и других парусников.

Почтенный второй консул Бомон-де-Ломань стал подыскивать суденышко, которое могло бы за недорогую плату пересечь Средиземное море и доплыть до Египта, не перевернувшись в пути.

Такое желание толстого француза так заинтересовало нескольких владельцев фелюг и возбудило в них столь беспокойные чувства, что они окружили второго консула из Бомон-де-Ломань, галдя, толкаясь и наперебой предлагая свои услуги. Все эти люди в фесках, принесенных завоевателями из Османской империи, с дубленной всеми ветрами коричневой кожей и продувными физиономиями.

Почтенному второму консулу показалось, что это пираты устремились к нему, беря его на абордаж, и он отчаянно защищался, довольно беспомощно размахивая короткими руками.

Однако шумные предложения услуг продолжались до тех пор, пока метр Доминик Ферма, так звали второго консула, не остановил свой выбор на одном из египтян, который лучше других объяснялся по-французски и менее других походил на морского разбойника, хотя, несомненно, был им, заломив за доставку двух французов в Александрию тысячу пистолей — цену совершенно разбойничью.

— Да вся твоя грязная фелюга с тобой вместе в придачу не стоит этого мешка золота! И пусть сам святой Доминик подтвердит мою правоту, — воздев руки к небу, возгласил тучный француз.

Надо отдать должное возмущенному метру Доминику Ферма, он был расчетлив и скуп, не взяв с собой даже слуги.

Пока отец торговался с моряками, его сын вышел на берег, наслаждаясь дуновением ветра и любуясь морским простором, небесной синевой и белокрылыми чайками, срывающими пену с морской волны.

Молодой человек был поэтом, владел несколькими языками и писал стихи с одинаковым изяществом и по-латыни и на древнегреческом, а также на французском и испанском языках, и, как с похвалой отзывались о нем знатоки светской поэзии, писал так, словно подолгу жил при дворе самого императора Августа или при дворах католических королей в Париже или Мадриде.

Теперь под шум прибоя и крики чаек он сочинял стихи о море. Ему вспомнилась строчка из восьмой песни «Илиады»:

«Долго как длилося утро и день возрастал светоносный...»

И сами собой стали слагаться гекзаметром размеренные строки гимна — ослепляющей красоте стихии и рождающей возвышенные чувства, стихи, сочиненные не на французском, а на древнегреческом языке, потому что наш поэт весь был полон мечты о путешествии в Александрию к могиле великого Диофанта, загадочную надпись на могильном камне которого он мечтал сам прочитать и перевести, ибо, по слухам, ее надо было решать как математическую задачу.

Длинные мягкие волосы волной ложились на плечи молодого человека, обрамляя задумчивое лицо, удлиненное тяжеловатым носом, но освеженное девичьими нежными губами с пробивающимися над ними усиками, а большие умные глаза смотрели как бы сквозь рассматриваемый предмет. Так, по крайней мере, показалось юркому французу с плутовским взглядом и притворной улыбкой, который подошел к юному бакалавру и не мог понять восторга поэта перед морем и чайками. Кивнув в сторону метра Доминика Ферма, окруженного владельцами фелюг, он произнес:

— Я слышу, почтенный господин подыскивает фелюгу для морского путешествия, быть может совместно с вами, сударь?

Молодой бакалавр лишь проницательно посмотрел на говорившего, отчего юркий француз поежился и стал оправдываться приказом своего хозяина отыскать в порту возможных попутчиков.

Между тем спор на набережной не утихал, и хриплый голос моряка продолжал настаивать на тысяче пистолей, якобы названной им по велению самого аллаха, а срывающийся фальцет второго консула Бомон-де-Ломань выкрикивал, что морской разбойник пытается выманить у него в четыре раза больше, чем допустит сам господь бог!

Неожиданно к торгующимся подошел высокий стройный офицер в мундире королевской гвардии, с нарядной шпагой на боку и с изысканной вежливостью произнес:

— Почтенный метр, и ты, любезный, ваши достаточно громко произнесенные слова сделали участниками вашего спора многих, в том числе и меня, могущего предложить вам решить ваш спор так, чтобы каждый получил бы или отдал то, что желает.

Моряк и метр Доминик Ферма замолчали от изумления, а блестящий офицер продолжал:

— Нет ничего проще, почтенный метр, вам заплатить за доставку вас с сыном в Александрию двести пятьдесят пистолей, а тебе, любезный, получить свою тысячу пистолей.

Моряк и буржуа, только что так громко спорившие, стараясь перекричать друг друга, теперь надолго смолкли, как бы состязаясь в разгадывании удивительной задачи, пока наконец моряк первым не обрел дар слова и не начал выражаться высоким стилем знатных господ, бог знает где научившись этому, притом жалостным, но по-прежнему хриплым голосом:

— Его светлости господину высокородному офицеру угодно посмеяться над бедным моряком, который слабее в искусстве счета, чем ученые господа, но он хорошо считает до трех, а потому знает, сколько у него сварливых жен, а уж кучу детей пересчитать не может, хотя знает, что их надо кормить, поить, одевать, наряжать и украшать серьгами и кольцами, что стоит никак не менее тысячи пистолей.

— Я же сказал, любезный, что ты получишь их, а вы, почтенный метр, не истратите больше того, что хотели.

— Но как?

— Как? — воззрились на офицера оба спорщика.

Внезапно в разговор вступил подошедший Пьер Ферма, бакалавр:

— Это не так трудно определить. Вероятно, господин офицер имеет в виду, что на фелюге отправимся не только мы с отцом, но и он со своим слугой, а шкипер не только переправит нас в Александрию, но и доставит обратно в Тулон. Половину же расходов, очевидно, господин офицер намерен принять на себя.

— Ах вот как! Слава святому Доминику! — обрадовался второй консул. — Как же, Пьер, ты додумался до решения, столь же неожиданно простого, как и удачного?

— Прежде всего, потому, что оно принадлежит не мне, а господину офицеру, чей слуга признался мне, что отыскивает попутчиков своему господину. Остальное — дело арифметики.

— Я счастлив буду иметь такого попутчика, как его светлость! — обрадованно воскликнул метр Доминик Ферма.

— О нет, нет! — поморщился офицер. — Я не граф и уж тем более не герцог, чтобы обращаться ко мне как к светлости. — И, обернувшись к Пьеру Ферма, поклонился и неразборчиво назвал свое имя, потом снова обратился к Ферма-отцу: — Я служу его величеству королю и его высокопреосвященству кардиналу.

— Ниспошли господь успеха им во всех их мудрых делах, и его величеству и его преосвященству, а также и вам, сударь, за то, что вы так блистательно решили, казалось бы, неразрешимую задачу. Пусть кто-нибудь скажет, что я не прав.

— Однако ее с завидной легкостью решил и ваш сын, метр. Это делает ему честь.

Офицер был лет на десять старше Пьера Ферма и говорил о нем чуть свысока. Молодому бакалавру это не доставило удовольствия, но, обладая характером скорее добрым и веселым, чем заносчивым, он не придал этому особого значения, полагая, что ничто так не сближает людей, как совместное путешествие.

Все это время египтянин тщетно силился одолеть вопрос, как же он получит свое золото, если этот толстый скряга останется довольным? И он на всякий случай снова завел разговор о своих трех сварливых женах, детях, нарядах и украшениях для них.

Тогда метр Доминик Ферма, обретя отличное расположение духа, решил пошутить и, обращаясь к моряку, сказал:

— Вот что, милейший разбойник. Ты так много болтаешь о сварливых женах, что послушай теперь притчу о них. Святой Доминик учил, что в рай попадают не только праведники, но и глубоко несчастные люди. И следит за этим святой Петр, у которого ключи от рая. Однажды не совсем праведная душа умершего поведала, какие горести познала в жизни от сварливой жены. Долго взвешивал святой Петр грехи и несчастья бедного мужа и все-таки открыл ворота рая. Второго же горемыку, натерпевшегося от двух сварливых жен, он пропустил в рай без размышлений. Но тут, расталкивая локтями души умерших, к воротам рая стал пробиваться некто, отстранив даже самого святого Петра. «Куда ты?» — спросил тот его. «У меня было вдвое больше сварливых жен, чем у того, кого ты только что пропустил без раздумий, — четверо!» — «Э, нет! — ответствовал Петр. — Дураков в рай не пускают!» Так что, милейший, пока не поздно и у тебя только три сварливых жены, переходи скорей в истинную веру святой католической церкви! — И почтенный буржуа заколыхал в смехе всем своим грузным телом и затряс жирными подбородками.

— О несчастный неверный! Да замкнутся твои уста, пока всесильный аллах не услышал твои кощунственные речи! Как только можно выговорить такое! — Религиозный страх так обуял моряка, что он заколебался было, но желанный мешок золота предстал перед его мысленным взором и взял верх, а потому египтянин закончил смиренно: — Видно, аллах посылает испытание, и мне придется, высокородные господа, плыть с вами в Аль-Искандарию, лишь бы не настиг нас всех гнев великого аллаха.

— Ну вот и хорошо, — решил блестящий офицер и добавил, кладя руку на шпагу: — Но пусть моя шпага, любезный шкипер, будет гарантией твоего достойного поведения на фелюге. Имей в виду, что это оружие так же не терпит шуток, как и арифметика, в которой ты, по твоим словам, слабоват.

— Да спасет меня аллах и всех жен и всех детей моих! — только и мог вымолвить египтянин, снимая и надевая феску.

Следом за ним четыре француза двинулись к его фелюге, которая, имея на борту лишь одну каюту, ничем не отличалась от других фелюг, чьи хозяева оказались менее удачливыми, чем их собрат, мысленно уже держащий в руках обещанный французами мешок золота.

— И вы никогда прежде, юный друг мой, не плавали в море? — снисходительно поинтересовался у Пьера офицер.

— Только в мыслях, мечтах и стихах, которым я отдаю свой досуг, — простодушно признался Пьер Ферма.

— Я бы посоветовал вам, молодой мой друг, отдавать свой досуг более значительным занятиям, чем стихосложение, например философии или математике, к которой вы, возможно, расположены, если вам, конечно, чужды такие благородные занятия, как фехтование и верховая езда.

Пьер Ферма ничего не ответил своему новому спутнику, только чуть заметно улыбнулся. В отличие от него он знал, с кем имеет дело.

#### Глава вторая.

#### ШПАГА И ВЕТЕР

Где мысль сильна — там дело полно силы.

В. Шекспир

Долгие дни плавания по Средиземному морю могли быть скучными для кого угодно, но лишь не для нашего молодого бакалавра с душой поэта, ибо в это первое морское путешествие все восхищало его, и прежде всего удивительная переменчивость моря, которое он ни разу не видел одинаковым, то величественным в застывшем эмалевом спокойствии, словно заимствованном, как и цвет бесподобной синевы, у ясного неба, то искрящимся от горизонта к горизонту серебристой рыбьей чешуей с горящей золотом солнечной дорожкой, то мятущимся, с морщинами бегущих под хмурыми тучами валов, похожих на сорванные неведомой силой холмы родных апеннинских предгорий с вершинами, вздыбленными в неистовом беге пенными гривами, то мертвым, усталым, баюкающим певучей сказкой слепца о далекой, сотрясающей мир битве гороподобных великанов, которым по пояс облака.

— Не угодно ли будет моему молодому спутнику развлечься в сражении за шахматной доской? — услышал увлеченный мечтой поэт голос своего попутчика в офицерском мундире.

Как всегда, а это было уже не раз, бакалавр согласился и стал наблюдать, как юркий слуга офицера Огюст, выполняя приказ господина, принес из каюты клетчатую доску и поставил ее на бочонок между двумя вынесенными для партнеров подушками.

Почтенный Доминик Ферма, с трудом переносивший морское путешествие, увидев, что Огюст подготовляет шахматное сражение, тоже выбрался на палубу и с оханьем и причитаниями, вызванными тошнотой, занял место в стороне от доски, на которой офицер расставлял уже резные фигуры.

— Шахматная игра освящена самим его высокопреосвященством господином кардиналом, поскольку, как известно, его величество и его высокопреосвященство проводят немало времени за этой благородной игрой, что отнюдь не вредит государственным делам, — назидательно заметил метр Ферма.

— Разыгрывая испанскую партию и всячески уклоняясь от столкновения с испанским королем, — весело отозвался молодой бакалавр.

— Солдату не дано судить о политике, если его высокопреосвященство и его величество в великой заботе своей о благе страны направят ее или по стезе мира, или по тропе войны, — заметил офицер, делая ход пешкой от своего короля.

— Могут ли войны приносить благо народам? — спросил Пьер Ферма, делая ответные ходы, кстати сказать, разыгрывая ту же испанскую партию, излюбленную шахматистами того времени.

— Если вы склонны к философии, сударь, — заметил офицер, — то это лишь может порадовать меня, поскольку философия, подобно математике, организующей числа, организует человеческое мышление, каковое следует считать неотъемлемым свойством человеческой души.

— А что мы знаем о ней, кроме обещанного церковью ее бессмертия? — не без некоторого юмора спросил Пьер Ферма.

— Я уже испытан вашей склонностью, юный друг мой, задавать окружающим загадки, но на этот раз должен заметить, что нет вопроса более трудного из всех могущих быть заданными, однако я все же попытаюсь дать ответ на него.

— Неужели? — с улыбкой спросил Пьер Ферма, жертвуя легкую фигуру для начала атаки.

Его партнер задумался, стараясь хоть на этот раз уйти от разгрома и не дать торжествовать над ним юнцу, столь же беспечно веселому, сколь и недостаточно почтительному к более старшему по возрасту спутнику дворянского звания. Но эта мысль не изменила снисходительного тона, избранного офицером в отношении Пьера Ферма, хоть тот и выигрывал у него одну за другой шахматные партии, которые все же скрашивали длительное морское путешествие.

— Если говорить философски, мой юный друг, то душу надо рассматривать как часть двуединого начала, соединяющего душу и тело.

— Извините за незрелые вопросы, сударь, — сказал Пьер Ферма, развивая атаку на шахматной доске, — но как представляете вы себе эти двуединые части целого, душу и тело?

— Премудро, да согласится со мной святой Доминик! — воскликнул Ферма-старший. — Подобные рассуждения впору услышать от их преосвященств во время теологического спора, не говоря уже о самом их высокопреосвященстве господине кардинале!

— Мне приходилось выражать эти свои мысли именно его высокопреосвященству, который, уверяю вас, отнесся с большим вниманием к тому, что именно душа обладает мышлением, служа оживлением мертвого механизма человеческого тела и обладая к тому же и волей. И особенного внимания его высокопреосвященства заслужила формула «Я мыслю — следовательно, существую!».

— Как же так? Как же так? Осел не мыслит, а существует! — воскликнул Доминик Ферма.

Офицер усмехнулся:

— Возможно, вы, метр, согласитесь со мной в том, что человек может быть ослом, но осел не может быть человеком, ибо не обладает душой.

— Вы говорили о войне для блага страны. Но может ли быть война благом для людей? Не служит ли свидетельством обратному море, по которому мы плывем?

— Что именно мыслит ваша душа, юный мой друг? Что подразумеваете под морем, чуть ли не знаменующим войну?

— Если иметь в виду историю ее берегов, то это так.

— Историю? — удивился офицер. — Вы знаете историю его берегов?

— Конечно, недостаточно, но, изучая языки, а у меня к этому большое влечение, я неизменно сталкивался с тем, что ушедшие в прошлое классические языки — следы и завещания погибших в войнах культур. Хотя бы Египет, куда мы держим курс! Надо ли говорить о его древнем величии? А уничтоженный Римом Карфаген, на месте которого ныне, где Алжир, гранича с новой Османской империей, процветает «государство пиратов»!

— Изучение языков, несомненно, пошло вам на пользу, мой юный друг, но я, признавая вашу начитанность в вопросах истории, не рекомендовал бы вам сейчас поминать государство пиратов, вдоль берегов которого мы плывем.

— О каких пиратах изволит говорить господин высокородный офицер? — раздался хриплый голос шкипера; он подошел к играющим, чтобы узнать, на какой заклад они бьются.

Партия закончилась в пользу Пьера Ферма, и он, положив золотую монету в карман, стал помогать офицеру складывать фигуры в коробку с инкрустациями.

Египтянин же, воздев глаза к небу, начал изрыгать хулу на неверных, проигрывающих презренное золото не в благородные кости, вверяясь счастью по воле аллаха, а в языческую игру ума, не упомянутую в коране. Все это египтянин, давая выход своим чувствам, для надежности произнес по-испански, не подозревая, что бакалавр поймет его.

Пьер же Ферма так возмутился, что решил проучить зарвавшегося хозяина фелюги.

— Что ж, любезный шкипер, — начал он, — вы правы, называя золото презренным, хотя и везете его на своей фелюге, в особенности если учесть близость государства алжирских пиратов, где их кровавое ремесло почитается за славное занятие, ничем не худшее, чем военные походы. И не пиратские ли берега можем мы сейчас разглядеть? А что, если пираты осведомлены о том, что в море плывет египетская фелюга с мешками золота, принадлежащего французам? Есть все основания подозревать, что кое-кто, слушая торг на набережной в порту, мог сообщить пиратам о такой доступной и лакомой добыче, как наша фелюга. Не так ли, любезнейший?

— Да запечатает аллах ваши уста, молодой господин! — взмолился шкипер. — Именно этого я боялся, выслушав богохульственные слова вашего почтенного отца, который хотел отнять у меня правую веру, предлагая из-за моих сварливых жен перейти в неверие. И аллах может наказать нас пиратским кораблем, лишив своего верного раба сна и покоя.

Подавленный словами Пьера Ферма, шкипер, опустив голову и свесив руки, пошел к рулю, где нес вахту один из двух чернокожих матросов, как узнал Пьер Ферма, невольников. И он даже остался доволен в душе тем, что «лишил египтянина-рабовладельца сна и покоя».

Шутка молодого бакалавра оказалась вещей, ибо не успел шкипер добраться до руля, как один из его невольников крикнул от борта, что видит корабль со стороны солнца.

Все вскочили, приложив руку к глазам, чтобы солнце не ослепляло. Но именно потому, что солнце светило со стороны страшного пиратского берега, распущенные паруса корабля казались черными, впрочем, может быть, они были действительно сшиты из черной парусины.

— Алла, алла! — завопил шкипер. — Я знал, что великий аллах накажет меня за то, что его правоверный решился якшаться с неверными французами, да будет проклято их золото и да будет проклята их неверная вера, о горе, горе мне, несчастному!

— Любезный, — строго прервал его офицер. — Я предупреждал тебя, что моя шпага не любит шуток.

— Но шутил не я, высокородный господин. Его светлость сами изволили слышать, как этот незрелый француз осмелился вспоминать о береге пиратского государства, о пиратах, которые могли узнать о французском золоте в мешках на моей несчастной фелюге! О горе, горе мне!

— Любезный, попридержи язык, иначе вмешается моя шпага. Если это пираты, то мы должны встретить их достойно. Что же касается моего молодого друга, то он был вправе предположить, что среди твоих приятелей с других фелюг, слышавших ваш торг с метром о тысяче пистолей, оказались предатели, которые вышли из порта вслед за твоей фелюгой, чтобы донести о ней пиратам. Так что не пытайся свалить вину с твоих приятелей на моих соотечественников, иначе... — И он выразительно коснулся рукой шпаги.

— О горе, горе мне! — причитал шкипер.

Меж тем корабль с черными или казавшимися черными парусами приближался. Горячий ветер дул с берега и при большой парусности корабля обеспечивал ему прекрасный ход. Несчастная фелюга со своим ничтожным прямоугольным и косым парусом, казалось, стояла на месте.

Передав руль чернокожему невольнику, шкипер направился к французам.

— Ваша светлость и другие почтенные господа. Не думайте, что я забочусь о своей жизни. Меня ждут в раю гурии, а здесь — сварливые жены. Я беспокоюсь за вас, кого я взялся доставить в Аль-Искандарию.

— Что ты хочешь сказать, любезный? — строго спросил офицер.

— Нужно договориться с отважными пиратами, да спасет нас от них аллах.

— То есть как это договориться? — забеспокоился и сразу обрел на некоторое время потерянный дар речи метр Доминик Ферма.

— Я имею в виду, досточтимый метр, откупиться от них вашим золотом, о котором они прослышали. Пусть они получат этот проклятый металл, вам оставят жизни, а мне — фелюгу с невольниками, если те не перебегут на корабль, чтобы тоже стать пиратами, будучи в душе разбойниками и всегда причиняя мне тем заботы и хлопоты.

— Не болтай, любезный, если не хочешь быть проткнутым, как каплун вертелом.

— Ваша светлость, пощадите, да простит мне аллах!

— Он хочет ограбить нас, клянусь святым Домиником! Ограбить раньше пиратов, недаром он показался мне морским разбойником еще в Тулоне, — вздыхал Ферма-старший.

Пьер Ферма тем временем вглядывался в приближающийся корабль:

— Паруса казались черными из-за находившегося позади них солнца, теперь корабль чуть изменил курс, чтобы пересечь нам дорогу, а паруса его, если заметите, стали кровавыми, отражая свет зари. Право, это прекрасное зрелище.

— Если бы не выброшенный ими флаг, который не заалел от зари, а стал еще чернее, — заметил офицер.

— Неужели это и впрямь пираты? Что нам делать, научи нас святой Доминик.

— Что касается меня, господа, то вот мое слово офицера и вот вам моя шпага. Я сумею защитить своих соотечественников, пока я мыслю, то есть пока существую.

— Но ведь их десятки, сотни, — простонал метр Доминик Ферма.

— Эй, любезный шкипер, ко мне! — скомандовал офицер. — Я принимаю на себя команду во время абордажа, на который, несомненно, пойдут пираты.

Поведение египтянина могло показаться странным, он расстилал перед каютой молитвенный коврик и, неохотно повинуясь, направился к офицеру.

— Какое есть оружие на борту?

— Только старые турецкие сабли, ваша светлость, ятаганы.

— Сам станешь к рулю, твои черные матросы с саблями будут возле меня по обе стороны, Огюст с двумя пистолетами прикроет нас сзади, мой юный друг, поэт и бакалавр, будет заряжать Огюсту пистолеты, а вы, метр, будете перевязывать раненых, заранее приготовив для этого бинты. Огюст сейчас принесет мои тонкие рубашки, чтобы разорвать их на бинты, а также пистолеты, пули и пороху.

— Поистине, ваша светлость, когда вы мыслите, то и мы существуем, да поддержит нас святой Доминик, — проговорил Ферма-старший.

Меж тем Пьер, не обращая внимания на отданные офицером распоряжения, стоял у борта и оценивающе рассматривал паруса приближающегося корабля, на борту которого уже виднелись вооруженные саблями люди в самых разнообразных одеждах. Они размахивали абордажными крючьями и что-то кричали. Голосов их пока слышно не было, но корабль, подгоняемый горячим береговым ветром, рвался к своей маленькой жертве.

Бакалавр стоял, и его губы шевелились, словно он читал стихи или молитву, однако он не делал ни того ни другого, он считал.

Что-то вычислив, он решительно направился к шкиперу.

— Любезный моряк, — сказал он, — мне удалось сейчас высчитать, как ты можешь избежать на своей фелюге встречи с пиратским кораблем.

— О аллах! Зачем же еще издеваться над бедным мусульманином, почтенный человек? Как может фелюга уйти при таком ветре от многопарусного корабля? Лучше убедите своего уважаемого отца и его светлость пожертвовать золотом, и я, уверяю вас, смогу договориться с пиратами, среди которых найдутся правоверные.

— Ты не сможешь уйти на фелюге от корабля при таком ветре, но ты сможешь уйти от него на той же фелюге, идя против ветра.

— Против ветра? — опешил моряк. — Так может говорить лишь человек, впервые оказавшийся в море.

— Да, но я рассчитал сейчас, как надобно менять курс, двигаясь зигзагами[[3]](#footnote-3).

— О, почтенный господин, некоторые моряки умудряются ходить на парусах против ветра, но самому мне, видит аллах, не приходилось этого делать.

— Так придется! — раздался жесткий голос офицера. — Ты будешь повиноваться молодому господину. Я ведь еще не убедился в том, что ты сам не вызвал пиратов к своей несчастной фелюге в надежде, что и тебе кое-что достанется из нашего золота при дележе добычи с пиратами. — И он угрожающе обнажил шпагу.

— Я повинуюсь, ваша светлость, как можно не повиноваться такому высокородному господину!

— Мой юный друг, вы показываете недюжинные способности. Сможете ли вы давать указания этому предателю, если он действительно предал нас еще в порту, как надо менять курс, чтобы идти против ветра?

— Я попытаюсь, — скромно ответил Пьер Ферма.

— О святой Доминик, помоги моему сыну, и я выстрою тебе часовню в Бомоне-де-Ломань! — воскликнул метр Доминик Ферма.

Огюст, потеряв свою юркость, словно окаменел и лишь дрожал от страха. Оба чернокожих матроса-невольника оставались невозмутимы.

Фелюга резко изменила курс и пошла шнырять по морю, казалось, сама приближаясь к пиратскому кораблю.

— Это не я, это не я, ваша светлость, так приказывает мне молодой господин! — хрипло кричал офицеру шкипер, видя, что тот не вкладывает шпагу в ножны.

На пиратском корабле, видимо, были изумлены поведением суденышка. Теперь уже были слышны торжествующие крики преследователей, которые решили, что жертва сдается и можно скоро поделить добычу.

Но фелюга опять резко изменила курс.

Чернокожие матросы невозмутимо выполняли приказания, перекидывая паруса, чтобы они оказались под нужным углом дующему с берега ветру.

Но как ни маневрировала фелюга, корабль пиратов неотступно надвигался на нее.

Мрачный офицер стоял с обнаженной шпагой, метр Доминик Ферма, обессиленный от дрожи в ногах, сел на бочонок, где стояла недавно шахматная доска, уронив голову на руки. Огюст забился под запасной парус. И он не видел, как фелюга буквально прошмыгнула под носом у пиратского корабля. Оттуда прозвучало несколько пистолетных выстрелов, но лишь единственная пуля достигла цели, попав в закутанного в парус Огюста и оцарапав ему ухо, чем он будет гордиться многие годы.

При полной парусности огромный и неуклюжий по сравнению с верткой фелюгой корабль промчался мимо нее. Требовалось время, чтобы совершить маневр, поставив паруса так, чтобы идти зигзагом вслед за фелюгой против ветра.

Может быть, у пиратов не было столь опытного моряка, или вообще идти такому большому кораблю против ветра было куда сложнее из-за громоздкости при смене курса, но чем яростнее были крики на пиратской палубе, тем менее слышными они становились на фелюге.

— Поистине, мой юный друг, то, чего нельзя сделать при попутном ветре, можно сделать при встречном. Ваши действия убедили меня в правильности того, что человек — это связь безжизненного телесного механизма с душой, обладающей мышлением и волей. Мне не привелось применить шпагу, но я рад, что вы применили то, что сильнее ее.

#### Глава третья.

#### МУДРОСТЬ ИСКУССТВА

...Волей богов он шестую часть жизни ребенком рос добрым.

Шестой половину бородку и знанья растил человек.

Части седьмой был обязан и встречей с подругой и счастьем.

Из надмогильной надписи

В последний понедельник апреля 1629 года, вкусив все прелести морского путешествия, начиная с бесподобных закатов и восходов солнца, неизбежной качки и кончая столь близкой и возможной встречей с так жаждущими этой встречи пиратами, четыре наших француза увидели наконец Александрию (Аль-Искандарию).

Жадно всматривался молодой поэт и бакалавр в ослепительную панораму беломраморных, сверкающих на солнце строений и колоннад, лестниц террас, спускающихся с высокого берега к морю, воздвигнутых еще по повелению Александра Македонского его сатрапом и правителем Египта Птолемеем, а потом его наследниками в пору расцвета здесь эллинской культуры.

Здания эти выступали из зелени садов как память былого из глубины веков, и Пьер Ферма пожалел, что не застал самого величественного из них, уходящего в облака великана древности, названного одним из семи чудес света, Александрийского маяка, разрушенного землетрясением.

Хозяин фелюги, вознося хвалу аллаху и суеверно благодарный французам за спасение своего суденышка, не без расчета получить вторую половину мешка с золотом после обратного рейса в Тулон, и, видимо, не слишком спеша к трем своим сварливым женам, взялся проводить приезжих к аль-искандарийскому звездочету арабу Мохаммеду эль Кашти, весьма почитаемому здесь даже турками за его удачные предсказания, основанные на знании звезд и тайн чисел.

Французские гости предусмотрительно запаслись письмами к ученому звездочету, написанными парижским аббатом Мерсенном, соучеником Рене Декарта по коллежу. В мрачную эпоху хитроумных интриг кардинала Ришелье и его помощника в плетении коварных сетей «серого кардинала» Мазарини скромный монах, тоже современник прославленного Александром Дюма д'Артаньяна, в пору Тридцатилетней войны, когда ни в одной из стран Европы не издавалось ни одного научного журнала и почитались лишь дела военные или придворные, скромный монах этот взял на себя многолетний подвижнический труд посредника, вступив в переписку с учеными людьми, среди которых окажутся: во Франции — Этьен и Блез Паскали, Декарт и де Бесси, в Италии — Торричелли, в Нидерландах — сам Гюйгенс и в Египте — арабские знатоки чисел, достигшие даже и под тяжелой пятой Османской империи успеха в науке о числах.

Но, прежде чем попасть к ученому звездочету, французам пришлось побывать у турецкого паши, представляющего здесь султана, чтобы получить соизволение на пребывание в Османской империи.

Разговор с пашой в окружении роскошных ковров и богато расшитых подушек был кратким, ибо начался с подношения ему того самого мешка с золотом, спасенного от алжирских пиратов. Паша в неизменной феске, с оплывшим лицом, превосходя толщиной даже метра Доминика Ферма, благосклонно принял дар и важно сказал:

— Враги врагов моих друзей — мои друзья. Неверные испанцы, да уничтожит их аллах, теснят правоверных, французы же готовятся к войне с испанцами и тем самым становятся нашими друзьями. И пусть офицерский мундир одного из прибывших к нам будет свидетельством того, что другие французы в таких мундирах отомстят неверным испанцам за кровь правоверных мавров.

Переводчиком служил шкипер фелюги, снабжая слова паши ссылками на волю и милость аллаха и смотря на мешок с золотом так горестно, словно именно его ограбили тут у всех на глазах, а провожая дальше гостей к дому звездочета, непрестанно вздыхал, взывая к аллаху.

Почтенный Мохаммед эль Кашти оказался маленьким, сморщенным человечком с лицом, подобным высохшему и потемневшему апельсину, но с горящими умными глазами. Услышав при вручении писем, что они написаны господином Мерсенном, который особенно высоко, как и прибывшие, ставил арабские знания тайн магических чисел, он выразил свою радость по поводу прибытия таких почитаемых и ученых гостей. И эта радость его удвоилась, когда он услышал по-латыни, что переход христианских стран на арабские цифры взамен римских, оставленных лишь для воспроизведения дат, служит признанием высот арабской математики. Узнав же, что среди гостей прибыл и господин Картезиус, имя которого известно ему по высоконаучным латинским манускриптам, звездочет уже не знал, куда посадить гостей и чем им угодить.

В завязавшейся беседе, когда почтительные черные слуги со сверкающими белками глаз принесли дымящиеся чашки с кофе, а также всевозможные восточные лакомства, Мохаммед эль Кашти выразил высшую похвалу цели путешествия почтенных французов — ознакомление с достижениями арабской науки о числах и поклонение могиле великого математика древности Диофанта, ибо сочинения его, с которыми он познакомился, увы, не со всеми, но лишь найденными в Аль-Искандарии, заставили его трепетать от благоговения.

Метр Доминик Ферма мысленно взывал к святому Доминику, пораженный тем, что их спутник по морскому путешествию офицер де Карт (так Ферма произносил его дворянскую фамилию), который так отважно готов был защищать шпагой соотечественников, оказывается, известен даже здесь, на краю света, да еще под странным именем Картезиуса[[4]](#footnote-4). Пьера же Ферма это обстоятельство нисколько не смутило, поскольку благодаря болтливости Огюста он прекрасно знал, с кем путешествует, к тому же латинские сочинения Картезиуса встречались Пьеру Ферма и даже подсказали ему теперь неожиданные выводы, сделанные им с привлечением математической логики.

Полезно проследить за ходом его рассуждений, учитывая при этом господство в его время предрассудков, насаждаемых церковью, военными и знатью с ее безраздельной властью. И все же. Известно: господин Декарт публикует свои труды под латинизированным именем Картезиуса, в которое входит корень «карт», частичка же «де», которая у офицера, следовательно дворянина, должна предшествовать фамилии, отсутствует.

Для ясности вспомним, что частичка «де» во французском языке знаменует, что такое имя носит не просто «господин такой-то», а «*господин владений таких-то* », точно так же, как в немецком языке приставка «фон», грамматическая, стала дворянской, означая «*господин чего-то* », каких-то имений. А в Англии возведение в звание лорда связывалось с заменой прежней фамилии нового лорда названием дарованных ему поместий.

Для Пьера Ферма все это само собой разумелось, но тем смелее казалась его догадка о том, что первоначальное имя Декарта звучало как де Карт, последующее же включение дворянской приставки «де» в тусклую фамилию, присущую простолюдинам, Декарт, говорило о внутренней сущности и благородной скромности философа в офицерском мундире, не желающего выделяться среди обычных людей сословным именем своих владетельных предков. Метр Доминик Ферма мог бы рассказать сыну о случаях, когда простолюдин, желая показаться дворянином, выделял из своей начинающейся с «де» фамилии частичку «де» в виде приставки, говорящей о якобы присущей ему знатности.

Может быть, молодому поэту, узнавшему в пути глубину философских мыслей своего спутника, хотелось увидеть в нем отказ от спеси своего дворянского сословия, для доказательства чего Пьер и использовал математическую логику.

Звездочет сдержал свое слово и проводил французских гостей на запущенное древнее кладбище былого центра эллинской культуры. Старые, местами почерневшие, с проросшей в трещинах травой, мраморные плиты казались воплощением забвения, которому предали это место захоронения неверных правоверные властители Египта, сменяя друг друга, но истово чтя Магомета.

— Сделал все, что мог, больше сделают могущие, — сказал на скверном латинском языке маленький араб-звездочет. — Перед вами могила Диофанта с надписью на камне, которую я не могу вам прочитать, поскольку не знаю языческого наречия.

— Пусть не огорчает это нашего гостеприимного хозяина, — тоже на ужасном латинском языке, с которым он знаком был лишь по церковному богослужению, заявил метр Доминик Ферма. — Мой сын Пьер с помощью святого Доминика в числе других наук познал и древнегреческий язык, достигнув некоторого совершенства и в переводах стихосложением. — Тирада эта стоила метру Доминику Ферма немалых усилий, принимая еще во внимание непереносимую жару, и он вытер кружевным платком лицо, а потом подбородки, отдуваясь и от жары и от латыни.

Маленький звездочет был в белом бурнусе, видимо, хорошо предохранявшем его от жары.

Огюст стоял поодаль с кувшином воды, готовый утолять жажду господ, как те того пожелают.

— Можете ли вы, мой юный друг, действительно перевести эту древнюю надпись, слухи о которой дошли даже до Парижа? — спросил Декарт.

— Охотно, — отозвался молодой поэт. — Очевидно, полезнее перевести надпись сразу на латинский язык, дабы смысл ее стал понятен и нашему уважаемому ученому звездочету Мохаммеду эль Кашти.

— Ваше желание делает вам честь, ибо связано, надо думать, с дополнительными трудностями.

— Вы совершенно правы, господин Декарт. Сделать стихотворный перевод с языка Гомера на язык Вергилия, сохранив ритмику гекзаметра и введя дополнительно присущие латинским стихам рифмы, которых нет в древнегреческом тексте, несомненно, нелегко, однако выполнимо, — не без желания щегольнуть в красивой, отделанной фразе своим поэтическим искусством произнес Пьер Ферма.

Пока молодой поэт занялся стихами двух древних языков, остальные рассматривали мраморное надгробие.

— Сколько пистолей он теперь может стоить, этот древний мрамор? — глубокомысленно спросил метр Доминик Ферма. — Во Франции такой старины не найдешь.

— Уж не хотите ли вы перевезти это надгробье в Бомон-де-Ломань? — насмешливо спросил Декарт.

— Да спасет меня от этого святой Доминик. Я даже не знаю, христианское ли это захоронение?

— Могу вас уверить, и наш почтенный Мохаммед эль Кашти подтвердит это, надеюсь, — перешел на латынь Декарт, — что великий Диофант жил в третьем веке и дружил с самим епископом Александрийским.

— Хвала аллаху, что я могу подтвердить ваши слова, почтеннейший Картезиус. В введении в «Арифметику» Диофанта, которой я восхищался, упоминается о посвящении ее досточтимому Дионисию, дабы облегчить ему обучение учеников. Известно из сохранившихся здесь и переведенных для меня манускриптов, что Дионисий преподавал в школе для кристианского юношества с 231 по 247 год по вашему христианскому летосчислению, после чего стал епископом Александрийским.

— Так что захоронение Диофанта нужно признать вполне христианским, тем более что другой епископ, Анатолий Лаодикийский, живший в Сирии в том же третьем веке, посвятил свой труд по математике Диофанту, — заключил Декарт.

— Тем не менее я осмелюсь высказать по этому поводу сомнение, — возразил Пьер Ферма.

— В надписи есть указание о том, когда жил Диофант? — раздраженно спросил Декарт.

— В надписи вообще нет никаких прямых указаний, но вся она представляет собой загадку, разгадывание которой может дать ответ на то, сколько лет прожил великий Диофант и даже когда он жил.

— Если надпись не подтвердит того, о чем мы сейчас говорили с почтенным Мохаммедом эль Кашти, то я предостерегаю вас от ошибочного перевода, который, к сожалению, я не могу пока проверить, но копию здесь написанного постараюсь доставить в Париж.

Все это господин Декарт произнес по-французски. Метр Доминик Ферма почтительно кивал, а маленький арабский ученый внимательно смотрел из-под своего белого капюшона.

— Я готов прочитать вам сделанный перевод, за несовершенство которого заранее готов принять ваши упреки, однако оговариваясь, что сущность любой из этих строк не искажена переводом ни в какой степени.

И молодой поэт прочитал гекзаметром размеренные строки, которые он в отличие от древнегреческого подлинника даже зарифмовал:

Прах Диофанта — в гробнице, искусства же мудрость — в надгробье.

Дивись, размышляй и откроешь, как долог усопшего век.

Волей богов он шестую часть жизни ребенком рос добрым.

Шестой половину бородку и знанья растил человек.

Части седьмой был обязан и встречей с подругой, и счастьем.

Рожденья желанного сына почтенный мудрец ждал пять лет.

Сыну полжизни отцовской отмерил Рок мрачною властью.

И с холодом ранней могилы померк для отца жизни свет.

Дважды два года философ о сыне безмерно скорбел.

Но горю и жизни премудрой настал неизбежный предел.

Некоторое время Декарт и араб молчали, может быть, подавленные величием смысла надписи. Метр Доминик Ферма воспринял только безмерное горе отца, потерявшего сына, и, подняв глаза к небу, молча шевелил губами, поминая святого Доминика.

Наконец Декарт в изысканных выражениях похвалил искусство перевода и изящество латинского стиха, но, как обычно, с дружеским высокомерием произнес:

— Однако, юный мой друг, я не вижу никаких намеков на то, когда жил Диофант, хотя вы позволили себе заметить, будто такое указание есть. Что касается меня, то я вижу в этой надписи совсем другое — как вычислить возраст великого ученого древности.

— Вот именно, древности, — отозвался Пьер Ферма, — древности, а не третьего века от рождества Христова.

— Не говорите загадками, мой юный друг.

— Взляните на третью строчку надписи. — И он протянул исписанный им листок.

Декарт прочел:

— «Волей богов он шестую часть жизни ребенком рос добрым». Не вижу никакой цифры, указывающей на эпоху, в которую он жил.

— Цифры необязательны, почтенный господин Картезиус. Здесь сказано — «Волей богов...»

— Разве это число?

— Множественное, господин Картезиус. Раз речь идет о многих богах, а не о всевышнем или господе боге едином, как надлежало выражаться христианам, то надпись могла быть сделана лишь в дохристианское время. Дионисий же мог быть его современником, а не христианским епископом. Что же касается Анатолия, епископа Лаодикийского, то он мог посвятить свой математический трактат и давно умершему Диофанту, как готовы это сделать, скажем, вы, господин Картезиус, не говоря уже обо мне.

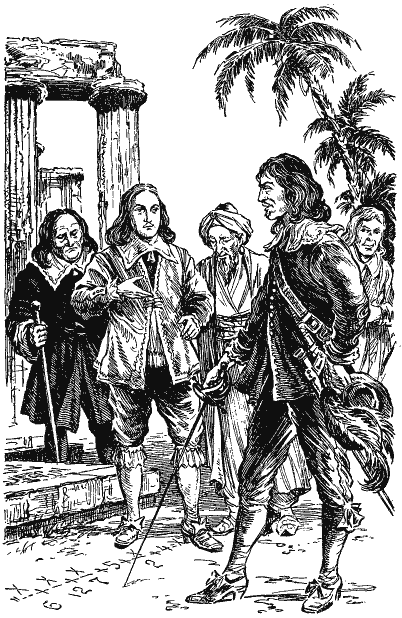
Декарт поморщился, взглянул на Мохаммеда эль Кашти. Тот кивнул, произнеся:

— Аллах един, веры разные. Но многим богам в своих капищах поклонялись только язычники. Нельзя не отдать должного остроумию нашего заморского поэта.

— Не будем спорить, опровергая установившееся уже в науке мнение, перейдем лучше к основному, к задаче, заключенной в десяти строках надписи.

— Клянусь святым Домиником, надпись, на мой взгляд, сообщает о печальной жизни и горе отца, потерявшего сына.

— О нет, не только это, — возразил Декарт. — Она предлагает определить возраст усопшего. Я напишу сейчас на песке своей шпагой уравнение, воспроизводимое строчками стихотворения, которое наш юный друг переводил, не подозревая об этом.



И Декарт, обнажив шпагу, начертал на песке:



И тут же вычислил[[5]](#footnote-5), объявив:

— x равен 84! Восемьдесят четыре года прожил великий Диофант! Но одно здесь странно... Верно ли вы перевели, юный мой друг, будто в надгробье, то есть в этом уравнении, заключена мудрость искусства Диофанта?

— Совершенно точно. Здесь прямое указание на мудрость искусства Диофанта, с помощью которого можно узнать, как долог усопшего век.

— Сомнительно. Я не хочу умалять ваши поэтические способности, юный мой друг, но решение подобных уравнений с одним неизвестным под силу было египетским писцам, за тысячу лет до появления Александрии и Диофанта. Вам нужно просто усовершенствовать свой древнегреческий язык, мой друг. И при переводе уделять больше внимания не рифмам, а глубокому смыслу переводимого.

Пьер Ферма вспыхнул и поднял глаза с рукописи на Декарта:

— Дело в том, уважаемый господин Картезиус, что великое искусство и мудрость Диофанта действительно приложимы для решения предлагаемой здесь задачи, но не с помощью десяти строк надписи и семи членов выписанного вами уравнения, а всего лишь на основании двух строчек надписи.

Декарт побледнел от гнева и потерял всякую власть над собой:

— Вы оскорбляете память великого ученого древности и произносите недостойные слова, которые я принимаю как личное оскорбление!

И блестящий офицер, встреченный отцом и сыном Ферма в Тулонском порту, схватился за шпагу, которой готов был защищать их в море.

Перепуганный второй консул города Бомон-де-Ломань бросился между спорящими, призывая на помощь святого Доминика.

— Я вызываю вашего недостойного сына на поединок, — громовым голосом на все кладбище объявил офицер королевской гвардии Франции. — Он должен кровью смыть оскорбление, нанесенное праху великого Диофанта и лично мне, чтящему память древнего ученого.

— Если господин Картезиус так чтит память Диофанта, то не лучше ли ему вместо решения уравнения из семи членов выбрать из них всего два, математически разрешив наш спор и подтвердив тем действительно высокое искусство и мудрость Диофанта, — весело произнес Пьер Ферма, с улыбкой смотря на взбешенного офицера.

— Я рассматриваю это как повторное оскорбление! Клянусь этой шпагой, что никогда не последую этому безграмотному совету стихоплета и не попытаюсь найти нелепое решение семичленного уравнения с помощью его двух членов. Прошу почтенного Мохаммеда эль Кашти быть моим секундантом, секундантом сына можете быть вы, почтенный метр, или хотя бы мой слуга Огюст.

— Паша отрубит мою старую голову, если я приму участие в таком поединке между уважаемыми иноземцами, аллах да укротит их! — проговорил араб-звездочет.

— Не угодно ли вам защищаться, мой уважаемый юный друг! Иначе я проткну вас, как подушку, — наступал на Пьера Декарт.

— Вы забыли, почтенный господин Картезиус, — трясясь от страха, заговорил метр Доминик Ферма, — забыли, что у моего сына нет шпаги.

— Ах да, — согласился Декарт, — но мы достанем ее, я пошлю Огюста к шкиперу.

— У него на фелюге только старые турецкие ятаганы, — крикнул со своего места Огюст. — И то ржавые!

— Хорошо, будем драться на ржавых саблях!

— Это тоже невозможно, господин де Карт. Вы носите древнюю дворянскую фамилию и не можете скрестить оружие с человеком простого происхождения.

Декарт яростно вложил шпагу в ножны и крикнул:

— Огюст! Воды!

Слуга подбежал с кувшином к Декарту, и тот, запрокинув голову и подняв кувшин высоко над головой, обливая водой лицо, долго и жадно пил, потом передал кувшин слуге и обернулся к Доминику Ферма:

— Считайте, метр, что вы спасли жизнь сына. Как офицер королевской гвардии я не вправе поднять оружие на человека низкого происхождения, но клятва моя остается в силе. Никакие обстоятельства, клянусь еще раз самим всевышним, никто и никогда не заставит меня решать семичленное уравнение с помощью двух его членов!

Пьер Ферма растерянно улыбался и ничего не говорил. Он смотрел вслед уходящему Декарту чуть печально, ему хотелось броситься за ним, догнать, показать решение, но он не сделал этого из-за уважения к философу, готовый простить ему его вспыльчивость, убежденный, что если б тот дал себе ничтожный труд взглянуть на им же самим написанное уравнение другими глазами, он сразу увидел бы решение, которое наиболее просто дает ответ — 84 года жизни Диофанта.

Но Декарт не сделал этого ни теперь, ни позже до конца своей жизни, став выдающимся философом, призванным ко двору шведской королевы Христины.

Однако любой из читателей, надо думать, без труда найдет и эти две строчки, и решение.

Во всяком случае, арабский звездочет Мохаммед эль Кашти, очень огорченный происшедшей ссорой, легко в уме решил задачу, о чем с уважением сообщил французам.

Дорога с кладбища вела вниз извивающейся лентой, и на ней стали видны две фигуры. Один человек шел позади, неся кувшин на плече.

#### Глава четвертая.

#### ОСКВЕРНИТЕЛИ ГРОБНИЦ

Мужество делает ничтожными удары судьбы.

Демокрит

Декарт не вернулся в гостеприимный дом арабского звездочета Мохаммеда эль Кашти, и тот был весьма встревожен появлением Огюста, который с непроницаемым видом и необычайной для него замкнутостью забрал вещи своего господина и удалился с таким видом, с каким парламентеры покидают перед штурмом осажденную крепость, считая ее обреченной.

Впрочем, отец и сын Ферма отнюдь не чувствовали себя осажденными и заинтересованно знакомились с помощью услужливого хозяина с красотами Аль-Искандарии и с глубинами арабской науки о числах.

Однако маленький звездочет не разделял беспечности своих гостей и однажды, снова увидев пронырливого Огюста, который не вошел в дом, а вертелся на углу базарной площади, словно выслеживая своих соотечественников, встревожился не на шутку, боясь, что разгневанный господин Картезиус не отказался от намерения убить молодого француза.

Маленький арабский звездочет проникся такой симпатией к своим французским гостям, что втайне изучил расположение звезд, каковое оказалось весьма для них неутешительным. И Мохаммед эль Кашти, стараясь не только уберечь гостей от кровопролитного поединка, но и спасти собственную голову от секиры палача османского паши, перед которым отвечал за заморских гостей, решил увезти французов из Аль-Искандарии, чтобы дать возможность господину Картезиусу остыть. И он предложил почтенным гостям ознакомиться с достойными их внимания примечательностями Египта, с гороподобными пирамидами, искусственными сооружениями, которым нет равных в мире по величине, а также с некоторыми развалинами языческих капищ, конечно, не заслуживающих внимания ревнителей правой веры, но, может быть, любопытных для заморских господ.

Узнав о возможности подняться вверх по великой реке Нилу и увидеть своими глазами легендарные чудеса древней страны, Пьер Ферма пришел в восторг. Доминик же Ферма без конца сомневался, опасаясь воображаемых речных пиратов и разбойников пустыни, однако не устоял, узнав, что расходы по найму лодки для путешествия по Нилу берет на себя арабский звездочет, надежно вооружая при этом сопровождающих слуг.

И вскоре понурый Огюст хмуро наблюдал, как темнокожие слуги Мохаммеда эль Кашти переносили багаж путешественников в лодки, куда вскоре перебрались и господа Ферма вместе с этим маленьким арабом, который даже не счел нужным отыскать такого сиятельного господина, как Декарт, чтобы узнать, не пожелает ли тот тоже принять участие в плавании по местной речке.

Огюст, обретя былую подвижность, помчался к своему господину и, найдя Декарта на постоялом дворе, доложил, что их былые спутники бежали из Александрии. К его недоумению, Декарт не проявил по этому поводу никакого неудовольствия и лишь печально покачал понурой головой, приказав Огюсту подыскать другой постоялый двор или корчму, поскольку в той, где они нашли приют, ему не давали сосредоточиться шумные моряки из слишком близкого порта.

Темнокожие слуги Мохаммеда эль Кашти оказались прекрасными гребцами, и лодка, даже в безветрие, ходко шла против течения мимо медленно проплывавших назад берегов, покрытых густой зеленью. Вдали пахари шагали за сохами, в которые были впряжены большерогие быки. Над полем прозрачной дымкой висела пелена тумана, а за нею угадывалась граница плодородной полосы и начинающейся пустыни.

— Все, что здесь цветет и живет по воле аллаха, обязано разливам Нила, почтенные господа. Потому наука древних в первую очередь изучала поведение реки.

— Как? Вода заливает всю эту зелень? — изумился Доминик Ферма.

— Да, река становится порой мореподобной, и мы с вами, окажись в ту пору здесь, плыли бы, почти не видя берегов.

— А как же крестьяне? Как спасаются они от наводнения? — расспрашивал второй консул Бомона-де-Ломань, думая о своих земляках во Франции, для которых наводнение всегда бедствие.

— Для здешних крестьян, феллахов, которых вы видите на берегу, ниспосланные аллахом наводнения не беда, а радость, ибо все, что растет, это подарок Нила, а также остающегося после наводнения плодородного ила на полях, правда, сами поля, вернее, границы между ними исчезают.

— Вот как? — заинтересовался Доминик Ферма. — Не возникают ли споры между землевладельцами? Если бы такое случилось у нас во Франции, то суды оказались бы заваленными тяжбами, можете мне поверить, я в родстве с юридической семьей де Лонгов, из которой происходит моя супруга, мать Пьера.

— Да продлит аллах ее дни, досточтимый гость мой! Древние египтяне посвящали свою науку решению задач предсказания наводнений Нила, а также размежеванию после наводнения земельных участков с помощью астрономии и геометрии.

— Это интересно, — вступил в разговор Пьер Ферма.

— Еще бы! Хотя здесь и полно тайн, хранимых в древности языческими жрецами, которые для своих календарей пользовались звездами, в особенности Сириусом, имея точное представление о его периоде обращения в пятьдесят лет.

— Почему Сириус?

— При случае я расскажу вам, почтенные гости, поскольку в числе моих слуг есть Оготомелли, мы зовем его Огото. Он из племени догонов, принадлежащего народу бамбара, который живет на плоскогорье, и жрецы там стали хранителями древних тайн, касающихся Сириуса, кое-что передали и Огото. Впрочем, для разделения участков земли, освобожденных после наводнения, древние египтяне пользовались своими тайными знаниями геометрии, достаточно вспомнить их священный треугольник со сторонами 3, 4, 5. Они делали на веревке узлы с расстояниями между ними в три, четыре и пять мер и, натягивая веревку на колышках, получали очень точно прямой угол.

— Хозяин, — прервал арабского звездочета негр-гигант.

— Что тебе, Огото? — поинтересовался араб.

— Всадники скачут по берегу.

— Пусть себе скачут, моих гостей интересуют не всадники, а геометрические горы, которые уже хорошо видны отсюда. Это пирамиды, достопочтенные мои гости, эти горы удивят каждого, кто в состоянии мыслить и осознать, что созданы они поистине непосильным для простых смертных трудом, как памятники величайшего ума и забытых ныне знаний.

— Да услышат твои уши, хозяин! — снова обратился негр Огото, сверкая белками глаз. — Первый всадник в тюрбане приказывает тебе стоять.

— Как стоять? — изумился араб.

— Это не иначе как разбойники пустыни! — взволновался старший Ферма. — Недаром я их так страшился! Помоги нам, святой Доминик, спаси нас! — Он лишь видел вооруженный конный отряд, не понимая реплик араба и его слуги.

— Досточтимые господа, — обратился к гостям араб, — это непохожие на разбойников, с ними мы могли бы помериться силами. Один мой Огото стоит пятерых, но я вижу у всадников на пике конский хвост, похожий на значок самого османского султана.

Неприятно прожужжала стрела, перелетела через лодку и упала в воду.

— Может быть, спастись у другого берега? — предложил Доминик Ферма.

— Там тоже отряд таких же всадников. Лучше пристать к берегу и выяснить, чего они хотят. Быть может, это к счастью, что они не разбойники, — сказал маленький араб.

По его указанию кормчий направил лодку к берегу, а через короткое время она ткнулась в отмель и к ней по воде, вздымая брызги фонтанами, влетели всадники, дико вопя и размахивая над головами ятаганами.

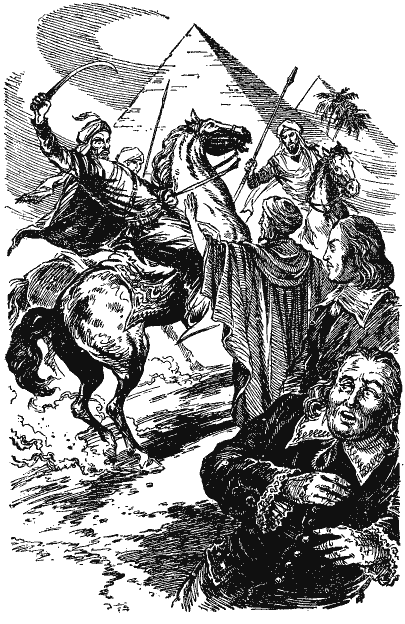
Араб-звездочет храбро вскочил на ноги и стал громко кричать им по-турецки, поминая аллаха через каждые два-три слова.

Все происходящее было достаточно непонятно французам. Араб обратился к ним:

— Досточтимые господа, это несомненное недоразумение, которое, я думаю, скоро разъяснится. Они именем султана требуют, чтобы мы высадились на берег, намереваясь обыскать лодку и отнять у нас якобы похищенные нами из какой-то гробницы сокровища.

— Мой бог! Пистоли, коими я обладаю, едва ли можно счесть за сокровище! — взмолился Доминик Ферма.

Путникам пришлось подчиниться.



Спешившиеся всадники переворошили в лодке все вещи, забрали у слуг их оружие. Араб же невозмутимо объяснял гостям, наблюдая за хозяйничаньем янычар:

— В пирамидах, я вам говорил, язычники хоронили своих султанов, или фараонов, как они их называли, окружая мертвецов ценностями, достойными того положения, которое они занимали при жизни. Безбожные грабители, да поразит их аллах, проникают в эти гробницы и, оскверняя их, похищают ценности. По-видимому, османский паша решил вести с ними борьбу, а в начале всякого дела возможны промахи и неудачи, извините его.

Бородатый, в тюрбане, всадник с крючковатым носом подскакал к спутникам и, осадив взмыленного коня так, что французов обдало запахом конского пота, громко закричал.

Маленький араб с неизменным спокойствием вежливо отвечал ему. Всадник в тюрбане выхватил ятаган и занес его над арабским звездочетом, но, услышав какое-то объяснение, вложил саблю в ножны.

— Почтенный начальник отряда, служащий султану и аллаху, счел нас грабителями гробниц и требует, чтобы мы открыли ему наш тайник, куда мы спрятали сокровища. Он обещает нам жизнь, если мы поделимся с ним и с пашой. Я ответил ему, что состою звездочетом при османском паше и предсказываю ему будущее, за что он ценит меня. Почтенный начальник отряда не поверил мне, но решил пока не убивать нас, а заключить в ту самую гробницу, которую мы, по его мнению, ограбили. Я объяснил ему, что чужестранцы — гости самого османского паши и его ждут серьезные неприятности, которые я ему, как прорицатель, могу предсказать, как только появятся звезды. Он не желает испытывать свою судьбу, требуя своей доли сокровищ.

— Откуда же мы возьмем ему фараоновы сокровища? — воскликнул Доминик Ферма. — Скажите ему, что святой Доминик сообщит самому господу богу о греховности этого всадника в тюрбане.

— Я уже ссылался на аллаха, но это грубый, невежественный воин, он умеет орудовать ятаганом и едва ли знает коран.

Двух французов, араба и сопровождающих негров во главе с гигантом Оготомелли под конвоем всадников повели в направлении ближней пирамиды.

Маленький звездочет все время убеждал всадника в тюрбане. По-видимому, они о чем-то договорились. Звездочет перевел гостям:

— Он решил пока не отрубать нам головы, посылая гонца к османскому паше в Аль-Искандарию, но предупреждает, что не собирается кормить и поить нас до тех пор, пока мы не сознаемся, где спрятали сокровища.

— И как долго он будет ждать гонца? — спросил сохранявший спокойствие Пьер Ферма.

— Если благословенный паша, да умножит его силы аллах, находится в Аль-Искандарии, а не отправился куда-либо по его высоким делам, то гонец обернется дня в два, поскольку он, возможно, не будет слишком спешить и пожалеет коня, который ему, несомненно, дороже всех нас, вместе взятых, если же паши в городе нет, то нам поможет лишь один аллах.

— Весьма утешительны ваши речи, почтенный Мохаммед эль Кашти, — заметил Пьер Ферма.

Его отец всхлипнул и добавил:

— Не я ли колебался по поводу опасного путешествия в невежественную страну! О святой Доминик! Отчего же ты не удержал меня?

Всадники подвели пленников к основанию пирамиды, которая, поражая воображение, уходила ввысь, в эмалево-синее небо, солнце отражалось в полированных плитах, частично снятых, из-за чего солнечная дорожка местами прерывалась. Турки спешились и грубыми окриками и размахиванием ятаганов заставили пленников обойти основание пирамиды, пока не обнаружилось отверстие тайного, теперь открытого хода. Оно было на высоте двухэтажного дома, и к нему нужно было подниматься, скользя по полированным, не снятым здесь плитам.

Доминик Ферма задыхался и спотыкался на каждом шагу, Пьер помогал ему, негры шли следом, покорные, ко всему готовые, маленький араб замыкал шествие.

Путников втолкнули в темный проем и за последним из них закрыли ход хорошо пригнанной, очевидно, незаметной снаружи плитой.

Путешественники оказались во мраке, не имея ни факелов, ни других источников света. Воздух казался затхлым и душным.

Постепенно глаза привыкли к темноте, хотя различить друг друга никто из них не мог.

— Этот ход ведет, если он не ложный, к гробнице. Ложные специально устраивались жрецами, чтобы сбить грабителей с пути, лишив их добычи, — послышался невозмутимый голос арабского звездочета, как всегда говорившего с гостями на латинском языке.

— Жаль, что мы не можем осмотреть саму гробницу, — отозвался Пьер Ферма. — Ведь ради этой гробницы сооружалась вся искусственная гора.

— Так считают в ваших странах заморские гости, но арабские ученые еще четыреста — пятьсот лет назад пришли к другим выводам: по их убеждению, пирамиды эти построены[[6]](#footnote-6) задолго до царствования погребенных в них фараонов, их детей и матерей, за 12 тысяч лет до начала вашего христианского летосчисления, почти за 13 тысяч лет до начала ислама, в далекие времена царствования царя Сурида, когда люди здесь знали много больше нас с вами, молодой мой ученый и поэт.

— Какие же знания подозреваете вы у них, почтенный Мохаммед эль Кашти?

— О всемогущий господь наш! Да как вы можете говорить о таких вещах, когда святой Доминик подсказывает мне покаянные молитвы, которые мы должны возносить к всевышнему!

— Уверяю тебя, отец, что твой святой Доминик простит нам беседу в темноте, поскольку она проливает свет на тайну сооружения, в котором мы заключены.

— Даже тысячелетние тайны приоткроются по воле аллаха, если, помня о нем, размышлять.

— Значит, не сами фараоны, почтенный Мохаммед эль Кашти, строили для себя гробницы, чтобы оставить о себе память на тысячелетия?

— Конечно, так, ибо человеческой натуре несвойственно готовить самому себе гроб и постоянно иметь его перед своими глазами, да еще такой величины! Куда естественнее согласиться с тем, что горы были уже насыпаны с другой целью и впоследствии использовались как удобное место погребения знатных особ.

— С какой же целью они насыпались 13 600 лет назад?

— Чтобы заложить древние знания в неисчезающие размеры этих простейших по форме, но исполинских по величине и глубине сокрытых в них тайн фигур. По преданию, идущему еще от фараоновых писцов, хранителей письменности и познания, три главные пирамиды, названия которых выговариваются различно, но по-латыни звучат как пирамиды Хеопса, Хефрена и Маккарена, эти три пирамиды будто бы размерами своими знаменуют какие-то звезды-планеты, но острого зрения арабских звездочетов недостаточно, чтобы проверить ныне эту легенду. Небезынтересно и то, что сумму длин прямых, составляющих основание пирамиды Хеопса, можно представить длиной окружности с радиусом, равным высоте, которая, в свою очередь, как-то связана со звездным небом[[7]](#footnote-7).

— Как? 13 600 лет назад строители пирамид знали о звездах даже больше арабской науки, уважаемый Мухаммед эль Кашти?

— Почтенный мой гость, они знали священное число Пи[[8]](#footnote-8), вычисленное тысячелетия спустя великим эллинским мудрецом Архимедом из Сицилии в городе Сиракузах.

— Поистине страшна кара всевышнего, наказавшего древних за великие, видимо, грехи их, лишив обретенных ими знаний, — вставил дрожащим голосом Доминик Ферма. — И, как говорил святой Доминик, знания человеческие, не опирающиеся на чистую веру, заносит временем, как песком пустыни.

— Но человек все же снова обретает их, — добавил его сын.

— Считая их найденными впервые. Истинно так, ибо такова воля аллаха.

— Ох, темна история пирамид, как темно здесь, во чреве их, — горестно вздохнул Доминик Ферма.

Мрак угнетал пленников, духота давала себя чувствовать, пробуждая жажду, которую нечем было утолить.

Казалось, отчаяние охватило бодрившихся в разговоре ученых, умолкших теперь, отчего наступившая тишина стала невыносимой. И, нарушая ее, снова послышался голос Пьера Ферма:

— Кому же древние обязаны своими высокими познаниями, уважаемый Мохаммед эль Кашти? Сохранились ли имена первых писцов, свидетелей закладки пирамид будто бы при царе Суриде?

Поняв состояние своего гостя, арабский звездочет охотно откликнулся:

— Известно только одно имя — Тота Носатого, языческого бога Луны, мудрости, письма и счета.

— Не его ли потом греки называли Прометеем, воспевая как титана, похитившего для людей огонь знания у небес?

— Ах, если бы этот греческий герой уделил нам здесь хоть небольшой светильник! — запричитал Доминик Ферма.

— Ваш сын, метр, вспомнил о сказочном Прометее как поэт, — успокаивающим тоном отозвался арабский звездочет. — А ведь о ложном боге Тоте древние египтяне вместе с тем говорили и как о существе, которое якобы прилетело на Землю со звезд, и изображали его с птичьей головой, приписывая ему покровительство наук, ученых писцов, священных книг и колдовства (то есть использование тайных знаний).

— Святой Доминик, услышав вас, почтенный Мохаммед эль Кашти, — строго возразил Доминик Ферма, — напомнил бы вам, что бог един и вездесущ, он создал и Землю и звезды, и нет среди его ангелов никакого Тота, которого он мог бы послать со звезд на грешную Землю. Так учит нас святая церковь, и не так ли учит вас коран?

— Аллах да благословит вас, почтенный метр!

— А все-таки, — упрямо вмешался Пьер Ферма. — Конечно, Тот не мог быть богом, к тому же древнегреческие мудрецы учили, что люди существуют и на других звездах.

— Они были язычниками, эти философы, да простит их аллах, и жили как бы в такой же темноте, как и мы здесь, в пирамиде.

— Но разве святая церковь не может допустить, что всевышний, создав звезды, населил их, как и Землю, разумными людьми «по образу и подобию» своему?

— Не знаю, как у вас, христиан, но в коране говорится не о людях, а о гуриях на небе.

— Гурии? Но ведь они ублажают там кого-то, не так ли? Какие же были основания у древних для их наивного верования в сошествие Тота с другой звезды? Может быть, они называли ее?

Вместо ответа арабский звездочет подозвал своего слугу Оготомелли:

— Огото! Подойди к нам.

Негра не было видно в темноте, но приближение его ощущалось как присутствие чего-то огромного, дышащего могуче и размеренно.

— Огото, ты был в своем племени среди посвященных, которому открывались тайные знания, переданные теми, кто прилетал когда-то на Землю с Сириуса.

— Так, хозяин. Огото знает про две звезды знания — Сиги доло и Фини доло. И еще одну звезду рядом. Те, кто прилетал оттуда, говорили, что она вспыхнет и все оставшиеся погибнут. И она вспыхнула, хозяин, через год, как те прилетели к нам. И потом двести сорок лет угасала, пока ее не стало видно. Так передают наши старцы. Истинно так, хозяин.

Арабский звездочет переводил рассказ Оготомелли, добавив, что посвященных догонов учили многим премудрым вещам[[9]](#footnote-9), известным тем, кто прилетал со звезд.

Интересная сама по себе беседа происходила, однако, в необычайных условиях и не могла заглушить ни жажды, ни голода, ни угнетающей тьмы заключенных в пирамиде людей, у которых оставалось все меньше надежд на избавление.

О своем же гороскопе, раскинутом для гостей перед отъездом с неблагоприятным для них расположением Сириуса, астролог ничего не сказал, предвидя всяческие несчастья, которые уже дали о себе знать.

#### Глава пятая.

#### ОРНАМЕНТ ХРАМА БОГА ТОТА

Ум заключается не только в знании, но и в умении применить знание на деле.

Аристотель

Гонец, побывавший у османского паши в Аль-Искандарии, вернулся не один, а в сопровождении посланного пашой десятника его личных янычаров, крепкого и ловкого турка с горбатым, крючковатым носом и хитрыми глазами. По велению паши он должен был сопровождать путешественников на случай, если те действительно проникнут в гробницу с сокровищами, на долю которых претендовал паша, убежденный, что у заморских неверных не могло быть другой цели путешествия в Египет.

Все это с недвусмысленной ясностью сообщил от имени паши освобожденным путникам, вернее, Мохаммеду эль Кашти Айдын Ага Алигул-оглы, как он напыщенно назвал себя.

— Не скрою, уважаемый, — ответил ему Мохаммед эль Кашти, — мы рассчитываем увидеть сокровища древних, но едва ли они устроят благословенного пашу, ибо являются лишь сокровищами ума.

Посланный паши лишь усмехнулся. Насчет того, что есть сокровища, которые не интересуют османского пашу, у него было свое мнение.

Когда французы в сопровождении арабского звездочета и его слуг вышли из своего заточения на воздух, ослепленные солнечным светом и опьяненные свежим воздухом, они долго не могли прийти в себя, хотя голод и жажда измучили их.

Однако пленивший их начальник янычар не собирался утолять их голод и жажду, пришлось рассерженному звездочету пригрозить ему таким гаданием по звездам на его имя, что не только он, но и его потомки до седьмого колена будут помнить своего несчастного предка, нарушившего предписания корана и закон гостеприимства, ибо с момента прибытия специально посланного паши, доблестного янычара Айдын Ага Алигула-оглы чужестранцы и сопровождающие их лица становятся уже не пленниками, а гостями янычар.

Бородатый сотник долго не мог уразуметь смысла сказанного астрологом, однако, заподозрив в нем колдуна, решил не навлекать на себя и потомство черных сил шайтанов, с которыми общается этот араб, и приказал накормить и напоить путников.

Вернувшись к вытащенной на берег лодке, арабский звездочет убедился, что, кроме весел, там ничего не оставлено. Он потребовал у бородатого начальника воинов, чтобы те вернули его слугам оружие, но тот наотрез отказался, уверяя, что не может разоружать своих всадников, добывших оружие в честном бою, хотя никакого боя, конечно, не было, но спорить с турком не стоило, и даже вмешательство посланника паши не помогло.

Но особенно плохо оказалось дело с похищенным продовольствием, без которого невозможно продолжать путь.

Хотя араб истощил все свое красноречие, призывая аллаха и грозя проклятием, всадник в тюрбане оставался глухим.

Неожиданно на помощь Мохаммеду эль Кашти пришел метр Доминик Ферма. Проявив свою коммерческую сметку, он показал бородатому начальнику всадников свои золотые пистоли, с которыми не расставался в заточении, и предложил выкупить у него похищенное продовольствие.

Вид золота сделал свое дело, и за изрядную сумму, которую с причитаниями и взыванием к святому Доминику отсчитал второй консул Бомон-де-Ломань, путники получили обратно все, что у них было отнято (кроме оружия).

На жалобу Доминика Ферма посланнику паши тот с невозмутимым видом ответил:

— Паша, да благословит всемогущий аллах его дела, не платит жалованья янычарам, с которыми вы имеете здесь дело, господин, они должны сами прокормить себя, потому и стараются найти похитителей сокровищ из гробниц. Если готовишь собак для охоты, не надо их кормить.

Доминик Ферма, которому маленький араб перевел эти мудрые мысли, не нашелся, что возразить. Пьер же Ферма напомнил отцу, что и во Франции есть отряды короля или какого-нибудь герцога, которые сами себя кормят.

Путешествие в лодке возобновилось. Весла мерно опускались в воду, а скоро удалось поставить и парус и воспользоваться попутным ветром.

— Куда направляет лодку твой ум, почтенный звездочет? — спросил Айдын Ага араба.

— Чужеземцы заинтересовались древним египетским богом Тотом, который не был ботом, потому что аллах един, а скорее всего гостем Земли с чужой звезды.

— Великий султан да защитит меня от таких пагубных слов! Где же ты хочешь найти этого мерзостного Тота?

— Не Тота, который побывал на Земле много тысяч лет назад, уважаемый Айдын Ага, а лишь храм его.

— Боюсь, правоверный, что посещение таких мерзостных мест, как языческие капища, может не понравиться великому султану и благословенному паше.

— Благословенный паша, выражающий волю великого султана, уважает чужеземцев и их интерес к древней истории страны и ценит их щедрость, уважаемый Айдын Ага.

Айдын Ага замолчал, но глаза его сузились не то хитро, не то зловеще.

Что же касается французов, в особенности Пьера Ферма, то интерес после разговора в темноте о легендарном Тоте настолько обострился, что Пьер не раз спрашивал араба, как скоро доберутся они до обещанного храма бога Тота.

— Я бы мог показать гостям близкие полузасыпанные песком храмы, вернее, их руины с остатками статуй бога Тота Носатого, но рассудил, что вместо квадратных колонн и обвалившихся сводов куда интереснее увидеть то, что сохранилось в нетленности в глубине земли в тайном храме бога Тота, тем более что Тот имел отношение к геометрии, судя по некоторым его орнаментам, к науке, так почитавшейся египетскими писцами. Потому гостям моим придется потерпеть еще до завтрашнего вечера, когда с помощью аллаха мы достигнем нужного нам места.

Пьер готов был ждать сколько угодно долго, тем более что теперь вместо внутреннего хода пирамиды с ее мраком перед ним открывались залитые солнцем живописные просторы когда-то столь богатой и могучей страны, что держала в страхе и повиновении соседние народы.

Воображение Пьера рисовало ему сцены древней, давно исчезнувшей жизни, несчастных рабов, копошащихся в каменоломнях, вырубающих там или влекущих оттуда гигантские колонны и плиты для храмов или пирамид. Этих людей считали «живыми мертвыми», они перестали быть «живыми» на поле боя, где сражались как люди, но остались жить уже как рабы, на положении подневольных животных.

Представлял он себе и восстания рабов, не раз сотрясавшие древнее царство, смену династий, когда на трон фараонов всходили взбунтовавшиеся вожди рабов, которые продолжали во времена Древнего Царства египетскую историю на основе того же угнетения феллахов и рабов, которыми становились вчерашние господа, познавшие затем плеть надсмотрщика. Египет же оставался Египтом, и бессменные жрецы его по-прежнему властвовали, враждуя между собой в храмах богов Ра и Тота.

К вечеру обещанного дня «с помощью аллаха и попутного ветра» араб приказал завести лодку в камыши, объявив, что отсюда они пойдут пешком.

Айдын Ага отказался их сопровождать, заявив, что если чужеземцы найдут сокровища, то им придется принести их в лодку, а он, правоверный янычар великого султана, не осквернит себя посещением мерзостного языческого капища.

Маленький араб только пожал плечами, скрыв тревогу и неудовольствие.

Вереница путников растянулась по едва приметной тропинке.

Солнце нещадно палило, слышался звон цикад, сливающийся в назойливый, несущийся отовсюду треск.

Тропка поднималась и опускалась, извивалась, обходя выступающие из земли огромные камни.

Возбужденному воображению Пьера казалось, что это не просто камни, а остатки древних строений.

Но здесь были лишь заброшенные древние каменоломни.

Вход в подземелье под каменным обрывом холма мог бы найти лишь посвященный.

Метру Доминику Ферма было особенно трудно протиснуться в указанную ему щель между двумя почти вплотную примыкающими одна к другой гранитными плитами. Он решился на это лишь после того, как в щели вслед за маленьким арабом исчезли слуги с факелами, а Огото, при его гигантском росте, пролез с немалым трудом. Пропустив отца вперед, Пьер Ферма проник в подземный коридор последним.

Пахнуло сыростью и затхлым запахом пыли. Под ногами хрустел занесенный сюда ветром песок. К свету факелов глаза привыкли не сразу. Коридор вел круто вниз. Навстречу, трепыхая крыльями, вылетела стая летучих мышей. Пьер Ферма невольно пригнул голову, ощущая ветерок от проносящихся над его головой крылатых животных.

Сердце его учащенно билось. Он видел впереди в мерцании факелов фигурку арабского звездочета, уверенно сворачивающего в ответвления подземного хода.

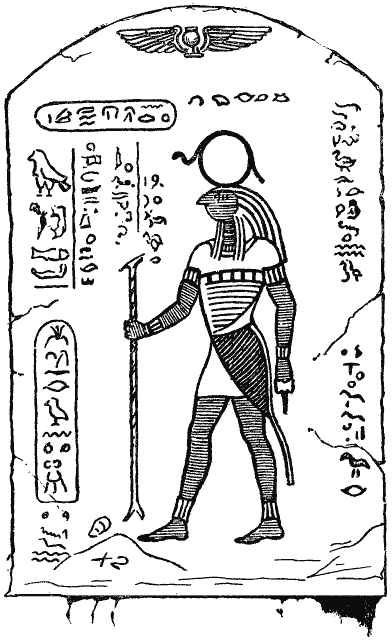
Наконец все достигли круглого зала. Пьер Ферма оглядывался, слыша рядом тяжелое дыхание страдающего одышкой отца.

— Вот изображение Тота Носатого, языческого бога Луны и мудрости, что знаменуется диском луны над головой бога и змеей на этом диске.

Мохаммед эль Кашти указал на стену с гладко отполированной изумрудной мраморной плитой, отражающей пламя факелов.

На ней отчетливо выступало выполненное золотыми линиями изображение, поразительно свежее, чудесно сохранившееся на протяжении тысячелетий.

Бог Тот, как и принято во всех египетских рисунках, был представлен в профиль. Голова его напоминала и человеческую и птичью (птицу Ибиса), волосы-перья, подобно египетскому головному убору, спускались на спину. В одной руке он держал на золотой цепочке Т-образный предмет (какой-то символ), в другой — посох, раздвоенный внизу[[10]](#footnote-10), с фигуркой птицы вверху. Изображение бога окружалось золотыми иероглифами с фигурками птиц, рыб, вперемешку с волнистыми линиями, черточками и причудливыми знаками.



— Да простит мне аллах неспособность познакомить гостей с тем, что написано язычниками, вполне возможно, что здесь отражены и тексты легендарных изумрудных табличек бога Тота[[11]](#footnote-11) с заключенными в них знаниями грядущих поколений, хотя правоверному ясно, что почерпнуть что-либо в языческих ложных знаниях и верованиях нельзя, свидетелем чему сам аллах!

Пьер Ферма отлично понял некоторое смятение арабского ученого, в котором боролись интерес к древней мудрости и страх перед запретами ислама, а также он испытывал некоторый страх перед присланным пашой соглядатаем, оставшимся в лодке среди камышей.

Рассмотрев изображение бога Тота и непонятные письмена, молодой бакалавр огляделся, но ничего, кроме девяти дверей, ведущих в соседние помещения, не увидел.

Он попросил чернокожего гиганта с факелом посветить ему и вошел через ближнюю дверь в каменный каземат, послужив примером для всех остальных.

Пьер Ферма подумал, что груды трухи на каменном полу могли быть когда-то столами и стульями, и здесь ученые писцы передавали свои тайные знания вновь посвященным служителям бога Тота.

Арабский звездочет поморщился при виде тысячелетнего запустения.

— Увы, в отличие от зала, где мы только что побывали, тут не на чем остановить вашего благородного внимания, остается заглянуть в соседние помещения, где, к сожалению, тоже нет ничего примечательного, если не считать примитивного орнамента на стенах.

Пьер Ферма насторожился. Достаточно было выразить неприятие чего-нибудь, чтобы привлечь его пристальное внимание. И не отзовись арабский ученый столь пренебрежительно о примитивном орнаменте, Пьер Ферма, возможно, не заинтересовался бы им, но теперь он старался увидеть в пересечении прямых линий нечто большее, чем просто узор.

В самом деле, зачем в тайном храме украшать стены бессмысленным пересечением линий? Если здесь действительно передавались тайные знания, то рисунки на стенах должны были как-то способствовать этому! И Пьер Ферма стал вглядываться в орнамент.

Поначалу увиденное не вдохновило его: ряд увеличивающихся в размерах квадратов, каждый из которых окружен как бы двойной линией, ограничивающей маленькие квадратики. Все эти геометрические фигуры вписывались одна в другую, доходя до потолка, и, видимо, могли бы выйти за его пределы. Это обстоятельство особенно насторожило Пьера Ферма, он стал пристально вглядываться в настенное изображение и вдруг задрожал от волнения. Озаренный, он угадал в малом квадрате, затем в более крупном, потом в самом крупном в левой нижней части орнамента графическое изображение математической формулы, хорошо ему известной, берущей начало от знаменитого открытия Пифагора.

Как пожалел Пьер Ферма, что с ним нет сейчас Декарта, именно ему мог бы рассказать он о своей догадке, позволившей на миг как бы ощутить дыхание самого легендарного бога Тота, хранителя тайны, готовой открыться Пьеру Ферма!

Маленький звездочет уловил в выражении лица молодого гостя нечто необычайное и осторожно спросил его, что удалось обнаружить ему в незатейливом орнаменте.

— Клянусь вечной истиной, почтенный Мохаммед эль Кашти, но мы находимся сейчас рядом с самой удивительной загадкой, которую можно задать всем знатокам чисел как Европы, так и других частей света, и прежде всего вам, уважаемый звездочет и знаток арабской науки о числах.

— Что можно увидеть в полутьме, гость мой?

— Я увидел здесь яркий луч солнца, сверкнувший в подземелье! Свет солнца, дающего жизнь всему живому, будящему мысль во всем разумном!

— Свет солнца в тайном храме бога Тота? Хорошо, что нас не слышат былые жрецы этого капища, которые смертельно враждовали со жрецами Ра — бога Солнца, попеременно сажая на трон угодных им фараонов и пополняя в эти периоды казну храмов. Клянусь аллахом, они сочли бы ваши слова кощунством, и вам дорого пришлось бы заплатить за свой поэтический пыл.

— Не поэтический, почтенный Мохаммед эль Кашти, а математический! Но если есть в математике поэзия, то она вскрывает себя именно здесь! Должно быть, всевышнему было угодно, чтобы именно так завершилась в этом подземелье тысячелетняя вражда поклонников солнца и служителей знания, которые, даже запрятанные в вечную тьму, сверкнули истинным солнцем! Рассмотрите малый квадрат в нижнем левом углу, окруженный прямоугольным узором из маленьких квадратиков! Их девять! Один в правом верхнем углу и два раза по четыре примыкающих к сторонам малого квадрата. Следовательно, сторона малого квадрата равна четырем единицам, сторона большого — пяти, а площадь всех девяти маленьких квадратов равна квадрату со стороной в три единицы. Так ведь это же священный египетский прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4, 5!

— Поистине поэзия полезна математике, мой юный гость! Вот тот случай, когда воображение по воле аллаха становится мудростью.

— Но это не все, не все, почтеннейший звездочет и наш гостеприимный хозяин! Если бы я был язычником, то попросил бы отца занять у вас денег на покупку стада быков в сто голов.

— О святой Доминик! Зачем ему сто быков? — воздел руки к потолку метр Доминик Ферма. — Откуда я возьму такие деньги?

— Когда великий Пифагор сделал свое открытие о прямоугольном треугольнике, он принес в жертву греческому богу Зевсу сто быков.

— О горе мне видеть лишившегося разума сына!

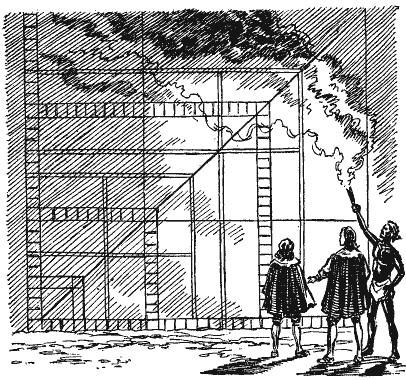
— Не горе, а радость, мой почтенный родитель, должна обуять вас! Сам уважаемый Мохаммед эль Кашти подтвердит, что часть квадрата, похожая на лесенку, равна площади второго катета в три единицы. Их можно пересчитать, эти квадратики! Девять, как и дверей в зале бога Тота, что наверняка не случайно!

— Истинно так, — смущенно произнес арабский ученый. — Я все понял.

— О нет, не все! Не все! Чтобы все понять, надо уяснить связь между всеми квадратами, уместившимися на стене, и теми, которые не уместились, а потому не изображены.

— Поистине, когда всевышний хочет наказать кого-нибудь, он лишает его рассудка. Несчастный сын мой видит уже ненарисованное, блуждая в мире призраков!

— Я имею в виду, — обращаясь уже не к отцу, а только к арабу, продолжал Пьер Ферма, — что мы имеем дело в этом орнаменте не только с теоремой Пифагора, не только с квадратом суммы двух величин, равной сумме их квадратов и удвоенному их произведению, но и со священным египетским треугольником, более того, со священными рядами таких треугольников, и я уверен, что вы, знаток арабской науки о числах, найдете и второй и третий треугольники первого ряда, а также треугольники второго и третьего рядов, изображенных с такой гениальной скупостью здесь, на стене.



— Да просветит меня аллах! Я действительно вижу квадраты, построенные на сторонах треугольника с катетами 5, 12 и гипотенузой 13! Достаточно лишь сосчитать число квадратиков, примыкающих к стороне первого квадрата.

— Как я и ожидал, почтенный Мохаммед эль Кашти, вы решили эту задачу так же быстро, как и на могиле Диофанта.

— Третий треугольник со сторонами 24, 7 и 25 найти так же просто, но аллах не умудрил меня отыскать ваш второй ряд.

— Его квадраты выполнены двойными линиями: если посчитать их размеры по квадратикам слева, то получится: малый катет 8, гипотенуза 17, а разность площадей дадут квадрат второго катета, равного 15! Ну а простой линией изображен всего один — первый квадрат треугольника третьего ряда со сторонами 35, 12, 37! Следующие же треугольники и их ряды на стене не уместились.

— Премудро, но точно, юный мой гость не только поэт, но и великий знаток чисел!

— Как блистательно заканчивается наше путешествие в загадочный мир языческого знания, да простит меня святой Доминик! — отдуваясь, как после тяжелого бега, заявил обрадованный метр Ферма.

— Не заканчивается, почтенный мой родитель, а только начинается!

— Как? Мы поедем еще куда-нибудь? — ужаснулся толстяк.

— Нет, нет! Я имею в виду мир чисел, дорогу куда прокладывает этот волшебный орнамент.

— Буду счастлив, почтенный поэт и знаток счета, идти по этому пути за вами следом! — с поклоном, торжественно произнес арабский ученый.

#### Глава шестая.

#### ЦАРСКИЙ ДАР

Великие люди бывают великими даже в мелочах.

Вовенарг Люк де Клапье, французский писатель XVIII века

По возвращении в Александрию Пьер Ферма, заставив отца страдать от скуки, уединился в отведенной ему Мохаммедом эль Кашти комнате и несколько дней не показывался оттуда. Гостеприимный хозяин напрасно посылал к нему слуг, вынужденных в конце концов приносить еду в его убежище, потому что одержимый бакалавр отказывался оторваться от стола.

Маленький звездочет втайне радовался такому поведению молодого гостя, избегавшего тем самым нежелательной встречи с господином Картезиусом и возможного повторного вызова на поединок, который стоил бы головы самому Мохаммеду эль Кашти.

Правда, из вежливости арабский ученый не делился с метром Домиником Ферма своими опасениями, а уверял гостя, что его сын занят важнейшим делом, и если не стихами, навеянными впечатлениями от путешествия в страну пирамид и языческих капищ, то математическими исследованиями прямоугольных треугольников, которыми он имел основания увлечься.

Метр Доминик Ферма, поминая своего святого, только вздыхал по поводу того, что пора возвращаться во Францию, и что неизвестно еще, как удастся избежать встречи с пиратами на обратном пути, и что напрасно сын его занят тем, что можно с успехом делать дома.

Тут арабский ученый восстал против уважаемого гостя:

— Как можно вымолвить такое, почтенный гость мой? Достойно ли лишить меня законной гордости по поводу того, что под крышей моего дома по воле аллаха разгадывается одна из примечательных находок угасшего мира древних!

Пьер Ферма действительно был занят завершением таблицы рядов простейших (не имеющих общего делителя) пифагоровых троек (сторон прямоугольных треугольников), когда в доме Мохаммеда эль Кашти начался такой переполох, что встревоженный бакалавр отложил в сторону законченную рукопись и вышел из комнаты.

Первым на глаза ему попался Огюст, который, очевидно, подкарауливал его. Теперь, смущенно опустив лукавый взор, он уступил Пьеру дорогу.

За несколько минут до этого в дом арабского звездочета вошел в парадном мундире гвардейского офицера короля Франции со шпагой на бедре Рене Декарт, блестящий и грозный.

Маленький араб, сжавшись в комочек, с ужасом смотрел на него, словно видел впервые.

Он показался ему огромным, с львиной гривой волос, падающих на плечи, властным лицом с тяжелыми чертами и массивным носом. Все в его облике выражало горделивую силу и благородство.

С высокомерной изысканностью Декарт поздоровался с арабским ученым и метром Домиником Ферма, не обращал внимания на шум, поднятый слугами арабского дома и Огюстом, объясняющимися между собой на разных языках столь же громко, как и непонятно обеим сторонам.

— Не откажите в любезности, метр Ферма, пригласите для беседы со мной вашего сына.

Но почтенный заместитель мэра французского города потому и добился своего поста, что был человеком, искушенным в дипломатии, к тому же состоявшим в некотором родстве с юридической семьей де Лонг, поэтому он с предельной вежливостью ответил:

— Бесконечно рад видеть вас, высокочтимый соотечественник, доблестно служащий своему королю и его высокопреосвященству господину кардиналу, которые в великой мудрости своей и неиссякаемой заботе о подданных, в особенности же знатного рода, к вящему всех счастью, запретили дуэльные поединки во Франции.

— Остается в таком случае напомнить вам, что мы не во Франции, — хмуро ответил Декарт.

— Однако высокочтимому господину де Карту должно быть известно и совершенно ясно, что, запрещая пагубные поединки, его величество король и его высокопреосвященство господин кардинал имели в виду не столько Францию, сколько французов.

— Как я догадываюсь, не понимая благозвучного языка своих гостей, — вмешался на знакомой всем латыни хозяин дома, — почтенный господин Картезиус хотел бы говорить с моим молодым французским гостем о поединке?

— Вы правы, уважаемые господа, я намереваюсь говорить с бакалавром Пьером Ферма о нашем несостоявшемся поединке.

— Но это невозможно, да подтвердит это аллах! — воздел руки к небу маленький араб.

— Но я ничего не имею против этого, — послышался голос Пьера, — я сам хотел отыскать господина Декарта, если бы неожиданное математическое увлечение не помешало мне.

— И совершенно напрасно, — отрезал Декарт, — ибо право говорить об этом первому принадлежит мне, и я не намерен его уступать.

— Почему же? — искренне удивился Пьер Ферма.

Маленький араб понял, что он погиб, ибо сейчас этот свирепый офицер с наружностью льва вызовет на поединок беззащитного юношу, чтобы убить его, после чего не спастись от гнева османского паши и ему, Мохаммеду эль Кашти.

— Почему? — переспросил Декарт. — Да потому, милостивый государь, что право первому говорить о несостоявшемся поединке принадлежит мне, офицеру гвардии короля Франции, которому я служу, как и его высокопреосвященству господину кардиналу, и по этому праву я и явился к вам сюда, дабы принести извинение за свое недостойное поведение на кладбище у могилы великого Диофанта, и я, Рене Декарт, почтительно прошу извинить мою непростительную вспыльчивость, вызванную лишь преклонением перед прахом великого ученого древности.

Все это Декарт произнес на латинском языке, чтобы хозяин дома мог понять его. И Мохаммед эль Кашти, и метр Доминик Ферма оба не верили ушам, пораженные покаянными словами и одновременно грозным видом офицера.

— Нет большего воздаяния аллаху, чем прекращение вражды! — вымолвил наконец маленький араб. — Надо думать, господину Картезиусу удалось найти предложенное молодым Ферма решение уравнения по двум его членам вместо семи, что и привело его к столь благородному поступку?

— Вы ошибаетесь, почтенный Мохаммед эль Кашти. Рене Декарт, которого вы видите перед собой, никогда не нарушит данной им клятвы и не станет искать решения уравнения, о котором вы изволили вспомнить. Такой исход оказался бы самым простым, но недостойным той внутренней борьбы, которую мне привелось выдержать, чтобы победить недостойную мыслителя дворянскую спесь и решиться на этот визит с принесением извинений как господину Пьеру Ферма, так и его отцу метру Доминику Ферма и гостеприимному нашему хозяину на александрийской земле Мохаммеду эль Кашти. Я искренне сожалею не только о своей вспыльчивости, но также и о данной мной клятве, которую не могу нарушить, хотя мне очень хотелось бы узнать блестящее решение уравнения по двум членам из семи, но, поверьте, этого я сделать не могу.

— То, что сделали вы, уважаемый Рене Декарт, значительно больше нахождения решения[[12]](#footnote-12), на которое я случайно напал, переводя могильную надпись. Не сомневаюсь, что вам не составило бы труда это сделать, если б не ваш собственный запрет, заслуживающий всяческого уважения, — произнес Пьер Ферма, восхищенно глядя на философа в офицерском мундире. Он вспомнил о прочитанных им трудах Картезиуса, о беседе с ним за шахматной доской во время плавания на фелюге и понял, какой внутренней борьбы стоило Декарту прийти сюда с извинениями. — Я понимаю вас и хотел бы отплатить вам тем же, признав легкомысленным свое предложение найти иное решение уравнения, написанного вашей шпагой на песке. Я сожалею об этом и признаю вас несоизмеримо сильнее себя, ибо нет победы большей, чем победа над самим собой.

— Вот вам моя рука, Пьер, мой друг, я всегда буду гордиться не только этой минутой торжества над тем, что надлежит неустанно искоренять, но и знакомством с вами и переходом теперь на обращение ко мне — просто Рене.

Мохаммед эль Кашти не воспринял этой прочувствованной французской речи, но прекрасно понял значение того рукопожатия, которым обменялись между собой Рене и Пьер.

— Слава аллаху, слава аллаху! — только и мог пробормотать он.

— Да возрадуется святой Доминик, чьи молитвы заступника дошли до всевышнего! — вторил ему метр Доминик Ферма.

— Если Рене, мой друг, почтит вниманием некоторые мои «математические этюды», как мне хочется их назвать, то я буду счастлив, хотя они касаются всего лишь прямоугольных треугольников, а не проблем души и тела.

— С охотой, Пьер, мой друг. Я всегда верил, что математика в конце концов привлечет вас к себе, ибо нет, кроме нее, более организующего начала.

— Представьте себе, Рене, — говорил Пьер Ферма, ведя Декарта в свою рабочую комнату, — я больше всего сожалел в последние дни, что не могу из-за нашей размолвки познакомить вас со своими этюдами.

По дороге Пьеру и Рене попался извивающийся из желания угодить Огюст, но он исчез, едва Декарт посмотрел на него.

Оба француза сели за стол у стрельчатого окна, защищенного от солнца пышной зеленью сада. Здесь жара не ощущалась такой невыносимой, как в другом месте.

— Итак, с чем же вы, мой друг, хотите познакомить меня? Из-за чего вы жалели о нашей размолвке?

— Прежде всего с тем, что формула Пифагора заключает в себе строго организованные ряды простейших пифагоровых троек, то есть значений сторон прямоугольных треугольников, не имеющих общего делителя.

— Любопытно. Как же вы это доказываете, мой друг?

— Позвольте и мне, уважаемые гости Аль-Искандарии, ознакомиться с выводами молодого ученого, — попросил вошедший вслед за Пьером и Декартом хозяин дома.

— Охотно, уважаемый Мохаммед эль Кашти, тем более что вы послужили толчком для всех находок, которые я могу показать, — живо отозвался Пьер Ферма.

— О, слава аллаху, моя помощь в этом высоком деле ничтожно мала, я обратил ваше внимание лишь на то, чего не видел сам.

— Я сожалею, что не пришел извиниться сразу, тогда мы смогли бы вместе повидать необычный орнамент, о котором я уже услышал через Огюста, но я надеюсь, что наш друг возместит упущенное, — произнес Декарт, поклонившись в сторону Пьера Ферма.

И тот стал увлеченно показывать сделанные им преобразования формулы Пифагора[[13]](#footnote-13).

Декарт внимательно выслушал Пьера Ферма, взял в руки составленную им таблицу, лицо его из грозного стало сосредоточенным, потом он горько усмехнулся:

— Друг мой, боюсь разочаровать вас, но стоило ли вам вкладывать столько труда в «изобретение колесницы», известной еще при фараонах?

— Вы правы, Рене, очевидно, при фараонах жрецы бога Тота знали эти ряды, но разве не наш долг вернуть людям утраченные знания?

— Вы не поняли меня, друг мой. Я применил метафору о колеснице, имея в виду, что она известна была и древним римлянам, даже в наше время на ее основе созданы кареты. Просто вам нет надобности применять свой математический дар для вычисления сторон приевшихся всем прямоугольников, поскольку древние оставили нам изящные формулы, дающие значения всех возможных пифагоровых троек. — И он размашисто написал на листе несколько формул. — Их связывают чуть ли не с Платоном, их можно найти в X книге «Начал» Евклида[[14]](#footnote-14).

— Простите, что я вступаю в ваш высоконаучный разговор, почтенные знатоки чисел, — вмешался звездочет, — но арабской науке действительно известны эти древние формулы, правда, в несколько другом написании. Однако, к сожалению, до нас не дошел их вывод. Впрочем, в том, что они дают верный результат, я имел, по воле аллаха, возможность убедиться всякий раз, когда их применял, подобно тому, как это делал сам Диофант.

Пьер Ферма нахмурился, пристально глядя на свои и написанные Декартом формулы:

— Они выводятся очень просто, почтенные господа, из тех самых выражений, которые позволили мне составить таблицу. — И Пьер Ферма показал, как удивительно простым способом можно получить эти древние формулы[[15]](#footnote-15).

— Не могу отказать вам в математическом остроумии, но нахождение вывода старых формул не может подняться до значения самих этих формул. Так что я не вижу, к сожалению, смысла в вашей умственной расточительности ради повторения давно человечеством пройденного.

Пьер Ферма покраснел, потом побледнел, пронизывающе смотря на составленную им таблицу рядов, которую в эту минуту изучал арабский звездочет.

— Простите мне во имя аллаха, мои высокочтимые гости, что я рискую обратить ваше внимание на то, что в составленной молодым гостем таблице я вижу весьма примечательные особенности, которые, надо думать, он подметил и обосновал. Кроме того, можно увидеть, что тройки, вычисленные по древним формулам, не окажутся, как в таблице господина Пьера Ферма, простейшими числами. Произвольно задаваясь величинам m и n, мы получим после вычислений хаотические, беспорядочные, как россыпь разноцветных камней, значения всевозможных прямоугольных треугольников, отнюдь не способствующих выявлению законов их построения.

— Вы правы, уважаемый Мохаммед эль Кашти, таблица троек действительно дает возможность установить некоторые зависимости как в вертикальных рядах, так и в рядах, соседствующих по горизонтали. — И он познакомил слушателей с тем, что открыл[[16]](#footnote-16).

По просьбе арабского ученого особенно остановился Пьер Ферма на выборе коэффициента α и β в своих формулах.

— Вас интересует, уважаемый Мохаммед эль Кашти, случай, когда коэффициенты α и β содержат общий множитель √21? — И он показал с убедительной простотой, что в этом случае получающиеся тройки будут повторять все первые тройки соседних по горизонтали рядов[[17]](#footnote-17).

— Вы убедили меня, почтенный знаток и поэт чисел. Видит аллах, с каким благоговением я стараюсь вникнуть в найденные вами числа и мудро расставленные по клеткам таблицы, кажущейся мне поистине волшебной. Но я покажу почтенным господам, какие тайны хранит в себе эта простенькая таблица.

— Что же вы обнаружили в ней, уважаемый Мохаммед эль Кашти? Разве я не все понял в собственной работе?

— Конечно, не все, ибо все понятно лишь одному всемогущему аллаху! Но достаточно прикоснуться к математическому сокровищу, чтобы обнаружить в нем...

— Что же? Что? — нетерпеливо торопил арабского звездочета Пьер Ферма.

— Благословенное аллахом золотое сечение! 8 единиц рассекаются на 5 и 3, 13 — на 8 и 5! А эти цифры стоят в таблице поблизости, как и в орнаменте[[18]](#footnote-18)!

Декарт скептически пожал плечами и поморщился. Араб воскликнул:

— Видит аллах справедливый, что вы напрасно так холодны, господин Картезиус! В этой премудрой таблице египетских рядов, как в бездонном колодце, можно черпать сокровища знаний.

— Я не хочу отказывать древним в важных познаниях, но я не вижу причин искать закономерности построения треугольников, будучи не уверен в их практической ценности, поскольку величины сторон ограничены такой условностью, как целочисленность.

— О многочтимый господин Картезиус! Я с почтительным вниманием изучаю ваши латинские труды по философии, стараясь вникнуть в глубину ваших мыслей, но позвольте возразить вам, не оспаривая вашего права на высказанное мнение.

— Пожалуйста, прошу вас, почтенный Мохаммед эль Кашти.

— По вашему определению, господин Картезиус, человек начал существовать как человек, лишь обретя способность мыслить, а это произошло тогда, когда он стал считать по пальцам, определять, сколько плодов он сорвал, сколько дичи принес, сколько членов его семьи или племени должны его добычу разделить между собой. По-латыни, как вы знаете, «вычисление — калькуляция» происходит от слова calculus, что означает «камешек», число камешков могло быть только целым. И в нашей жизни, начиная от числа людей, быков, кораблей, домов и окон в них, кончая числом звезд в созвездиях, — все это только целые числа. Природа по воле аллаха не знает дробей.

— Но при чем тут закон Природы, созданной всевышним, и прямоугольные треугольники? — с вызовом спросил французский философ.

— Величайшая тайна творения, уважаемый мною господин Картезиус, как я верю и убежден, заключена в том, что первородный закон Природы и ее творца до необычайности прост, не менее прост, чем открытый Пифагором закон прямоугольного треугольника. И неспроста древние египтяне после разлива Нила вновь разбивали поля с помощью веревки с узлами через три, четыре и пять мер, натягивая ее на три колышка и получая очень точно необходимый им прямой угол. А как такие прямые углы нужны морякам, определяющим свое местонахождение по звездам, или нам, звездочетам, эти звезды изучающим? И кто возьмется сказать сейчас, как еще послужат людям сведенные в эту таблицу прямоугольные треугольники?

Конечно, маленький арабский звездочет был только человеком своего времени, невежественным астрологом, пытающимся предсказывать будущее по расположению звезд, но в этой реплике, сказанной двум выдающимся ученым XVII века о простоте первородных законов Природы, он, сам того не подозревая, поднялся до поистине гениальных высот предвидения. Мог ли он даже предположить, что другой великий ученый, которому жить триста лет спустя, в XX веке, создаст теорию относительности, из которой последует[[19]](#footnote-19), что для летящего с субсветовой скоростью тела гипотенуза прямоугольного треугольника представит увеличивающуюся массу тела, его энергию и собственное время, в то время как горизонтальный катет — массу, энергию и время покоя, а вертикальный катет будет отличаться от гипотенузы так же, как и скорость тела от скорости света, длина же тела сократится по тому же закону.

Никто из присутствующих не знал глубин характера Пьера Ферма, в котором сочеталась доброта и скромность с уверенностью в неограниченности своих возможностей. Он считал, что ему доступно все на свете и в языкознании, и в поэзии, и в изучаемом праве, и в полюбившейся ему математике, никто не ожидал и не мог бы объяснить его неожиданный поступок. Пьеру Ферма было совершенно достаточно собственного признания того, что он не напрасно искал и нашел закономерности простейших пифагоровых троек, он был искренне восхищен увлеченностью его работой арабского ученого, чрезвычайно ему симпатичного, он хотел еще показать своему соотечественнику Рене Декарту, что он тоже способен на победу над самим собой. И Пьер Ферма сделал то, что стало обычным в его последующей научной деятельности, ему всегда казалось достаточным найти, открыть самому, а потом, не делая и не записывая даже выводов, предлагать своим современникам пройти его путем. Была ли это гордыня или скромность гения, но, как бы то ни было, Пьер Ферма и в последующие годы не оформлял своих трудов, не издавал собрания сочинений, не разыскал собственных найденных им доказательств (или не записал их!).

А сейчас он поразил и маленького арабского звездочета, и Декарта обращенной к ним речью:

— Я глубоко признателен вам, уважаемый Рене, за заботу о полезном применении моих способностей. За один сегодняшний день вы дали мне два урока: как победить самого себя и как бережно расходовать свои силы. А вам, досточтимый Мохаммед эль Кашти, я благодарен за то, что своей оценкой моей скромной работы вы открыли мне глаза на мою слепоту, показали мне тайны, мимо которых я проходил. Вы усмотрели в восстановленной мной египетской таблице пифагоровых чисел такой сокровенный смысл, что я не могу больше считать ее своей, она — ваша! Только вы, истинный поэт чисел, сможете увидеть в ней то, что откроется будущим поколениям. В моей памяти останется лишь формула, стоившая Пифагору сотню быков, а мне — размышлений о величине в степени, которую можно разложить на два слагаемых в той же степени.

И с этими словами Пьер Ферма торжественно передал арабскому ученому свои вычисления, сведенные в таблицу.

Мохаммед эль Кашти застыл ошеломленный. Декарт же пытался разобраться в поступке молодого соотечественника: кто он? Гордец или скромник? Гений или воплощение беспечности?

— Клянусь аллахом, ни один султан на Земле не делал смертному такого царственного дара! — низко поклонился араб.

Хорошо, что метр Доминик Ферма не присутствовал при этом, он мог бы счесть поступок сына непростительным расточительством и едва ли перенес это.

Декарт же подумал: что бы ни руководило Пьером Ферма, но этим отказом от собственного открытия он, несомненно, поднялся в собственных глазах выше всех, кто его окружал. И тут Декарт подумал о себе: видимо, не полностью он еще одержал победу над самим собой.

Так сделан был «царский дар», поэтому истории науки ничего не известно об этой работе Ферма, с которой, быть может, и началась его дорога гениального математика, чьи работы на протяжении столетий будут волновать ученых всего мира.

Но будем справедливы к довольному и улыбающемуся Пьеру Ферма. Ему хотелось шутить, смеяться, пображничать за столом. И он сказал, обращаясь к арабу:

— Жаль, что коран запрещает вино, почтенный Мохаммед зль Кашти! Именно сейчас мне хотелось бы чокнуться с вами бокалом старого французского вина!

Маленький арабский звездочет смущенно улыбался, не зная, что сказать.

#### Глава седьмая.

#### СНЫ — ТОЛЬКО СНЫ

Если б любовь была недостойна мудрецов, то пришлось бы пожалеть бедных красавиц, обреченных наслаждаться любовью одних глупцов.

Зенон из Элеи, древнегреческий философ

Любовь настигает человека, даже если он мудрец.

Пьер Ферма к двадцати семи годам был уже не только мудрецом, постигшим глубины математики (его увлечения, утехи и страсти), но и знатоком языков, античности, а также права, к тому же еще и поэтом. «Арифметика» Диофанта стала его настольной книгой.

В 1628 году, опять же в апреле, он сопровождал отца, который, переживая денежные затруднения, отправился с сыном в Тулузу, к дальнему родственнику жены, главе юридической семьи, господину Франсуа де Лонгу, в расчете на его покровительство юридически образованному Пьеру, поскольку ни его стихи, ни его знания дохода не приносили, а также помышляя с помощью святого Доминика получить денежную поддержку, ибо дела буржуа и второго консула Бомон-де-Ломань после дорого стоившей поездки в Египет пришли в полное расстройство.

Сухощавый и важный господин Франсуа де Лонг встретил дальних и запыленных в столь же дальней дороге родственников без особого жара души, и дом его мог показаться южанам холодным, не согретым теплом радушия.

Господин Франсуа де Лонг прослыл в юридических кругах наиискуснейшим крючкотвором, о чем знал даже сам его высокопреосвященство господин кардинал Ришелье, в нужных случаях прибегая к услугам юриста-дворянина.

Если бы великому Сервантесу в его время понадобился натурщик для портрета Дон Кихота, он не нашел бы лучшей модели, чем Франсуа де Лонг (живи он тогда), правда, при условии, что он выпрямится, чтобы не походить своим тощим согнутым телом на крючок, оправдывая тем данное ему среди юристов прозвище, отражающее и его внешность, и ценные способности судейского. По человеческой сущности он был прямой противоположностью рыцарю Печального Образа, будучи лишенным мечтательности и отнюдь не витая в воображаемом мире, чтобы защищать в нем высокие идеалы, а с редкой прозорливостью постигая мир таким, каков он есть, и если признавал идеалы, то лишь связанные с выгодой. Вот почему, прокалывающе глядя из-под бесцветных бровей и поглаживая полуседую бородку, скорее сгорбленный, чем поклонившийся гостям, он не почувствовал никакой выгоды от их приезда.

Когда же он узнал, что Пьер (о чем метр Доминик Ферма с наивной гордостью поспешил сообщить) не только «начинающий юрист без протекции», но еще и поэт и даже математик, то искушенный в секретах преуспеяния господин Франсуа де Лонг совсем разочаровался в приехавшем молодом человеке и даже выразил ему свое мнение о никчемности математических занятий, полезных разве что торговому люду для счета товаров и выручки, но уж никак не благородным людям или юристам.

Но дочь господина Франсуа де Лонга Луиза, не в пример отцу, мечтательная, романтическая девушка, воспитанная в монастырской строгости, но обожавшая рыцарские романы не меньше Дон Кихота, не разделяла отцовского отношения к гостям.

Потеряв еще год назад мать, она теперь на правах хозяйки дома смогла окружить приехавших родственников такой заботой и даже лаской, что, обладая к тому же в глазах Пьера неземной, поистине небесной внешностью, затмила даже восточное гостеприимство в Александрии.

Господа де Лонг жили в загородном доме предков, называя его «замком», хотя он меньше всего походил на «оборонительное сооружение», он был окружен не стеной со рвами, а густым садом, где и встречались порой случайно (а может быть, и не случайно!) молодые люди.

Словом, любовь настигла мудреца задолго до его старости, и древнегреческий философ Зенон из Элеи не стал бы жалеть такую красавицу, как Луиза де Лонг, поскольку ее новый обожатель отнюдь не был глупцом.

Впрочем, влюбленные глупеют, а уж о поэтах и говорить нечего — ведь настоящие стихи, как говорят, должны быть чуть-чуть глупыми, обращенные не к рассудку, а к чувствам. На беду свою, Пьер Ферма оказался и влюбленным и поэтом.

Сад де Лонгов благоухал.

На одной из его аллей солидно прогуливались почтенные родители: господин Франсуа де Лонг, как бы внимательно разглядывающий собственный пояс, и метр Доминик Ферма, то и дело вытирающий кружевным платком шею и подбородки.

Почтенные отцы вели многозначительный разговор, стараясь за учтивыми оборотами речи скрыть истинный ее смысл, который для метра Доминика Ферма означал столь же мучительную, как и унизительную просьбу о помощи деньгами отцу и протекцией сыну, а для господина Франсуа де Лонга — стремление не связать себя никакими обещаниями, сохранив в неприкосновенности свой «золотой запас», а также не затруднить никого из влиятельных людей в Тулузском парламенте (суде) просьбой о каком-то там безвестном родственнике.

— Как могли вы, почтенный метр, — назидательно отчитывал он пожилого гостя, — подвергнуть такой опасности свое бесценное здоровье, предприняв не сулившее вам никакой выгоды путешествие в Египет, которое, надо думать, привело в расстройство ваши денежные дела, на что вы, как мне кажется, намекнули. И я, право, не вижу при всем моем сострадании к родственникам покойной жены, как им удастся преодолеть эти неприятные, надеюсь, временные, затруднения, не прибегая к помощи этих отвратительных ростовщиков, которые ничем не лучше знакомых вам пиратов и, несомненно, окончательно разорят вас.

Метр Доминик Ферма ничего не мог возразить безжалостно красноречивому хозяину дома и, мысленно поминая святого Доминика, лишь горестно вздыхал, утираясь кружевным платком, ибо в тысячу раз с большей охотой обратился бы за помощью к хозяину другого дома невдалеке от мечети на базарной площади Александрии, увы, отделенной теперь непреодолимым для его нынешних средств Средиземным морем. Он ничего не знал о судьбе маленького звездочета и мысленно лишь сравнивал его со своим крючкообразным родственником.

На другой аллее, более глухой и тенистой, близ куста расцветших роз шел другой разговор между молодыми людьми, по-иному относящимися друг к другу, но также старающимися не выдать ни своих мыслей, ни своих чувств.

— И по-вашему, мсье Пьер, поэзия существует для того, чтобы дать слово душе человека? — говорила Луиза. — Но математика всего лишь умение считать и никак не служит возвышенным чувствам души. Почему же она увлекает вас?

— Поэзия — это пение души, — горячо подхватил Пьер. — Математика же — песня ума.

— Как странно: пение и песня, — тихо повторила она.

Так беседовали они о душе и уме.

Но то, что не могли произнести уста, сказали руки, когда коснулись друг друга у розового куста. И ощущение от теплого прикосновения существа, вчера еще незнакомого, а сегодня такого близкого и желанного, было так пронзительно, что могло напомнить вопль восторга, крик радости, песню счастья, если бы непреодолимая сила условности не сковывала тех, кто уже мечтал сковать воедино свои жизни.

— Мне показалось, мсье Пьер, что вы оцарапались о противные шипы этого куста. Вам больно?

— Что вы, милая Луиза! Я не ощущаю никаких шипов, никакой боли! Позвольте мне сорвать для вас эту красную розу, она так украсит ваши чудесные волосы.

— Ой, что вы, мсье Пьер! Папенька ведет счет каждому бутончику и будет очень недоволен, обнаружив недостачу. И не дай бог, если он увидит сорванный цветок в моих волосах, как вы того пожелали.

— Я готов принять гнев вашего батюшки на себя, милая Луиза, лишь бы насладиться таким украшением ваших волос, как эта роза, цвет которой так оттеняет румянец вашего лица.

И с этими словами Пьер сорвал с куста великолепную розу с капельками росы на лепестках.

Луиза, прилаживая ее к гладко зачесанным темным волосам с колечками у висков, с улыбкой говорила:

— Ой, какая колючая! Я боюсь, что ради меня вы исцарапали себе руку. Дайте, я пожалею ее.

— В таком случае позвольте мне сунуть прежде руку в самую гущу куста.

И оба счастливо засмеялись, засмеялись, потому что так ловко (или неловко!) скрывали то, что им хотелось сказать.

А на другой аллее их отцы тоже рассмеялись, довольные тем, как ловко удалось им уколоть друг друга даже без помощи шипов!

Метр Доминик Ферма рассказал господину Франсуа де Лонгу (в пику ему!), каково восточное гостеприимство, оказанное отцу с сыном совсем чужим и даже некрещеным арабом в Египте.

В ответ господин Франсуа де Лонг справился, во сколько обошлась родственнику его жены из Бомона-де-Ломань возможность воспользоваться восточным гостеприимством нечестивого мавра. Подсчитав (оказывается, когда требовалось, он владел и математикой!), сколько пистолей заплачено за переезд через Средиземное море и во что обошлось подношение османскому паше в Александрии, и поделив полученную сумму на число проведенных у Мохаммеда эль Кашти дней, он самодовольно отметил, что не чем иным, как расточительством, трату мешка с золотом ради арабского гостеприимства назвать нельзя, и затрясся в желчном смехе, хихикая и задыхаясь от удовольствия.

Доминику Ферма тоже пришлось заколыхать тучным телом в натужном смехе, горьком и подобострастном, лишь бы смягчить суровую скупость почтенного родственника, на протекцию которого для Пьера он продолжал еще рассчитывать.

Между тем все, что не мог вслух произнести молодой гость, естественно вылилось у поэта Пьера Ферма в сочиненном им для Луизы сонете:

###### Сны — только сны

Ты приходишь ко мне по ночам,

Когда я непробудно усну.

По серебряным лунным лучам

Ты приносишь с собою весну.

Зажурчали по венам ручьи.

В сердце — ярких цветов хоровод.

От зажженной тобою свечи

Полыхнул, засверкал небосвод.

Но зачем утром нового дня,

Долгим взглядом мне волю сковав,

Покидаешь ты тихо меня,

Ничего, ничего не сказав?

Сны пусть прежние видятся мне,

Но приди же ко мне... не во сне!

Написав этот сонет при неясном свете молодого месяца, но при яркой вспышке молодого пылающего сердца, Пьер утром после скудного (по воле «гостеприимного» хозяина) завтрака незаметно передал Луизе заветный листок, украшенный вензелями с изображением пронзенного стрелой сердца.

Луизе очень хотелось прочесть, что написал ей приезжий поэт, волнистые волосы которого так красиво падали на плечи, а глаза светились так многоречиво, но она боялась отца, держа письмецо на коленях, а потом перепрятав его за лиф.

Но эти тайные, чисто женские движения не ускользнули от ястребиного взгляда настороженного отца, он сразу догадался о секретном письме, которое дочь пытается прятать, чтобы прочесть в одиночестве.

Но он и виду не подал, что все заметил, и теперь не спускал с Луизы глаз. И когда она осталась одна на веранде и украдкой достала заветное письмо, а прочтя его, зарделась утренней зарей, из-за колонны вышел едва не пополам согнувшийся отец и молча протянул к ней руку. Луиза вскрикнула и спрятала листок у себя на груди. Но Франсуа де Лонг не отступил, и жест его лишь обрел повелительное значение.

Опустив глаза, Луиза, воспитанная в безропотном повиновении родителям, со вздохом отдала отцу злополучный сонет.

Франсуа де Лонг напялил на горбатый нос очки и стал изучать написанное, перечитывая и вникая в каждое слово с чисто профессиональной въедливостью. Потом поднял колючие глаза на дочь.

— Я хотел бы знать, каким поведением можно было вызвать подобное обращение к себе? — проскрипел он.

— Я, право, не знаю, — прошептала испуганная Луиза, расплакалась и убежала к себе в комнату на втором этаже.

Господин Франсуа де Лонг, пожалуй, впервые за много лет выпрямился во весь свой довольно высокий рост и стал похож на жердь, которую крестьяне втыкают на огороде.

Огромными шагами он вымерял веранду от колонны до колонны, пока не появился шаркающий ногами и глухой слуга.

Хозяин закричал на него, сжав кулаки, а потом приказал тотчас найти Пьера Ферма и привести к нему, причем произнес это так громко и несколько раз, что услуги старого слуги не потребовалось. Пьер, находясь неподалеку в саду (в надежде увидеть Луизу после прочтения его сонета), сам услышал приказ де Лонга и поспешил к нему, кстати говоря, не предвидя ничего хорошего.

— Что это значит, сударь? — грозно встретил его маститый юрист, потрясая в воздухе листком с сонетом Пьера.

— Это выражение моих чувств, — почтительно ответил Пьер, — чувств, которые вдохновили меня просить у вас, высокочтимый господин де Лонг, руки вашей дочери.

— Э нет, сударь! Мы оба, кажется, юристы! — произнес Франсуа де Лонг, сутулясь и превращаясь в зловещий крюк. — Так разберемся в сочиненном вами документе.

— Это не документ, сударь, это сонет с английской рифмой, как у Шекспира, — тихо произнес Пьер.

— Вам надлежало бы знать, молодой человек, что все написанное на бумаге являет собой до-ку-мент! И чему только учили вас в Бордо или Орлеане?

— Сонеты Шекспира или Петрарки прославляют чувства и предмет этих чувств, уважаемый господин де Лонг. Прославляет и мой сонет вашу дочь.

— Прославляет? А тут что? Так можно только ославить, а не прославить. — И выразительным жестом крючкотвора от ткнул согнутым пальцем в последние строчки сонета. — Звать девицу ночью к себе, «когда я непробудно усну...», по юридической логике это «приглашать к себе в постель»... И это вы называете проявлением чувств? Такое пристало какому-нибудь бесшабашному мушкетеру, гордящемуся любовными связями, а не претендующему на юридическое образование человеку, с которым я имею несчастье состоять в родстве по женской линии.

— Почтенный господин де Лонг! Поэтические слова, обращенные к даме, нельзя рассматривать в буквальном смысле, тем более что поэт в данном случае глупо (в этом надо признаться!) увлекся выгодной концовкой: «Сны пусть... видятся мне... и приди же ко мне... не во сне». Эту неловкость извиняет искренняя любовь к вашей дочери, и я, осмеливаясь мечтать о взаимности, почтительно прошу у вас ее руки.

— Руки моей дочери, которую вы пытались соблазнить?

— Побойтесь бога, господин де Лонг! Вы сами были молоды, сами любили и создали крепкую семью, которая могла бы стать примером для нас с Луизой.

— Крепкую семью, говорите, молодой человек? А какие у вас, смею спросить, есть возможности обеспечить такую крепкую семью? Может быть, вы владеете родовым поместьем или завидной рентой? Или у вашего батюшки все идет так гладко, что он берет вас компаньоном в свое «процветающее» дело?

— У меня есть только одна моя голова, сударь, начиненная некоторым запасом знаний, и надежда, что с такой могущественной поддержкой, как ваша, сударь, я смогу на посту советника парламента в Тулузе достойно обеспечить свою семью, и мы с Луизой будем счастливы.

— Вы с Луизой? — пронзительно захохотал Франсуа де Лонг. — Передайте вашему батюшке, что дрянной городишко Бомон-де-Ломань ждет не дождется своего проподконсула...

— Второго консула, — почтительно поправил Пьер.

— Ну пусть второго, третьего, пятого... во всяком случае, не первого. Ждет не дождется его возвращения вместе с неудачником сыном, которому надлежит быть возможно дальше от Тулузы, где будет жить до предстоящего замужества моя дочь, имеющая возможность выбирать среди почтенных жителей Тулузы достойного жениха, способного солидно обеспечить семью. Слуга проводил бы вас с батюшкой до почтовой кареты, если бы мог поспеть за вами, имея в виду спешность вашего отъезда.

Так печально кончилась история с злополучным сонетом Пьера Ферма, написанным в стиле Шекспира.

Пьеру очень хотелось проснуться, но, увы, он видел все это не во сне.

#### ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Жизнь человеческая подобна железу. Если употреблять его в дело, оно истирается, если не употреблять, ржавчина его съедает.

Катон-старший

Печально наше послесловие, хотя Пьер Ферма потерпел лишь первое поражение, почтенный метр Доминик Ферма не пережил своего разорения, ничего не оставив ни сыну, ни другим детям, которым Пьер уступил во владение отцовский дом в Бомон-де-Ломань, сам рассчитывая лишь на самого себя, на свои замыслы и силы.

Печально наше послесловие потому, что Пьер Ферма ничего не узнал о горькой судьбе маленького арабского звездочета, которого одарил таким царским подарком.

Лишь много лет спустя в Париже от былого сотоварища Декарта по коллежу аббата Мерсенна, добровольного посредника в переписке ученых, он услышал, что аббат уже давно перестал получать письма от арабского знатока чисел Мохаммеда эль Кашти.

Но ни аббат Мерсенн, ни тем более Пьер Ферма так и не узнали, что маленький арабский звездочет, поразительно сочетая в себе глубокие научные познания с суеверием, наивно убежденный в своей способности угадывать будущее по расположению звезд, осмелился предсказать османскому паше в Аль-Искандарии немилость султана, за что с согласия султана, уличенный к тому же в мерзостном посещении языческих капищ, был обезглавлен, и все книги его и рукописи, как колдовские, противоречащие корану, подлежали сожжению, и при стечении толпы правоверных в одну из звездных ночей (которые так ценил звездочет для наблюдений!) пламя костра вспыхнуло перед домом казненного и взметнулось от налетевшего вихря, пронесшегося над базарной площадью.

Так и не удалось бедняге спасти свою голову от секиры палача османского паши. Искры и огненные птицы взлетели в черное небо, почти до уровня минарета ближней мечети. Никто не видел, где падали эти птицы. Но не исключено, что в темноте ночи некий чернокожий гигант, посветив себе факелом, притушил тлеющую птицу и унес то, что осталось от нее (быть может, таблицу?), на память о добром хозяине, иначе чем объяснить, что таблица, над которой работал французский математик, попала наконец в руки автора[[20]](#footnote-20).

Безрадостно складывалась и судьба философа в офицерском мундире Декарта. Видный мыслитель, последователи которого и в наше время называют себя картезианцами, утверждал, что все познается только опытом и наблюдением (как? А вера!!!), навлек на себя недовольство не только святой римско-католической церкви во главе с папой римским, специальной буллой осудившим и запретившим одно из главных сочинений Декарта, но также и лютых врагов католицизма — протестантов, боровшихся с католиками за власть и влияние на протяжении всей Тридцатилетней войны во многих странах Европы. Декарту пришлось принять в ней участие, но гонение вынудило его покинуть сначала Францию, а потом и Нидерланды и в конце концов оказаться в Швеции под защитой своенравной королевы Христины, которая не смогла, однако, уберечь строптивого философа от губительного для него скандинавского климата.

Справедливости ради надо сказать, что он ни в чем не уступил гонителям, всегда оставался самим собой, хотя и допускал порой ошибки, одна из которых однажды снова столкнула его с Пьером Ферма в бескровной, но бурно разыгравшейся в научных кругах дуэли, о чем пойдет речь в последующих главах правдивого романа.

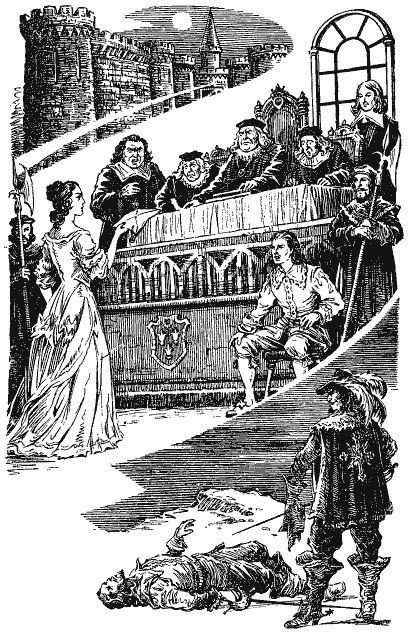
То, что не понял Декарт в работах Ферма, потом развили Ньютон и Лейбниц, кстати говоря, споря между собой о приоритете, создав дифференциальное интегральное исчисление, гениально предвосхищенное скромным французским юристом.

### Часть вторая

### ВЕРШИНЫ МАНЯЩАЯ ПРЕЛЕСТЬ

Жаден разум человеческий. Он не может ни остановиться, ни пребывать в покое, а порывается все дальше.

Ф. Бэкон



#### Глава первая.

#### КОСТИ И ШПАГА

Ни одно человеческое исследование не может назваться истинной наукой, если оно не прошло через математическое доказательство.

Леонардо да Винчи

Два года прошло со времени знакомства Пьера Ферма с Луизой де Лонг.

Конечно, разгневанный «крючок» не оказал Пьеру никакой протекции в Тулузском парламенте, где играл известную роль. И можно понять его удивление, а потом ярость, когда он узнал, что этот выскочка Пьер Ферма все-таки умудрился получить заветное место советника суда и приезжает в Тулузу.

Искушенный крючкотвор, умеющий выискивать юридические зацепки в делах, которыми занимался в парламенте, оказывается, не обладал должной проницательностью, чтобы угадать за покорной кротостью дочери несгибаемое, а вернее, пружинное упорство и изощренную находчивость (поистине женское чувство не знает преград!).

Сам господин Франсуа де Лонг был по-ослиному упрям, но если справедливы слова умного острослова, что «упрямство — вывеска дураков», то упорство, каким обладала Луиза, скорее всего напоминало гибкую кость дамского корсета, сгибающуюся от усилия и тотчас разгибающуюся, едва оно ослабнет, и Луизу меньше всего интересовала разница между «вывеской дураков» и «кольчугой мудрецов», как порой философы называли упорство. И вполне может быть, что ее упругая защита была непробиваемей кольчуги.

В день получения сонета Луиза, казалось бы, покорно уступила разгневанному отцу, но, едва униженные родственники покинули Тулузу и отец принялся подыскивать Луизе выгодного жениха, скромница дочь с потупленным взором приступила к действиям.

Нет у мужчин оружия против женской слабости, в особенности если она присуща любимой племяннице. Это в полной мере ощутил младший брат Франсуа де Лонга, тоже юрист с кое-какими связями в Тулузском парламенте, как и все в семье.

Вот через него-то, через Жоржа де Лонга, и решила добиться своего счастья наша одержимая влюбленная. И, заливаясь прожигающими мужское сердце слезами, рыдая на дядиной груди, перемежая горестные вздохи с поцелуями, она одержала полную победу над сердобольным Жоржем де Лонгом, румяным, рыхлым и добродушным, которого не наградил господь собственными детьми. Готовый расплакаться, суетливый по натуре, сейчас он был готов не без тайного (но беззлобного) торжества все сделать для дочери высокомерного Франсуа, который не упускал случая оттеснить младшего брата на задний план.

Протекцию Пьеру Ферма Жорж де Лонг оказать мог, но... дело осложнялось тем, что у Пьера не было нужных средств, чтобы отблагодарить благодетелей, которые предоставят ему желанное место. Это препятствие казалось неодолимым, но очаровательная племянница смотрела на дядю такими глазами газели и в их глубине теплились такие поистине тигриные искорки, что предложенная еще невероятная сделка (чего только не придумает влюбленная женщина!), по которой благодетели должны подождать первого дела Пьера, чтобы он лишь после него расплатился б с ними, под гарантию, конечно, такого солидного поручителя, как любимый дядюшка Жорж де Лонг, показалась растроганному судейскому не лишенной смысла.

И, кряхтя, сам себе дивясь, толстый дяденька Жорж пошел на все, чего пожелала племянница, и даже на большее: выплатил, как поручитель, часть обусловленной благодетелями суммы впредь до выигрыша Пьером Ферма его первого юридического дела.

И ощутимый кошелек с пистолями, так приятно оттягивающий пояс, оказался ключом в Тулузский суд, позволив Пьеру Ферма вновь оказаться в желанном городе, где он рассчитывал увидеть свою возлюбленную, воспетую им за долгие два года (такие дела быстро не делаются, в особенности у судейских!) во множестве сонетов и в стиле Шекспира, и в стиле Петрарки. Надо заметить, что сонеты эти уже не попали в крючковатые пальцы почтенного родителя, ибо дочь его оказалась столь же предусмотрительной, как и покорной, сумев к тому же за эти два года с чисто отцовской придирчивостью найти убедительные доводы для отказа немалому числу выгодных женихов.

Франсуа де Лонг узнал о приезде нового советника парламента в Тулузу слишком поздно, чтобы добиться отмены назначения, но, кипя негодованием, постарался, чтобы первое же порученное новому советнику дело было для него непосильным и уронило бы Пьера Ферма в глазах влиятельных людей, которых не восхитить всякими там ухищрениями в области счета или сочиненными сонетами.

Таким безнадежным делом оказалось злонамеренное убийство молодым графом де Лейе маркиза де Вуазье, его соперника, домогавшегося, как и он, руки завидной невесты, ветреной красавицы Генриэтты, незаконной дочери самого герцога Анжуйского, торопящегося дать приданого за ней изрядный куш, поскольку ее заметил сам его высокопреосвященство кардинал Ришелье, духовный сан которого не позволит ему возвысить до себя легкомысленную красавицу, но...

Тело пронзенного шпагой мертвого маркиза де Вуазье было найдено за монастырской стеной, в обычном месте запретных дуэлей. Ни у кого, в том числе и у судейских, ведших следствие, не вызывало сомнений, что маркиз был убит графом Раулем де Лейе во время поединка, на который маркиз сам вызвал графа в присутствии капитана кавалерийского полка, расквартированного в Тулузе, господина де Мельвиля, пригласив его быть секундантом. Поединок не состоялся в день ссоры молодых людей из-за того, что граф де Лейе, ссылаясь на какие-то неотложные дела, отказался от встречи в предложенное время, не отвергая дуэли на будущее, однако капитан так и не получил сообщения, когда она состоится. Улики множились еще и потому, что в роковую ночь граф Рауль в замке отца, старого графа де Лейе, не ночевал и категорически отказался назвать, где и с кем он провел эту ночь. Словом, по настоянию сурового Прокурора Массандра молодой граф Рауль был брошен в темницу, и ему по требованию того же неумолимого Массандра грозила виселица.

Пьер Ферма отлично понимал, что требование позорной казни дуэлянту, практически никогда не применяемой, обусловлено политическими соображениями, поскольку кардинал Ришелье искоренял привилегии, дарованные гугенотам королем Генрихом IV, чьим соратником в бытность короля еще вождем гугенотов был старый граф Эдмон де Лейе. Казнь сына нанесет старому графу непоправимый удар, прекратив существование его старинного рода.

Старый граф де Лейе был в отчаянии, готовый на любые траты, лишь бы спасти сына, но перед ним встало поистине неодолимое препятствие — заинтересованность самого его высокопреосвященства, который, помимо политических расчетов, был не прочь разом избавиться от двух молодых соперников, претендующих на готовое раскрыться сердце желанной для кардинала Генриэтты. И это незримое влияние его высокопреосвященства было ловко использовано господином Франсуа де Лонгом, всегда готовым угодить господину кардиналу, а кстати, и подставить ножку Пьеру Ферма. И дело с обвинением графа Рауля де Лейе было передано именно ему, неопытному юристу, которого ждал несомненный провал.

Пьер Ферма, ознакомившись с обстоятельствами дела и разгадав тайные силы, действующие вокруг него, прекрасно понимал всю безнадежность положения как графа Рауля де Лейе, так и его собственного. И, как это ни странно, (а может быть, и понятно!), вместо того чтобы искать покровительства влиятельных господ вплоть до обращения к самому его высокопреосвященству господину кардиналу или даже к королю и поднесения (за счет старого графа де Лейе, конечно!) богатых подарков судейским, начиная со свирепого прокурора Массандра, который мог же, в конце концов, в зависимости от предложенной суммы смягчиться, вместо того чтобы делать все это, как поступил бы любой другой юрист тех времен на его месте, Пьер Ферма, видимо, окончательно потеряв голову, не нашел ничего лучшего, как коротать время в трактирах, переходя от столика к столику, подолгу задерживаясь там, где играли в кости, однако не делая ставок сам.

Впрочем, может быть, этот новый советник парламента был и не так уж глуп, зная слабости прокурора Массандра, и не случайно оказался у столика, где господин Массандр азартно играл в кости с известным уже нам капитаном де Мельвилем.

Прокурор Массандр попеременно то выигрывал, то проигрывал. Играли они в шесть костей, то есть выбрасывали сразу шесть костяшек, из которых каждая могла показать на верхней своей грани от единицы до шести очков. Такая игра считалась особенно крупной, сводила на нет некачественность отдельных костяшек и отличалась обычно крупными ставками.

Гороподобный Массандр, потный от волнения, выкрикивал сумму выпавших очков хриплым голосом и страшно сердился, когда его партнер вежливо поправлял его, уличая в неважном знании арифметики. Сложить шесть цифр и не ошибиться, оказывается, дело нелегкое!

Прокурор Массандр в азарте, как и при требовании смертной казни осужденным, был страшен. Его спутанные длинные волосы закрывали часть лица, которое отнюдь не отличалось привлекательностью, обладая тяжелыми чертами и огромным мясистым носом. Пожалуй, он напоминал собой некоего хищного зверя, вырвавшегося из клетки и грозящего всем, кто попадется на пути.

И своим свирепым видом грозил он теперь и обходительному, учтивому капитану де Мельвилю, которого с его бравой профессией мирили лишь пышные, лихо закрученные усы, никак не вязавшиеся с невинными голубыми глазами и почти отсутствующим подбородком.

А угрожал прокурор капитану потому, что ему стало везти. И напрасно понадеялся бы наш молодой советник Пьер Ферма начать игру с прокурором самому, чтобы заставить его проиграться и стать сговорчивее. Напротив, яростно сопя, тот удваивал ставки, размашисто высыпал из кубка костяшки, бросался на них ястребом и выкрикивал подсчитанную сумму.

Бедный, изысканный в своих манерах капитан выкладывал содержимое своего кошелька, которое пропадало в бездонном кармане прокурора. Наконец ставка пошла на сам шитый золотом кошелек. Он тоже был проигран. Капитан уже готов был капитулировать и удалиться, но прокурор удержал его, предложив отыграться, если тот поставит свое великолепное седло, которое прокурор оценил в сто пистолей. Седло было выиграно неумолимым Массандром. Несчастный капитан сидел перед ним бледный, закусив губу. Как вернется он в свои кавалерийские казармы? Алчный же прокурор приглашающе перемешивал в кубке шесть костяшек, налил в кубок вина, не вынимая из него кости, залпом выпил и предложил последнюю ставку — лошадь капитана взамен седла и его же кошелька с пистолями, которые в нем были до игры. Капитан колебался, а Массандр искушал его, тряся костяшками в кубке.

Пьер Ферма бесстрастно наблюдал за игрой, забыв про записи, которые всегда вел, наблюдая играющих.

И тут капитан де Мельвиль махнул рукой, предложив прокурору Массандру бросить кости на названную им ставку.

У капитана дергалась щека, а вместе с нею шевелился закрученный ус.

С торжествующим кряканьем прокурор склонился над столом, напоминая выползающее на сушу морское чудовище, и протянул кубок капитану:

— Делайте вашу игру, господин капитан. Я предложил ставку, — эрго, бросаю последним, — по привычке юриста вставил он латинское слово.

Руки капитана тряслись. Видимо, он владел шпагой лучше, чем кубком для игры в кости. Он долго тряс костяшки, воздев свои голубые глаза ввысь и неслышно что-то шепча губами, должно быть, молитвы. Потом зажмурился и бросил кости.

Пьер Ферма искренне волновался за него, и у него холод пробежал по спине, когда он увидел на столе пять единиц и одну двойку на рассыпанных костяшках.

Прокурор оглушительно захохотал:

— Прикажите вашему слуге, милейший, принести мне уздечку от моего коня, — нагло заявил он поникшему капитану, который ощутил весь позор, какой обрушится теперь на него.

Тогда капитан робко сказал:

— Может быть, господин Массандр кинет и в свою очередь кости?

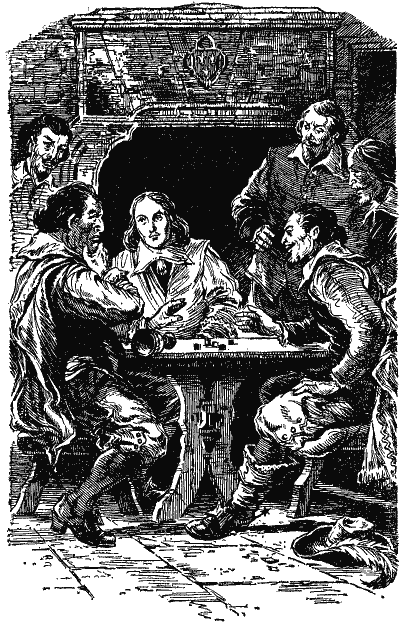
— Что? — презрительно повернулся своим мощным телом от капитана к Пьеру Ферма Массандр. — Вам не хочется, сударь, поупражняться в арифметике? Вы достаточно бегло считаете до тридцати шести? Считайте! Помогите господину капитану!

И с этими словами Массандр, не размешивая кости, опрокинул кубок и даже не посмотрел на выпавшие кости. И только по выражению лиц окружающих понял, что дело неладно, обернулся к столу и ахнул. На нем лежало шесть костяшек, с одним очком на каждой.

— Такое не может быть! — воскликнул прокурор.

— Я молился, я просил чуда, господин прокурор, — тихо проговорил капитан.

С яростными проклятиями Массандр отдал капитану его кошелек, наполнил его бывшими в нем прежде деньгами, вернул седло, которое, после того как было выиграно, лежало рядом на полу, встал на слоноподобные ноги и, опрокидывая на пути стулья, вышел из трактира.



Пьер Ферма смотрел на счастливого капитана и прикидывал в уме, сколько же раз надо бросить кости, чтобы получить такой невероятный случай, который едва ли помнит кто-либо, играя в шесть костей?

Число бросаний, как ему удалось подсчитать, достигло совершенно невероятной цифры — в несколько миллиардов!

Если бы игроки играли в орел или решку, бросая монету, то при достаточном количестве (в несколько сот) бросков их шансы были бы равны. При игре в одну кость с шестью гранями число бросаний, уравнивающих шансы играющих, становилось уже непомерно высоким, при двух костяшках практически шансы играющих уже не были равными — кому как повезет. При шести же костяшках все это невероятно осложнялось.

Сам того не подозревая, Пьер Ферма закладывал основы новой отрасли математики, которая спустя столетия будет служить многим областям человеческого знания — теории вероятностей, без которой невозможны ни страховое дело, ни лотереи, и в особенности современная ядерная физика, имеющая дело с субсветовыми и сверхсветовыми скоростями, когда нет абсолютных значений величин, а есть только вероятные.

Однако, как ни взволновала Пьера Ферма сцена с проигрышем прокурора, как ни удивительно было редчайшее совпадение, спасшее капитана, молившего о чуде, все же это отнюдь не спасало от виселицы обреченного графа Рауля де Лейе. Просто Пьер Ферма познал яростный нрав прокурора в непосредственной от него близости. Но он узнал также из трактирных разговоров и то, что молодой граф не дрался прежде на дуэли, в то время как маркиз де Вуазье зарекомендовал себя забиякой и бретером, уже не раз нарушая королевский запрет на поединки.

Это убедило Пьера Ферма в невиновности молодого графа. Не мог он, неопытный в фехтовании, убить заядлого дуэлянта! Но эта уверенность никак не могла повлиять на судей, уже затягивающих веревочную петлю на горле графа Рауля. Нужны неопровержимые доказательства его невиновности. Римское право учит, что виновного надо искать среди тех, кому выгодно преступление. И в смерти маркиза де Вуазье, принимая во внимание его притязание на руку Генриэтты, был заинтересован один только граф Рауль де Лейе. Так что судьям даже выбирать из числа подозреваемых не приходилось.

И все-таки...

Пьер Ферма преклонялся перед гением Леонардо да Винчи, высоко ставя все его удивительные сверхчеловеческие познания, открытия, изобретения. Такой человек, который, будучи подкидышем, не имел родителей, появись он в Древнем Египте, вполне мог быть провозглашен пришельцем со звезд и тем же богом Тотом. Не перечислить его открытий, изобретений, мудрых мыслей, не говоря уже о непостижимом даровании художника!

Вспомнил о нем Пьер Ферма в труднейшую минуту своей жизни совсем не зря. Он хорошо знал его высказывание о науках и математике: «Ни одно человеческое исследование не может называться истинной наукой, если оно не прошло через математическое доказательство». Такова гениальная мудрость Леонардо! «Ни одно человеческое исследование»? Он как бы говорит о человечестве, глядя на него со стороны. Но вместе с тем какая глубина! Только математическое доказательство, то есть непреложное, неизменное, делает науку наукой! А наука о праве — это наука? С точки зрения Леонардо, в таком случае она должна пользоваться математическими доказательствами! Так можно ли математически доказать, что неумелый противник в состоянии убить шпагой опытного? Это столь же редкое явление, как и выпадение шести очков на шести костяшках вслед за выброшенными семью очками у партнера! И все-таки судей не убедит такая аналогия. Нужно неопровержимое математическое доказательство. Если у Пьера Ферма есть уверенность в невиновности графа Рауля, то кто же и как убил маркиза де Вуазье?

И молодой советник парламента, используя свое право, отправился в темницу к графу Раулю.

В темной камере с пучком соломы в углу, где содержали обычно уже приговоренных к смерти, бедный граф должен был ждать своего приговора.

— Ваше сиятельство, — начал Пьер Ферма. — Я совсем ненамного старше вас, мы могли бы быть друзьями, я уверен в вашей невиновности, ибо вы плохо владеете шпагой.

— Да, сударь, я всегда пренебрегал фехтованием, больше интересуясь сонетами.

— Сонетами! Тогда нас уже многое связывает. Так помогите мне спасти вас. Мне нужно только одно: установить, где вы провели роковую для несчастного маркиза ночь?

— Простите меня, сударь. Вы сказали, что могли бы дружить со мной, но навсегда отказались бы от этого, если бы я признался вам, где провел эту ночь. Никогда, слышите ли вы, никогда я не открою этой тайны, которая не принадлежит мне!

— Ваше сиятельство, я не рискую повторить своей просьбы, даже напомнив, что грозит вам.

— Пусть я умру, но уста мои не разомкнутся, чтобы ответить на ваш вопрос!

Пьер Ферма покинул сырую темницу, унося с собой не только уверенность в невиновности Рауля, но и восхищение его готовностью принести в жертву свою жизнь, но лишь не бросить тень, очевидно, на одну из знатных дам Тулузы.

Молодой граф Рауль де Лейе был строен, красив, обладал прекрасными манерами и, конечно, должен был нравиться дамам. А тогдашние нравы располагали Пьера Ферма к тем выводам, которые он сделал. Но если бы он даже узнал, у какой прекрасной дамы провел несчастный юноша ту роковую ночь, то ему едва ли удалось бы уговорить ее ценой своей репутации спасти мимолетного любовника. Нет! Не таковы эти знатные дамы! Нужно искать другие пути.

Прав великий Леонардо да Винчи — надо искать математическое обоснование возможного вывода!

И снова новый советник парламента зачастил в трактиры.

Там в духоте винного перегара и запахов кухни говорили о двух событиях: о предстоящей казни молодого графа Рауля де Лейе и удивительном проигрыше прокурора Массандра всего, что было им выиграно у капитана де Мельвиля.

— Игра в шесть костей — это самая благородная игра из всех азартных игр. Пусть кто-нибудь возразит мне, и я размозжу ему голову! — уверял беглый монах богатырского вида в грязной рваной сутане и со спутанными, как войлок, волосами.

— Что ж тут благородного, отец мой, — заметил Пьер Ферма, подливая монаху вина, — если на все воля господня. Я сам был свидетелем случая, о котором говорит сейчас вся Тулуза, когда после семи выброшенных на шести костях очков следующий бросок дал только шесть. Все говорят — чудо.

— Чудо? — наклонился к уху Пьера Ферма монах. — Чудо, сударь, не знаю как вас величать, чудо — в вине! А такой случай, о котором вы говорите, не такая уж диковинка, если хотите знать.

— Ну, почтеннейший отец, с вами трудно согласиться. Я немало упражнялся в счете и пришел к выводу, что такое совпадение может повториться через столько бросаний, сколько песчинок на берегу моря, скажем, в Тулоне, где мне привелось бывать.

— Тулон, Тулон! При чем тут море? Кабы в нем были винные волны, вот это было бы море! А ваше чудо не такое уж и редкое.

— Ну что вы, отец мой! Математика не ошибается.

— Плевать мне на вашу математику. Мне достаточно считать до десяти, поскольку у меня десять пальцев на обеих руках, и я все эти десять пальцев готов прозакладывать, что видел именно десять дней назад вот в этом самом трактире совершенно такое же чудо. А вы говорите — камешки на морском берегу. — И он пьяно захохотал.

Пьер Ферма насторожился. О каком совпадении может говорить этот пьянчужка? И десять дней назад! Как раз тогда и случился роковой поединок маркиза де Вуазье с его противником.

Сам не замечая, Пьер Ферма последнюю фразу произнес не про себя, а вслух.

— Вот-вот! И я про то же говорю, почтеннейший! Про маркиза де Вуазье. Кто его здесь не знал? Не раз меня потчевал. Но в тот вечер он был трезв, трезв, как я в монастырском карцере, куда меня частенько запрятывал господии преподобный настоятель, изрядная гадина, скажу вам по секрету, сударь, хоть и в святые норовит пролезть нечестивый аббат.

— Вы сказали, что маркиз де Вуазье не был пьян? Может быть, потому, что ему предстояло драться на дуэли с графом Раулем де Лейе?

— Вот этого не знаю, сударь, хоть вы и поднесете мне еще стакан или два вина. Не знаю. Но видел, как он играл в кости. В шесть костяшек, понимаете? Серьезная была игра. Говорят, кому не везет в любви, а я, как монах, поверьте, не знаю, что это такое! — И он захихикал. — Когда не везет в любви, везет в азартные игры. А играли они азартно, смею вас уверить.

— С кем, отец мой?

— Как с кем? С мушкетером. Только мушкетер мог так играть.

— Как, отец мой?

— Ну играть, играть и проигрывать. Ведь при шести косточках отыграться трудненько, вы уж мне поверьте, сударь, до того, как я постригся, мне это было знакомо.

— Так мушкетер проиграл?

— Все проиграл: и кошелек с деньгами, и шляпу, и плащ с крестом, мушкетерский, и седло, и даже лошадь...

— Если это мушкетер, то ведь ему предстояло ехать на ней?

— Конечно, в том-то и дело. Маркиз — человек благородный, он предложил ему отыграться, поставив свою шпагу, мушкетерскую шпагу.

— И тот пошел на это?

— Конечно, а что ему оставалось делать? Вот тогда и произошел тот невероятный случай, о котором все сейчас болтают, будто он и повториться не может, а я сам видел.

— Что же вы видели, отец мой?

— Пять костяшек, с одним очком и одну с двумя: семь очков! Меньше, как говорится, и выбросить невозможно.

— И кто же бросил шесть костей с семью очками?

— Как кто? Мушкетер. И он выиграл с этими семью очками! Вот и все! Выиграл, черт бы его побрал, грешника!

— И вы сами видели, отец мой, как на шести костяшках у маркиза выпало всего шесть очков?

— Чего не видел, того не видел. Я решил, что тут и бросать нечего, думал, мушкетер теперь штаны снимать станет, ну и отошел от греха, как духовное лицо, к другому столу, где предлагали еще стаканчик вина. Но все видели, как они вместе вышли из трактира. Значит, все было в порядке, мушкетер, прости господи его грехи, отыгрался.

— Так ведь вы же, отец мой, не видели этого!

— А зачем видеть такую срамоту? И так все ясно. Раз они вместе вышли, значит, выпало маркизу только шесть очков. И перед утром мушкетер, этот сын греха и блудницы, сел на лошадь и уехал в полном своем мушкетерском обмундировании. Грешникам всегда везет! Можете проверить у трактирщика, рассказал, как на исповеди.

Пьер Ферма проверил. Трактирщик в переднике с повязанной красным платком головой нашел еще по крайней мере трех своих посетителей, которые подтвердили слова беглого монаха.

Как математик, Пьер Ферма не мог допустить, чтобы происшедшее вчера в его присутствии невероятное совпадение могло всего за десять дней до проигрыша прокурора случиться в соседнем кабачке. Если повторное выпадение семи очков на шести костяшках можно представить себе как случай, то сочетание последовательных бросков этих шести костяшек сначала с семью, а потом с шестью очками, требующее по крайней мере десятка миллиардов бросаний, произошло дважды за десять дней, было бы просто опровержением основ математики!

Нет, великий Леонардо прав! Наука о праве, чтобы стать истинной наукой, должна пользоваться и математическими доказательствами.

А из этого следует, что если мушкетер, ставя шпагу, отыгрался, то, очевидно, уже не в кости, а с ее помощью!

Что скажет на это господин прокурор?

#### Глава вторая.

#### ДОБЛЕСТЬ

Что человек делает, таков он и есть.

Гегель

Пьер Ферма хорошо изучил дорогу от старого в два обхвата корявого дуба с густой кроной, как у десятка сросшихся деревьев, до далекой калитки сада де Лонгов — более тысячи шагов по прямой через сочный луг. Пьер Ферма еще засветло несколько раз вымерил шагами это расстояние и мог бы идти теперь хоть с закрытыми глазами, и не только мог, но и решился на это, точно выйдя прямо к калитке, где в условленный час его будет ждать желанная Луиза.

Не раз уже после приезда Пьера в Тулузу молодые люди встречались так, втайне от грозного Франсуа де Лонга, в густом саду, где под покровом ночной темноты произносились самые нежные и сокровенные слова о вечной любви и грядущих радостях.

Но в этот раз Пьер Ферма шел знакомой дорогой, привычно не сбиваясь с прямой, глубоко задумавшись о предстоящем судебном процессе, где ему предстояло скрестить риторические шпаги с прокурором Массандром и где он мог рассчитывать лишь на помощь великого Леонардо да Винчи, подтолкнувшего его к математическим аргументам. Однако не было никакой уверенности, что мудрость великого Леонардо и найденные под его влиянием аргументы воспримутся досточтимыми судьями, когда им придется выносить решение о судьбе молодого графа Рауля де Лейе.

В темноте калитку и не различить, если бы не белое платье Луизы, которая выбежала из сада навстречу Пьеру и бросилась ему на шею.

— Почему мой метр такой грустный сегодня? — шепнула она.

— Чтобы выиграть дело, Луиза, моя нежная Луиза, и соединить не только наши сердца, но и жизни, мне необходима лошадь.

— Лошадь? — поразилась девушка. — Ты сказал, что наша жизнь зависит от какой-то лошади?

— Да, милая Луиза. От верхового коня, на котором мне необходимо совершить путешествие, чтобы выяснить имя проезжего мушкетера, быть может и скорее всего убившего де Вуазье.

— Но где взять лошадь? Купить?

— Но у меня нет денег, ты же знаешь. Я совершенно не представляю, как в таких случаях поступить. Я в полной растерянности.

— Вот еще! Какой же непрактичный мой милый метр! А я зачем? Чтобы вздыхать вместе с тобой? Ну нет! Боже мой! Да разве для нашего счастья я не сумею достать верховой лошади? Я выпрошу ее у дядюшки Жоржа. Для нас!

Пьер покрыл поцелуями тонкие руки своей возлюбленной. Поистине он приобрел в ней на всю жизнь все понимающего друга!

И снова добродушный дядюшка Жорж де Лонг не смог отказать любимой племяннице в такой пустяковой просьбе, как его верховая лошадь с высокой холкой и упругой рысью.

И уже на следующий день Пьер Ферма довольно неумело сидел в жестком седле, страдая от тряски, когда лошадь переходила на свою упругую рысь. Перед выездом Пьер Ферма провел циркулем по карте окрестностей Тулузы дугу с радиусом, равным однодневному переходу. Отправляясь в сторону, противоположную Парижу, он намеревался отыскать трактир или постоялый двор, где мог остановиться перед Тулузой неизвестный мушкетер и где могли знать его имя.

Целый день трясся Пьер Ферма в седле по дороге на юг и еще один день — по дуге круга, чтобы добраться до трактира, где увалень-трактирщик припомнил, что действительно недели две назад у него останавливался какой-то мушкетер, который пил вино с гвардейцем кардинала, а потом повздорил с ним. Имена их ему неизвестны, но он покажет крестьянина, семья которого выхаживает гвардейца.

— Выхаживает? — удивился Пьер Ферма. — Разве он болен?

— Не без этого, сударь. Они ведь повздорили с мушкетером, а тот был доблестный малый.

Ферма отыскал указанный ему крестьянский дом и во дворе его встретил миловидную крестьянку, хозяйскую дочь, которую стал расспрашивать о больном гвардейце.

— Ах, сударь, — призналась крестьянка. — Это такой милый человек, и я так стараюсь облегчить его страдания, достала лучший бальзам у заречной старухи (помогает от тяжелых ран!), делаю перевязки, изодрав на бинты лучшее наше полотно. Лишь бы он поправился. А какие у него усы!..

— При таких ловких руках и таком добром сердце, как у вас, моя дорогая, невозможно не поправиться.

— Бог да воздаст вам за ваши слова, сударь. Вы непременно хотите его видеть? А не расскажете его высокопреосвященству господину кардиналу, где он находится?

Пьер рассмеялся:

— Я отнюдь не на короткой ноге с его высокопреосвященством, моя дорогая. Но если бы я предстал перед ним, то, клянусь, сохранил бы вашу тайну, ибо догадываюсь, что она освящена любовью, чувством мне знакомым.

— Что вы, сударь! Как можно! — зарделась девушка и убежала.

А Ферма вошел в дом, где хмурый хозяин, припадая на левую ногу, проводил его к постели раненого гвардейца, ворча:

— Ох уж эти мне забияки, драчуны, не могут обойтись без ссор! Не все ли равно, кому служить: королю или кардиналу? На вилы их всех надо! Забыли, что французы.

Гвардеец лежал под лоскутным пестрым одеялом, натянутым до самых его торчащих закрученных усов.

Пьер Ферма наивно назвал себя и свое отношение к законности, спросив, не может ли он чем-нибудь помочь раненому.

— Что? — зашевелил усами гвардеец. — Какому такому раненому? Это не меня ли вы так обозвали, сударь? Я всего лишь подвернул колено, спрыгнув с лошади, вот и залег тут. А если хотите знать, сударь, то задерживаюсь я здесь из-за одной очень миленькой мордашки. Наверняка она повстречалась вам во дворе. Не вздумайте воспользоваться моим увечьем, не советую, — грозно добавил он.

Пьер Ферма понял свою оплошность. Конечно, гвардеец теперь ни за что не признается, что ранен в поединке с мушкетером, страшась гнева кардинала и виселицы судейских, наверняка подославших к нему этого советника парламента из самой Тулузы!

Так и оставил Пьер Ферма раненного мушкетером гвардейца, уехав ни с чем и пожелав ему выздоровления на руках миловидной крестьяночки, а сам отправился по дороге на юг, откуда, видимо, приехал мушкетер.

Еще один дневной переход верхом на лошади с упругой рысью помог Пьеру Ферма полностью познать все тяготы солдатской жизни, из которых самыми тяжкими, как ему казалось, были мучения от сбитых седлом частей тела, чувствительных к непереносимой тряске при езде рысью.

В попадавшихся ему трактирах о мушкетере ничего не знали, но в одном из них посоветовали наведаться в расположенный поблизости замок местного дворянина, который мог принять у себя заезжего гостя.

К замку Ферма подъехал в самый неподходящий час и столкнулся с похоронной процессией.

За гробом шли все домочадцы и слуги умершего владельца замка. Спешившись, Пьер присоединился к процессии, стараясь выяснить, что произошло с дворянином.

Провожающие в последний путь усопшего не отличались разговорчивостью и хмуро поглядывали на примкнувшего к ним чужака.

Но совсем по-иному отнеслась к нему вдова покойного.

Высокая, стройная, еще молодая, жгуче-черная, с горящими глазами, вся в трауре, она, гордо выпрямившись, стояла у края свежей могилы и первая бросила в нее ком земли, кем-то протянутый ей, беззвучно шепча губами или молитву или клятву. И не горе, а скорее гнев воплощала в себе ее черная напряженная фигура на фоне вечернего неба.

Она заметила незнакомца, когда все возвращались в замок, и приказала седому слуге подозвать его к ней или привести.

Когда Пьер предстал перед нею, то почувствовал острый сверлящий взгляд.

— Сударь, я не знаю вас, но благодарна за ваше участие в нашей горестной процессии. Не угодно ли будет почтить память усопшего во время поминальной тризны? Не откажите в таком случае в любезности назвать свое имя.

Пьер Ферма после встречи с раненым гвардейцем решил больше не называть себя, но сейчас не мог солгать этой гордой и гневной вдове. Он признался ей, кто он есть.

Женщина оживилась, насколько это было возможно в ее состоянии:

— Вот кого больше всего в жизни я хотела бы видеть сейчас! — воскликнула она. — Сам господь бог привел вас ко мне в этот горестный час. Я клялась над могилой мужа отомстить за него этому проклятому гасконцу, которого мой муж приютил у себя.

— Чем я могу быть вам полезен, мадам?

— Вы представитель закона, и к вам я взываю о мести.

— За что и кому хотели бы вы мстить с помощью закона?

— Убийце моего мужа.

— Кто же этот злосчастный преступник?

— Мушкетер, гасконец, дворянин. То, что он мушкетер, было видно по его плащу с крестом, гасконца выдавало его произношение и склонность к грубым шуткам, и только дворянин мог быть противником моего благородного мужа в поединке, вызванном спором. Имя же преступника пусть установит закон!

— В чем же заключается спор, мадам?

— Мы, женщины, никогда не поймем мужчин до конца. То, что нам представляется совсем незначительным, им кажется достаточным для того, чтобы рисковать своими жизнями.

— Сколь же важна была тема спора хозяина замка с его гостем?

— Ах, не спрашивайте, сударь. Мне горько повторять то, что я слышала своими ушами.

— Они спорили, смею спросить, о святой вере и гугенотах? О короле и кардинале? О королеве Анне и герцоге Букингемском? Или о нескончаемой войне за правую веру, или о философе Декарте и папе римском?

— Ах нет, нет, сударь! Совсем иное. Они поссорились из-за того, с какого конца надо разбивать вареные яйца, которые я принесла им на завтрак! Муж разбивал их с тупого конца, а гость стал насмехаться над ним с чисто гасконской наглостью, уверяя, что истинно благородные люди разбивают яйца с острого конца и что так можно отличить выдуманное благородство рода от подлинного.

— Так из-за яиц и состоялась дуэль?

— Из-за чести нашего рода, сударь. Оскорбленный муж был смертельно ранен, я выхаживала его все эти дни, но господу угодно было взять его к себе. Но он требует отмщения! Могу ли я рассчитывать на вас, сударь?

— Я обещаю вам лишь одно, мадам: выяснить имя этого гасконского дворянина, состоявшего в мушкетерах его величества короля. Именно ради этого я и приехал в ваш замок, не подозревая, что разыскиваемый мной мушкетер успел проявить здесь свою доблесть.

— Доблесть? Доблесть, сударь, проявляют в сражении с врагом, а не в уплату за гостеприимство.

Уезжая из замка еще до начала поминальной трапезы, Пьер Ферма, не только юрист, но и поэт, уносил в душе гневный образ жаждущей мщения вдовы, демонически прекрасной в своей ненависти, рожденной любовью.

Возвращение в Тулузу было печальным для Ферма. Он почти ничего не узнал, потратил драгоценное время и чувствовал себя совершенно разбитым и больным от непривычной верховой езды.

До дня суда остались считанные дни, а он не мог и думать о том, чтобы сесть в седло и начать поиски следов мушкетера по дороге в Париж.

И тогда он вспомнил о сотоварище Декарта по коллежу, ныне аббате Мерсенне, живущем в Париже, с которым он вел научную переписку, сообщая через него всем интересующимся математикой ученым о своих изысканиях и открытиях.

И Пьер Ферма сел за письмо.

Но всякий человек всего лишь человек со всеми присущими ему слабостями. Пьер Ферма не был бы самим собой, если б увлечение математикой не захватывало его всего целиком.

И письмо, обращенное через аббата Мерсенна к другим ученым, было прежде всего научным с неизвестными до того выводами, не содержа, кстати говоря, по обычаю Пьера Ферма, найденных им доказательств, которые он предлагал своим современникам найти самим. Неизвестно, чего здесь было больше: гордости, ставящей его выше всех, кто не сумеет пройти его путем, лености, не позволяющей ему затрудниться обоснованием своих гениальных догадок, или «научного озорства», если эти два слова можно поставить рядом. Но в этой манере общения ученого его времени сказывался своеобразный характер Пьера Ферма.

Так письмо о математическом определении вероятности событий, которое спустя столетия выльется в современную теорию вероятностей, было закончено, многократно переписано, чтобы достичь стилистической завершенности и такой увлекающей научной загадочности, которая побудила бы мыслящих читателей искать в открытом Ферма направлении. И только в самом конце, в постскриптуме, Пьер Ферма просил своего научного посредника Мерсенна узнать у капитана королевских мушкетеров господина де Тревиля, каково имя мушкетера-гасконца, проезжавшего через Тулузу по пути в Париж две с лишним недели тому назад.

Письмо отнес на почтовую станцию трактирщик, поскольку Пьер Ферма после своего непривычного путешествия верхом отлеживался в каморке, снимаемой в трактире «Веселый висельник», где недавно проигрался прокурор Массандр.

Пьер Ферма с горя занимался математикой, написал стихи о гневной вдове, но страдал не только от боли, но и тоскуя по Луизе.

Что же касается болевых своих ощущений, то он вполне мог считать себя раненным в самые неподобающие места доблестным гасконцем, которому даже не понадобилось для этого вызывать его на поединок.

Несмотря на боль, Пьер вскакивал всякий раз, когда ему казалось, что кто-то подходит к его двери, быть может, неся долгожданное письмо.

Но письма все не было.

И тут Ферма понял, что опять совершил непростительную ошибку, соединив в одном письме и свое новое математическое открытие, и столь важную и так незаметно высказанную просьбу к аббату Мерсенну.

Конечно, аббат Мерсенн прежде всего как ученый обратит внимание на математическую часть письма, начнет копировать ее для рассылки другим ученым, в чем неоценима его заслуга добровольного посредника в научной переписке, а что касается просьбы (для Ферма главной в этом письме!), то он вполне мог придать ей такое же второстепенное значение, как и небрежно отведенное ей место в коротенькой приписке.

Пьер был в отчаянии, кляня себя за непредусмотрительность.

И когда в очередной раз он кинулся к двери, то, открыв ее, увидел за порогом пышно одетого вельможу, появление которого в таком второразрядном трактире, как «Веселый висельник», казалось просто непостижимым.

Вельможа раскланялся в старомодном поклоне. У него было сухое, чем-то знакомое Пьеру лицо с благородными чертами, вышедший из моды парик, в руке он держал, как посох, дорогую трость с головкой из слоновой кости с золотой инкрустацией, такой же, как на шитом золотом камзоле.

Церемонно закончив приветствие, он произнес, гордо вскинув голову:

— Убитый горем граф Эдмон де Лейе перед вами, почтенный метр! Позвольте называть вас так, поскольку ваше положение советника Тулузского парламента дает вам на это право.

— Прошу вас, ваше сиятельство, но мне даже неловко принять такого высокого гостя в столь убогом месте.

— Пусть оно будет последним таким убежищем в вашей предстоящей жизни, молодой метр, жизни, полной удач и благоденствия. Я могу пока судить о вас лишь по вашей внешности, а она внушает мне надежду на спасение моего несчастного сына, дело с обвинением которого поручено вам парламентом.

— У нас общая надежда, ваше сиятельство, ибо, изучив дело, я пришел к заключению о безусловной невиновности вашего сына.

— Да благословит вас господь за эти ободряющие меня слова, но сумеете ли вы убедить в этом досточтимых судей?

— Я стремлюсь использовать для этого все доступные мне средства, включая даже такую непреложную науку, как математика.

— Непреложную, неподкупную, — вздохнул старый граф. — Если бы жив был прежний король, который знал и ценил меня, то, уверяю вас, не пришлось бы говорить или думать о неподкупности. Для меня, поверьте, жизнь моего сына ценнее всех сокровищ мира, и я готов сделать вас своим наследником наравне с ним, если вы спасете его от позорной для всего нашего старинного рода гибели.

— Я не посмею считаться вашим наследником, ваше сиятельство, хотя счел бы это для себя высшей честью. Прошу правильно понять меня: я посвящаю себя борьбе за справедливость и не усматриваю в своем простом происхождении препятствий к этому.

— Вы благородный молодой человек, пусть и не по рождению! Я хотел бы, чтобы у моего сына были подобные друзья.

— Я виделся с вашим сыном, ваше сиятельство, и сам предложил ему свою дружбу.

— Значит, вы верите, что он может ею воспользоваться?

— Я хочу в это верить. А высшей формой веры я считаю убеждение. А я убежден в оправдании графа Рауля де Лейе!

— Я благодарен вам, молодой метр, внушающий мне надежду и почтение! Извините старика, но я постараюсь, чтобы вы, спасши моего сына, ощутили бы мою благодарность не только на словах.

И с этим старый вельможа покинул комнатушку Пьера Ферма в трактире «Веселый висельник», около которого на улице, сверкая лаком, ждала карета с графским гербом, запряженная четверкой белоснежных лошадей с дугой согнутыми шеями.

Ферма из своего покосившегося окошка с туго открывающейся рамой наблюдал, как, окруженная толпой зевак, карета отъехала от трактира, и, глядя вслед ей, горестно вздохнул.

Письма от аббата Мерсенна все не было, день суда приближался, и, внушив малообоснованную надежду старому графу, Пьер Ферма должен был отправиться в парламент, по существу, почти безоружным.

Но не таков был Пьер Ферма, чтобы пасть духом, он готов был сражаться и одними лишь математическими аргументами, но если письмо подоспеет, его силы умножатся.

Об этом он и написал в записке Луизе, не в состоянии дольше откладывать свидания с ней. Он достал из заветного ящика позади кровати почтового голубя, врученного ему Луизой, и, привязав записку к его лапке, выпустил его в открытое окно. Посланец, как всегда, даст Луизе знать о назначенном на сегодня ночном свидании.

Морщась от боли на каждом шагу, добрался Пьер до заветного дуба, а с наступлением темноты и до заветной калитки.

Сознание, что письма Мерсенна все нет, терзало его, но, когда Луиза дуновением теплого ветра выпорхнула из калитки и бросилась ему на шею, он словно обрел новые силы.

Но Луиза из записки, принесенной голубем, знала, что его волнует и угнетает.

— Не сокрушайся, мой милый, — прошептала она, припадая к его груди.

— Когда ты рядом, милая Луиза, я чувствую себя рыцарем на ристалище.

— Пусть всегда в трудную минуту твоей жизни я стану являться, чтобы стать с тобою рядом, взяв тебя за руку.

— Да, но суд завтра, уже завтра... — ответил Пьер.

— Ну и что же? Почтовая карета из Парижа тоже прибудет завтра.

— Но кто доставит мне письмо, если оно придет, а я буду в суде?

— Ты думаешь, мой милый метр, что существует одна только голубиная почта, служившая нам? — не без лукавства спросила Луиза.

Пьер привлек ее к себе. Все казалось теперь не таким уж мрачным, как час назад, он обрел новые силы, уверенность, а главное — жажду счастья. И не только себе, но и молодому, и старому графу де Лейе, гневной вдове, всем людям!

#### Глава третья.

#### КАЗУС ИРРАДИЦИБУЛЮС[[21]](#footnote-21)

Можно сломать шпагу, но нельзя истребить идею.

В. Гюго

В зале суда в этот летний день было жарко, душно, но торжественно, хотя в отличие от помпезных процессов будущих столетий судейская процедура обходилась и без присяжных заседателей, и без зрителей, и даже без скамей для них.

Зато судьи в длинных черных мантиях и судейских шапочках, в седых завитых париках, с тяжелыми золотыми цепями на груди, восседая со строгими лицами в жестких креслах с высокими спинками, являли собой всю полноту королевской власти Людовика XIII, повелевающего именовать себя Справедливым.

Все это не могло не внушить обвиняемому молодому графу Раулю де Лейе трепетного чувства, которое еще более усиливалось видом свирепого прокурора Массандра, чья огромная туша, тоже облаченная в мрачную мантию, схожую с покрытием стога сена в дождливую пору на крестьянском дворе, угрожающе возвышалась над кафедрой, потрясая завитым париком, прикрывающим спутанные неистовые прокурорские волосы.

Советник парламента Пьер Ферма в новенькой, впервые надетой и стесняющей его движения мантии сидел не напротив (что впоследствии станет принятым), а рядом с прокурором, как недавно за трактирным столом во время игры в кости, когда Массандр оглашал заведение победным рычанием.

С подобным же ревом или рыком обрушился сейчас прокурор и на обвиняемого графа Рауля де Лейе, уличая его в том, что он принял вызов маркиза де Вуазье на запрещенный королевским указом поединок, что он неизвестно где провел ночь убийства отважного маркиза, преступно пронзенного шпагой, очевидно, во время состоявшейся между ним и графом Раулем де Лейе незаконной дуэли, и что смерть аристократа — гордости Тулузы — выгодна одному лишь графу Раулю де Лейе, добивающемуся, как и покойный маркиз, руки очаровательной и богатой невесты.

И поскольку преступление всем этим безусловно доказывается, дуэлянта, как злонамеренного убийцу, следует повесить.

Граф Рауль де Лейе бледный, как после опасной потери крови, выслушал прочтенное прокурором с яростными выкриками обвинительное заключение, стоя с поникшей головой. Его шелковистые длинные волосы ниспадали на точеное лицо с почти девичьими чертами, так высоко оцененными одной из местных знатных дам.

Судебная процедура тех времен не отличалась традициями правопорядка. Дискуссия между прокурором и советником парламента могла переходить в шумный спор на богословскую или иную тему, отличаясь не только различием мнений, но и резкостью выражений.

Спокойный голос нового советника парламента не обещал подобной ситуации, но заданный им метру Массандру вопрос озадачил и прокурора и судей. Но поскольку он касался интересных подробностей столь занимательного предмета, как азартная игра в кости, а также неясных слухов о невиданном проигрыше метра Массандра, судьи с любопытством отнеслись к вопросу Пьера Ферма:

— Не помнит ли почтенный метр Массандр, сколько очков выбросил капитан де Мельвиль, выступающий свидетелем обвинения по рассматриваемому делу, во время последней ставки, играя с вами в кости в трактире «Веселый висельник»?

Массандр возмущенно напыжился, ибо одного воспоминания о досадном проигрыше было достаточно, чтобы вызвать у него приступ печени, а тут еще этот начинающий судебный щенок пытается представить его, прокурора, в невыгодном свете перед досточтимыми судьями! Он пыхтел, надувался, как бычий пузырь, и молчал.

Между тем на неумолимо строгих лицах досточтимых судей проявился проблеск интереса, вызванного у всех троих разными причинами.

Дряхлый председатель суда (главный уголовный судья) в седом парике, скрывающем лысину, с птичьим носом, бесконечно усталый от судебных передряг и прожитых лет, оживился, приподнимая набухшие веки, что делал лишь при мысли о денежных кушах. Если он не принял крупного подарка старого графа де Лейе, то лишь из опасения, что оправдание молодого графа будет неугодно его высокопреосвященству господину кардиналу, но упоминание о неприятной потере, постигшей метра Массандра, доставило судье истинное удовольствие.

Второй судья, с костяным лицом, обтянутым кожей, и с впалыми щеками, был страстным любителем игры в кости, и от предвкушения увлекательных подробностей азартного сражения у него под клочками бровей загорелись маленькие глазки.

Третий же из досточтимых судей, розовощекий и упитанный, славился как большой охотник до всяческих слухов и сплетен, и возможность позлословить после суда об этом зазнавшемся толстяке, непочтительно шумном да еще и коротающем время в трактире «Веселый висельник», заставило розовощекого судью обрадованно насторожиться.

Словом, досточтимые судьи с немалым интересом готовы были выслушать подробности события, казалось бы, не имеющего отношения к скучному и предопределенному судебному разбирательству такой обычной истории, как запрещенная дуэль.

— Суд интересует подробность, связанная со свидетелем обвинения, — прошамкал нашедший благовидный повод председатель суда и клюнул носом.

Массандру пришлось отвечать:

— Капитан де Мельвиль, играя со мной в шесть костяшек, последним своим броском выбросил семь очков.

— И вы проиграли, метр? — ужаснулся судья — любитель игры в кости. — С семью очками у партнера? Этого не может быть!

— Проиграл, ваша честь, — мрачно признался Массандр. — Видно, недремлющий враг человеческий подтолкнул меня под локоть, когда я опрокидывал кубок с костями, выбросив шесть очков.

— Поистине не без того, — покачал головой азартный судья, облизывая пересохшие губы и представляя себя на месте играющих.

— Как вы полагаете, почтенный метр, через сколько времени мог бы повториться этот приключившийся с вами прискорбный случай? — невинно спросил Ферма.

— Это не товары и не выручку купцам считать, но представить себе такой счет можно: если играть без сна, обеда, завтрака и ужина и во всех городах Франции, во всех ее трактирах, то лет так через сто, а то и через двести, может быть, и повторился бы такой невероятный случай.

— Совершенно с вами согласен, уважаемый метр, готов распространить игру хоть на все страны мира и даже удвоить названный вами срок. Но не кажется ли почтенному метру, что его сиятельство граф Рауль де Лейе, плохо владеющий шпагой, ни разу не вызванный на дуэль, не мог убить в поединке опытного дуэлянта маркиза де Вуазье? — по-прежнему ровным голосом спросил Пьер Ферма и добавил: — И что подобный случай мог быть столь же редким, как и причинившее вам неприятность сочетание костяшек.

Массандр почувствовал подвох и повысил голос:

— Какие у вас к тому доказательства, сударь?

— Прежде всего ваши собственные математические выводы, в известной мере интуитивные, но верные, уважаемый метр! Вы с глубоким проникновением в суть вещей блистательно определили период возможного повторения необычайного сочетания выпадающих на костяшках очков.

Массандр побагровел и обратился к судьям:

— Тогда, досточтимые судьи, пусть советник парламента разъяснит суду, что общего между случайно удачным ударом шпаги и неудачным броском костяшек?

— Там и тут действует математическая вероятность, что, несомненно, поняли и без меня досточтимые судьи, — почтительно ответил Пьер Ферма.

— А почему бы вам не вспомнить, скажем, случайное падение с лошади с увечьем упавшего?

— Но за это не судят посторонних людей, не требуют им смертной казни, как делаете это вы, уважаемый метр, в рассматриваемом деле.

— Не хотите ли вы сказать, что ваша арифметика может опровергнуть юридические факты?

— Я лишь хочу сказать, что математика способна оказать следствию неоценимую услугу.

— Досточтимые судьи! — взмахивая мантией, как черным крылом, воскликнул Массандр. — Взываю к вашей мудрости и верноподданническим чувствам к королю и его высокопреосвященству господину кардиналу! Здесь, в этом священном зале Справедливости, нас хотят убедить в том, будто ловкость счета, полезная лишь в торговом деле, может рассматриваться как юридическое доказательство! Справедливость, которую воплощает собой король, а здесь его слуги, досточтимые судьи, — это высшее проявление разума человеческого, она подобна вере, истинной и нерушимой.

— Веровать можно в господа бога, а верить должно фактам и доказательствам, почтенный метр, — парировал ответ прокурора Пьер Ферма.

Поскольку спор перешел на теологическую тему, то по традиции судьи не решались его приостановить.

Массандр яростно ухватился за последние слова Пьера Ферма.

— Да позволено будет мне вспомнить в таком случае об утверждении некоего Картезиуса, который убеждал в своих сочинениях, будто все вокруг познается лишь опытом и исследованием, и, пренебрегая истинной слепой верой, то есть верованием в господа бога, пытался доказывать арифметически его существование. В тщетных попытках начинающего советника парламента я усматриваю такое же пренебрежение устоями святой церкви, как в учении Картезиуса, и призываю досточтимых судей напомнить советнику парламента, что в зале суда нет приверженцев равно отвергнутого и святой католической церковью, и даже заблудшими гугенотами нечестивого Картезиуса.

Пьер Ферма внутренне поежился. Картезиус, опять Рене Декарт! Как неожиданно появилась теперь его тень перед ним! Массандр использует все приемы красноречия, чтобы отвратить судей от аргументов в пользу обвиняемого.

Но Пьер Ферма недаром владел математикой и тем, что мы называем в наше время математической логикой, он предвидел такой возможный поворот в судебной дискуссии. Судьям трудно провести аналогию между случаем при игре в кости и происшествием на дуэли, хотя и одинаково невероятных, но возможных. И поэтому он заготовил неожиданный для прокурора и досточтимых судей удар:

— Я ценю завидную начитанность уважаемого метра Массандра в латинских сочинениях Картезиуса, мне знакомых...

— Которые запрещены специальной буллой святого папы римского как богопротивные, — прервал Пьера Ферма Массандр.

— Я отнюдь не склоняю досточтимых судей к заблуждениям Картезиуса, но я уверен, что они, истые ревнители святой католической веры, не уподобятся языческой богине правосудия с завязанными глазами, и, хотя почтенный метр Массандр готов уравнять слепую веру со слепым правосудием, я, католик и француз, истово верую в бога, но так же истово верю и в Справедливость как в категорию, опирающуюся на знание, на науку, которой может и должна служить математика. Из сообщения досточтимым судьям уважаемого метра Массандра следует, что прискорбный его проигрыш в трактире «Веселый висельник» — явление чрезвычайно редкое, в чем, как мне представляется, сходимся даже мы с почтенным метром. И я позволю задать господину прокурору очень важный вопрос.

Председатель суда кивнул головой, вернее, клюнул носом и приоткрыл глаза.

— Можете ли вы допустить, метр Массандр, что несчастный случай с костяшками во время вашей игры с капитаном Мельвилем произошел до этого всего за десять дней, а не за двести лет, как вы предположили, притом в том же городе Тулузе и даже в соседнем трактире, носящем название «Счастливый гуляка»?

— Нет! Решительно нет! Игра в кости такого не допускает, что касается чудес, то господь бог творит их вовсе не во время греховных игр.

— Значит, метр Массандр причисляет себя к грешникам?

— В этом я исповедуюсь настоятелю церкви святого Доминика, а не в зале суда, где произношу обвинительное заключение по бесспорному делу о преднамеренном убийстве, которое должно караться виселицей, — яростно зашипел метр Массандр.

— В таком случае я обращаюсь с просьбой к досточтимым судьям выслушать приглашенных мной свидетелей, ожидающих у дверей парламента.

— Каких еще свидетелей? Свидетелей убийства маркиза де Вуазье? — ощерился Массандр.

— Нет, почтенный метр, свидетелей игры маркиза де Вуазье в кости.

— Протестую, — зарычал Массандр. — Дело ясное и без азартных увлечений покойного маркиза.

Но поскольку опять всплыли кости и, видимо, еще один любопытный случай в этой игре переменного счастья, судьи снова насторожились и, уйдя тем самым от неясного им богословского спора о каком-то еретическом философе Картезиусе, чьи трактаты никто из них не читал (где еще и о папской булле!), не прочь были выслушать свидетелей, которые, очевидно, не будут затрагивать этих премудрых вопросов.

— Суд интересуют все обстоятельства, что предшествовали кончине покойного маркиза де Вуазье, — решил председатель суда.

И досточтимые судьи получили полную возможность смаковать подробности игры в шесть костей маркиза де Вуазье с проезжим мушкетером, о чем им под присягой поведали и облачившийся в чужую, готовую лопнуть на нем сутану, воздевающий к небу опухшие глаза грузный монах, и подобострастный трактирщик, и три его ничем не примечательных завсегдатая, горожане.

Точными вопросами к ним Пьер Ферма воссоздал картину необыкновенной ситуации, когда, пытаясь отыграться и поставив на свою шпагу, мушкетер выбросил, как и десять дней спустя прокурор Массандр, всего семь очков, после чего партнеры вышли вместе из трактира, а на рассвете мушкетер уехал на проигранной им до того лошади в возвращенном ему седле и в полном вернувшемся к нему мушкетерском обмундировании.

— Если уважаемый метр продолжает утверждать, что повторное сочетание семи очков с последующими шестью очками при игре в шесть костей не могло в столь короткий срок, как десять дней, повториться (а что оно недавно произошло, подтвердил здесь сам прокурор), то не допустит ли он, что для выигрыша мушкетеру не требовались кости?

— Это как же? Игра в кости без костей? — прервал Пьера Ферма сухощавый судья. — Монах целовал крест, что мушкетер прозакладывал свою шпагу и выбросил всего семь очков. Как же он выиграл?

— Вы совершенно правы, ваша честь. Никто не видел, сколько очков выбросил маркиз. Но, очевидно, не шесть, как справедливо считает почтенный метр прокурор, ибо не может повториться столь небывалое сочетание дважды подряд, чему свидетельством сама бесстрастная математика. Следовательно, азартная игра если продолжалась, то уже по-другому[[22]](#footnote-22). Проигравшийся мушкетер мог оскорбить высокородного маркиза, который при свойственном ему благородстве и готовности защитить свою честь принял вызов или вызвал на поединок мушкетера сам и погиб, пронзенный мушкетерской шпагой, после чего победитель счел себя законным наследником всего им перед тем проигранного и, как уже установлено, уехал восвояси.

— Это вольное допущение, господа досточтимые судьи! Его можно рассматривать лишь при возбуждении судебного преследования против неизвестного мушкетера, что возможно после установления его имени! — громогласно заявил прокурор и победно опустился на стул, взмахнув перед тем мантией, как черным крылом.

Вот этого поворота в судебном разбирательстве больше всего боялся Пьер Ферма. Он знал, что в парламенте не принято откладывать решение по начатому делу из-за невозможности возбудить другое дело, тем более что в данном случае его нельзя возбудить, так как долгожданное письмо от аббата Мерсенна все еще не пришло.

Холодок пробежал по спине Пьера Ферма. Он мысленно увидел, как ведут на эшафот молодого графа Рауля де Лейе, как надевают на тонкую его шею смазанную ворванью вонючую веревочную петлю, как палач в маске готов выбить из-под него скамью, а он, Пьер Ферма, безусловно уверенный в его невиновности и наверняка знающий, кто убил на поединке маркиза де Вуазье, бессилен предотвратить гибель молодого человека, будучи тем самым виновен в его неотвратимой смерти.

— Суд может прекратить дело против одного обвиняемого, если будет назван по имени другой, — произнес как приговор молодому графу председатель суда, который подумал о том, что предстоящим решением угодит его высокопреосвященству господину кардиналу.

А Пьер Ферма клял себя, виновника собственного провала и горькой участи графа Рауля де Лейе; ведь разработанные Пьером Ферма зачатки теории вероятностей, к которой обратился он ради спасения графа Рауля, из-за вызванного к этим находкам интереса ученых могли теперь оказаться причиной гибели молодого человека, если аббат Мерсенн, увлеченный математикой, промедлит и не найдет следов мушкетера!

Пьер Ферма понял, что проиграл, поднял глаза на обвиняемого и встретился с умоляющим взглядом графа Рауля.

Снаружи от дверей парламента донесся шум.

Председатель суда недовольно приоткрыл веки и увидел вошедшего стражника.

— Ваша честь, — начал тот. — Девица де Лонг настоятельно требует, чтобы ее допустили предстать перед вами.

Граф Рауль вздрогнул. Пьер Ферма одобрительно кивнул ему.

— Протестую! — воскликнул прокурор, размахивая полами мантии. — Женщинам не место в зале Справедливости. Сам господь бог лишил их этого чувства.

— Ограничимся обвинением обвиняемого, а не всего прекрасного пола, метр, — внушительно заметил председатель. — Девица де Лонг настаивает на своем показании? Не дочь ли это нашего Франсуа де Лонга? Может быть, ее почтенный отец хочет внести через нее ясность в рассматриваемое нами дело? Лишь ради него, не раз служившего Правосудию, разрешаю допустить девицу де Лонг в зал парламента.

Пьер Ферма весь напрягся, чтобы ничего не выразить на лице.

Вошла Луиза, и ему показалось, будто открылись сразу все окна, солнечный свет хлынул через них вместе с запахом цветущих деревьев. Трудно было сохранить каменное лицо.

Луиза присела в глубоком реверансе и, потупив глаза, сделала несколько шагов по направлению к досточтимым судьям.

— Подойдите, дитя мое. — Председатель перестал шамкать. — Вы явились сюда по поручению вашего почтенного отца, чтобы сделать какое-то сообщение по рассматриваемому делу?

— Нет, ваша честь, мой отец не знает, что я пошла сюда с письмом, которое может иметь важное значение для суда.

— Без разрешения отца? — воскликнул розовощекий судья. — Тогда по чьему же разрешению, дозвольте узнать, так поступает мадемуазель? Не связана ли она чем-нибудь с графом Раулем де Лейе? Не обманута ли она им?

— Я не имею чести знать его, ваша честь.

— Сомнительно, — покачал головой розовощекий судья.

— Если вы не можете назвать, чье поручение выполняете, то мне придется удалить вас из парламента, дитя мое, — заявил сразу охладевшим голосом председатель.

— Ваша честь, — обратился к нему сухощавый судья, — может быть, мадемуазель объяснит цель своего прихода? — Он ждал осложнений, которые обожал.

— Я принесла вам письмо, ваша честь.

— Письмо? Откуда? — допрашивал председатель.

— Из Парижа, ваша честь.

— Оно адресовано нам, членам парламента?

— Нет, ваша честь.

— Кому же?

— Советнику парламента господину Пьеру Ферма.

— Ах Пьеру Ферма! Я так и думал! — воскликнул розовощекий судья, с хитрецой посматривая на молодого советника, который сидел, опустив глаза.

— И вы не могли, дитя мое, подождать, пока советник парламента метр Ферма вернется домой, чтобы с глазу на глаз передать ему «секретное» письмо? — ворчливо произнес председатель.

— Я никогда не бывала у него дома, ваша честь. А письмо совсем не секретное, и я ждала его на почтовой станции, пока не прибыла карета из Парижа. И поспешила доставить письмо сюда.

— Для чего? — спросили разом все трое судей.

— Чтобы вы прочли его, ваша честь, и вы, и вы, ваша честь.

— Но ведь оно адресовано не нам, пусть советник и читает его, — начал сердиться председатель суда.

— Ваша честь, — поднялся со своего места Пьер Ферма, — если мне дозволено будет выразить свою просьбу, то в интересах рассматриваемого дела и Правосудия я прошу вас предложить уважаемому господину прокурору вслух прочитать адресованное мне письмо.

Досточтимые судьи были слишком заинтригованы, чтобы отказать советнику парламента.

#### Глава четвертая.

#### СЛЕДЫ

Никогда не знает меры счастье!

Сенека

Прокурор Массандр гневно откашлялся, взломал печать, с хрустом вскрыл письмо и стал читать низким недовольным голосом, часто запинаясь, создавая впечатление, что он или плохо разбирает почерк, хотя каллиграфическим строчкам могли бы позавидовать судейские писцы, или вообще с трудом читает по писаному.

— «Многочтимый и дорогой друг! Ваше последнее письмо доставило мне огромное удовольствие, более того, наслаждение от сознания вашей плодотворной деятельности в различных областях математики, где вы продолжаете неустанно делать все новые открытия». Какое это имеет отношение к парламенту? — проворчал Массандр.

— Прошу вас, метр, — клюнул носом председатель.

— «Вероятность события, которая до сих пор считалась неисповедимым деянием господним, определяемая вами математическим путем, отвергает отныне суеверия, связанные с гаданием и прочими проявлениями невежества». — Массандр оборвал себя и зарычал: — Не я ли говорил, досточтимые судьи, что метр Ферма покушается на основы веры, пытаясь арифметикой измерять веления всемогущего господа нашего.

— Аминь, — сказал председатель, — продолжайте, метр.

— Подчиняюсь, ваша честь, но кровь католика клокочет во мне. «Я усердно переписал ваше письмо, как и прежде, сожалея, что вы ограничились выводами из своих наблюдений, не приводя столь любопытных доказательств, предлагая найти их самостоятельно вашим читателям, кои интересуются математикой. Не отрицая заманчивости такого предложения, я все же осмеливаюсь еще раз посоветовать не затаивать вами найденного, а по-братски делиться со всеми, кто, как и вы, любит науку и служит ей. И еще прошу вас, друг мой, найти время, чтобы собрать все уже вами написанное в письмах и представить в виде рукописи, включающей доказательства, могущей стать первой книгой вашего собрания сочинений, изданию которой я мог бы содействовать, считая вас продолжателем дела таких великих умов, как Диофант».

Пьер слушал, не поднимая глаз. Когда же почтенный аббат дойдет до выполнения его просьбы, или он вообще игнорировал (или не заметил) ее?

— «Что же касается вашего постскриптума, дорогой друг, то я должен извиниться перед вами...»

«Ну вот! Все кончено! Аббат Мерсенн не побывал у де Тревиля, сочтя неудобным такое посещение для духовного лица!»

— «...извиниться за то, что, увлеченный вашей математической находкой, я попросту не сразу заметил приписку».

«Так и есть! Этот Мерсенн, говорят, еще в коллеже отличался тем, что читал в книге только начало страниц!»

— «И лишь при снятии пятой копии с вашего письма я понял, что оно содержит не только математические мысли. Я думаю, большой беды не произойдет от того, что я отложил посещение Лувра до отправки всех копий вашего письма моим научным корреспондентам, которые, не сомневаюсь, отнесутся к вашим мыслям с заинтересованным вниманием».

«Ну же, ну! — мысленно торопил Ферма почтенного ученого посредника в переписке собратьев. — Что ты еще медлишь, монах?!»

— «Господин де Тревиль не сразу принял меня, занятый военными и мирскими делами своих головорезов, во что мне, скромному монаху, не надлежит вникать. Приняв же меня в промежутке между разносом провинившегося в чем-то воина и возлиянием вина, он очень удивился моей странной просьбе, лишь повторяющей вашу, изложенную в постскриптуме письма. Сам он, как известно, гасконец и состоял еще при прежнем короле, тоже гасконце, поэтому мое упоминание о вызывающем интерес путешествии гасконского дворянина, его мушкетера, не пробудило в нем готовности тотчас удовлетворить мое праздное, как ему казалось, любопытство, и только мой духовный сан смягчил разгоревшийся было в нем воинский гнев, ибо господин де Тревиль славится тем, что горой стоит за своих мушкетеров, что бы те ни натворили. Я ничего не мог сказать о проступке путешествующего гасконца и не солгал перед господом богом, заверив капитана, что не ведаю ни о каких проступках его подчиненного. Только после этого он вызвал к себе одного из своих лейтенантов и поручил ему узнать о гасконце, побывавшем в Тулузе, а через некоторое время, пригласив меня из соседней комнаты, где состязались в шумных криках необузданные и грубые мушкетеры, сообщил мне, что в указанное в вашем постскриптуме время, дорогой мой Пьер, через Тулузу, очевидно, проезжал господин...»

Массандр запнулся и закашлялся. Отложив в сторону письмо, он обратился к судьям:

— Приступ горловой болезни, досточтимые судьи, мешает мне дочитать этот странный документ, имеющий отношение более к знатокам арифметики, чем права. Я прошу о снисхождении и ознакомиться с заключительной частью письма самолично, без моего чтения вслух.

И с этими словами, отнюдь не свидетельствующими о некой горловой болезни, прокурор передал письмо председателю суда. Тот, напялив на свой птичий нос очки, посмотрел на развернутый лист, клюнул носом, отчего очки слетели, поймал их с неожиданной сноровкой и передал письмо по очереди сначала розовощекому, потом азартному судье.

Выражение лиц у прокурора и досточтимых судей было таким, словно прямо перед ними в зале суда дали залп из всех крепостных пушек Ла-Рошели.

Пьер восторженно смотрел на смущенную, не знающую, что ей делать, Луизу, потом подбадривающе кивнул графу Раулю, сидящему, опустив руки, между двумя стражниками и вопрошающе смотрящему на Пьера Ферма.

Писцы усердно скрипели гусиными перьями.

Наконец председатель суда пришел в себя и прошамкал:

— Суд удаляется для размышлений. А вы свободны, дитя мое. — Последнее относилось к Луизе, но граф Рауль непроизвольно вздрогнул.

Прокурор Массандр не смотрел на сидящего с ним рядом Пьера, был раздражен и растерян. Пьер провожал глазами уходящую Луизу, дав ей тайный знак о том, что придет сегодня к заветной калитке. Этим знаком они обменивались при расставании, когда он уходил, а она смотрела ему вслед. Он складывал указательные пальцы крестом на уровне рта. Луиза понимала, что это означает. Поняла Пьера она и сейчас, хотя никто в зале не мог бы этого уловить, ибо уходила кроткая девушка, низко опустив глаза и прижимая к лицу кружевной платок.

Тучный пристав суда подошел к Пьеру Ферма.

— Досточтимые судьи приглашают советника парламента в камеру размышлений, — сиплым голосом проговорил он.

Пьер знал, что такое приглашение бывает лишь в исключительных случаях, и хотя ожидал его, но с трудом справился с волнением.

Камера раздумий с решетками на узких и высоких окнах могла бы служить камерой одиночного заключения, если бы в ней не было стола с почему-то зажженной днем свечой и трех занятых судьями стульев. Пьеру пришлось стоять.

— Почтенный метр, нам кажется, что вы не читали письма? — начал председатель.

— Ваша честь, я не мог этого сделать, господин прокурор вскрыл его, а потом передал вам.

— Конечно, конечно, — клюнул носом председатель. — Так вы не знаете его содержания?

— Могу только догадываться, ваша честь.

— По некоторым причинам нам не хотелось бы вручать вам его, уважаемый метр, поскольку вы сами передали его судьям.

— Конечно, ваша честь.

— Ваша арифметика с игрой в кости и маловероятной удачей неопытного новичка против искусного дуэлянта убедила нас.

— Я рад слышать это еще здесь до вынесения вашего справедливого приговора, ваша честь.

— Приговора не будет, — отрезал председатель. — Графа де Лейе немедля освободят, и судебное разбирательство прекратится без продолжения, если...

— Если, ваша честь?

— Если выводы о невозможности проезжему мушкетеру отыграться в кости не подтолкнут вас к возбуждению судебного преследования против неизвестного лица.

Пьер понял все! Слишком прославлено было, видимо, названное в письме Мерсенна имя мушкетера, скорее всего любимца короля и даже его высокопреосвященства господина кардинала, стремящегося переманить его в гвардейцы, ценя его заслуги (и услуги!), которых было не меньше, чем прощенных ему дуэлей.

Казалось бы, все складывалось так, как того добивался Пьер Ферма. Мушкетер оказался именно тем, кого он подозревал, отводя всякие подозрения от графа Рауля де Лейе, но... и Пьер Ферма невольно зажмурился. Перед его мысленным взором встала напряженная черная фигура гневной вдовы на фоне алеющего неба. Месть! Надежда на закон и справедливость! Что должен он ответить судьям?

Никогда в жизни не привелось Пьеру Ферма пережить подобную минуту, словно растянутую на часы терзаний! Сообщить суду о раскрытых им преступлениях, «доблестно» совершенных неуемным забиякой-гасконцем? Поставить перед судьями выбор: навлечь им на себя недовольство короля и кардинала преследованием их фаворита или не обратить внимания на слова молодого советника парламента, действующего без всякого ему поручения, и завершить дело с убийством маркиза де Вуазье так, как это уже намечалось до начала судебного заседания и как требовал прокурор? Недаром ни Массандр, ни судьи не назвали вслух, в присутствии все записывающих писцов имени мушкетера, а потом вызвали молодого советника парламента в камеру раздумий. Пьеру нужно было решать, что важнее: жизнь невиновного или месть виновному, осуществление которой по меньшей мере сомнительно при царствовании короля, повелевающего именовать себя Справедливым и передавшего всю власть кардиналу Ришелье?

И Пьер Ферма, внутренне кляня себя, решился. В собственных глазах он как бы предал пылающую гневом в ненавистью безутешную вдову, предал ради счастья кроткой и настойчивой Луизы, жизни графа Рауля де Лейе и собственной победы.

И Пьер Ферма почтительно произнес:

— Возбуждение судебного преследования прерогатива прокурора, ваша честь, а не советника парламента.

— Ну вот и хорошо, — прошамкал председатель, поднося письмо аббата Мерсенна к пламени свечи. — А теперь пора обедать. Мы советовали бы вам, молодой метр, отобедать вместе с метром Массандром. А за сыном старый граф уже прислал карету. Надеюсь, он достаточно вознаградит вас за старания и поможет вам расплатиться с долгами?

Очевидно, старый судья прекрасно знал о долгах Пьера, а может быть, и ждал их уплаты.

Когда Пьер Ферма вышел из парламента, то покрытая лаком карета с графским гербом на дверцах продолжала стоять у подъезда. Из окна ее выглядывал счастливый Рауль, а открыв дверцу и тяжело опустившись на откинутую ступеньку, на землю сошел старый вельможа, издали делая знаки Пьеру.

Тот направился навстречу старому графу.

— Не откажите в милости, дорогой метр, осмотреть отныне принадлежащий вам дом. Там, в сундуке, ключи от которого я вам вручаю, вы найдете достаточно средств, чтобы начать достойную вашим способностям жизнь видного метра Тулузы.

Пьер должен был уступить старому графу.

Вслед уезжающим в карете счастливым людям смотрели судейские, в числе которых был розовощекий судья. Поскольку он слышал, выйдя вместе с Ферма из парламента, обращение к нему старого графа, слух о баснословной награде молодому советнику, применившему так удачно математику в судебном деле, мгновенно разнесся по городу.

Во всяком случае, Луизу дома ждал уже все знающий отец.

В страхе стояла она перед ним, когда он потребовал, чтобы дочь спустилась к нему.

Расхаживая по веранде от колонны к колонне, как и в памятный день «первого сонета», он говорил:

— Я не знаю, осудила бы покойная мать твое дерзкое появление в зале парламента, но я, отец твой, служащий Справедливости, признаю твой поступок достойным, поскольку он содействовал спасению невиновного человека. Я не знаю, что заключалось в письме, но поведение молодого метра Пьера Ферма, нашего родственника по женской линии, показало, что мы имеем дело с человеком удачливым, может быть, имеющим где-то вверху солидную поддержку. Однако не следует из этого делать вывод, что он на правах родственника может снова появиться на пороге моего дома.

— Что вы, папа! — опустив глаза, сказала Луиза. — Разве, так разбогатев, став сразу завидной фигурой, он посмотрит в нашу сторону?

Господин Франсуа де Лонг засопел и согнулся еще больше:

— Вот видишь, как я был прав, отстранив такого человека от твоей чистоты. Да ты сама не захочешь на него взглянуть, несмотря на свалившееся ему богатство.

— Почему же? — робко спросила Луиза. — Ведь вы учили меня, что всегда надо взвешивать, что выгодно, а что нет.

— Какую же ты выгоду видишь?

— Говорят, старый граф предложил Пьеру Ферма стать его наследником, усыновить его.

— Откуда ты это знаешь? Об этом не болтают.

— Вы учили меня, папа, узнавать то, что надобно.

— Это как же понимать? Не метишь ли ты в графини?

— А почему бы и нет? — подняла Луиза невинные глаза на отца. — Разве вы были бы против?

— Я? Против такого дела? Конечно, нет! И если он на правах нашего родственника по женской линии появится у нас, я встречу его даже лучше, чем когда он приезжал сюда со своим толстобрюхим отцом.

— Ах, папа! Так не говорят об усопших!

— Не знаю, найдется ли ему место в раю, но из вежливости и из родственных чувств я готов пожелать ему этого.

— Значит, Пьер мог бы прийти к нам?

— Ах, лукавая! Неужели ты все рассчитала верно еще прежде меня?

— Вы меня учили этому.

Пьер Ферма был ослеплен осмотром отныне его собственного дома, который был обставлен дорогой мебелью с редким вкусом. Он переходил, сопровождаемый отцом и сыном де Лейе, из комнаты в комнату, из розовой спальни в голубую гостиную, в отделанный ливанским кедром кабинет, наполненный бодрящим смолистым запахом ценной древесины, в украшенную охотничьими трофеями столовую и даже в детскую с несколькими кроватками, ждущими своих новых обитателей.

Пьер Ферма не мог удержаться от счастливого смеха.

Старый граф сам открыл ему отделанный медью и привинченный к полу кабинета сундук с аккуратными Столбиками золотых монет.

— Я не могу принять всего этого, ваше сиятельство, — вдруг заявил Пьер Ферма.

— Дорогой метр! — положил ему на плечо руку старый граф. — У вас впереди долгая жизнь. Не всякий раз вам удастся так удачно завершить дело. Вы не выиграли в кости все это, а честно заработали, отстояв жизнь человека, которая мне дороже всего, что я имею. Вы отказались быть моим наследником. Допускаю, что вам не нужны графские титулы, но у вас нет оснований нанести тяжкую рану сердцу, куда вы вошли как самый дорогой для меня человек.

Слова эти растрогали поэтическую натуру Пьера. Он не смог оказать стойкого сопротивления. К тому же и молодой Рауль присоединился к просьбам отца, напомнив о предложенной ему в тюрьме дружбе.

— Я найду вам, Пьер, такую невесту, такую невесту, что все, что вы видите, померкнет перед нею. Я имею в виду Генриэтту, дочь герцога Анжуйского!

— Позвольте, Рауль, но ведь вы сами добивались ее руки!

— Я уступлю ее вам в благодарность за спасение.

Но этого дара Пьеру уже было не нужно.

С трудом дождались наступления ночи и Пьер и Луиза, каждый сгорая от нетерпения сообщить свою собственную радостную весть — Пьер о свалившемся на него если не богатстве, то обеспеченности на первое время и о прекрасном доме, Луиза о готовности отца возобновить отношения с Пьером с довольно явными намерениями, которые Луиза сумеет ему подсказать.

Пьеру пришлось задержаться в замке старого графа, где друзья отца и сына де Лейе праздновали возвращение Рауля. Поднимали бокалы и за Пьера, которого все охотно принимали в свой круг.

Рауль никак не хотел отпускать Пьера, но с наступлением темноты сам отправился вместе с ним. Пьер уже готов был признаться ему, куда он спешит, но Рауль сам вдруг попрощался с новым другом, уверяя, что вспомнил о своем верховом коне, которого забыл посетить сегодня, и должен тотчас вернуться.

Пьер внутренне улыбнулся. Ему-то было ясно, куда спешит «воскресший» для жизни Рауль, так охотно уступая своему спасителю завидную невесту, замеченную самим его высокопреосвященством господином кардиналом.

Дороги молодых людей разошлись, но стремления у них были одни и те же.

Пьер вышел к знакомому густолистому дубу, когда уже настолько стемнело, что луга перед калиткой сада де Лонгов нельзя было различить. Но Пьер Ферма не раз ходил здесь в полной темноте. Природная способность держать выбранное направление, усиленная частыми упражнениями, несла Пьера в полной темноте как на крыльях. Снизу почему-то стал подниматься туман, так что и собственных ног не различить. Но в безошибочности выбранного направления Пьер не сомневался. Ведь он проходил здесь в сходных условиях много раз. Скоро он услышит волнующий шорох платья, потом любимый голос.

Эти мысли делали шаг Пьера более упругим, размашистым. Он не шел как слепой, осторожно передвигая ноги, он двигался уверенно, печатая шаг. Но через какое-то время почувствовал, что движение его замедлилось, а привычная трава луга стала не просто мягкой, а податливой, однако разглядеть ее он не мог. Он продолжал идти, сделав уже положенные полторы тысячи шагов. А сада и калитки все не было.

Что такое? Почему и куда его занесло? Руками он ощутил впереди кустарник, который уж никак не мог попасться ему на пути.

Он представил себе Луизу, тщетно ждущую его, не зная, что он задержался в замке у старого графа.

В какую сторону он отклонился? И почему? Ведь в графском застолье он не выпил и кубка вина! У него абсолютно ясная голова. Сейчас ему казалось самым важным выяснить причину потери им направления. Всякий другой человек на его месте, да еще и влюбленный, несущий любимой такую светлую весть, отправился бы искать калитку в стороне, но Пьер Ферма был, если хотите, человеком особенным. Он боялся сойти с места. Опустившись на колени и пощупав рукой, он убедился, что только что сошел с полосы вспаханной земли. Значит, ее перепахали, пока он тут не был со времени последнего свидания с Луизой. Следовательно, причина преломления (да, да, преломления!) его пути связана с переходом его в темноте с луга на пашню, а чтобы выяснить характер этого явления, он должен остаться на месте, хотя Луиза и ждет его. Нужно проследить свой собственный след на пашне! Если он двинется с места в поисках калитки, он потеряет этот след!

Так и стоял он на краю пашни, с которой поднимался туман (дышала земля!), до самого рассвета, болезненно представляя себе, как Луиза, заливаясь слезами, уходит домой, напрасно оборачиваясь к закрытой калитке.

Когда рассвело, Пьер прошел по собственному следу, оставленному на свежевспаханной земле, до противоположного края, где начинался луг. Теперь он мог установить, что по лугу он шел правильно, четко держа направление на калитку, а перейдя на пашню, встретив более сильное сопротивление почвы ходьбе, непроизвольно изменил направление, которое как бы переломилось. И тут его осенило, что всякое тело, движущееся по прямой (каким этой ночью был он сам!), при переходе из среды с одним сопротивлением в другую с иным сопротивлением под углом к ее границе, меняет свое направление, линия движения переламывается. И это действительно для всех видов движения, вплоть до луча света, который тоже должен «преломиться» при переходе под углом из одной среды в другую, скажем, из воздуха в жидкость или стекло.

Эксперимент блестяще подтвердил догадку Ферма, а его письма с утверждением, что свет преломляется при переходе из одной среды в другую, с обычным для него предложением собратьям-ученым найти тому доказательство, послужили самому великому Гюйгенсу толчком для создания волновой теории света. Ферма же сформулировал общий закон: «Природа всегда действует наиболее короткими путями», объясняя прямолинейность всех природных сил.

У Пьера остался еще один почтовый голубь Луизы, и он отправил ей записку, в которой признался в своей оплошности, приведшей к открытию важнейшего закона Природы.

Луиза де Лонг была внешне кротка, внутренне вспыльчива, но умна. Она не обрушила на возлюбленного упрека, как сделала бы другая женщина. В назначенный час она снова была у калитки и, когда Пьер появился, взяла его за руку и провела на веранду к ожидающему их отцу.

Конечно, Пьер мог ждать чего угодно, но лишь не этого. Поистине не подозревал он, какое богатство обретает вместе с согласием господина Франсуа де Лонга на брак с его дочерью Луизой.

Свадьба состоялась в 1631 году, через два года с небольшим после сочинения первого посвященного будущей жене сонета.

Молодая чета Ферма переехала в заработанный спасением молодого графа де Лейе дом, и еще через год там родился их первенец Самуэль Ферма, будущий поэт и ученый, как и отец. Словом, как говорил Сенека: «Никогда не знает меры счастье!»

#### Глава пятая.

#### «ДУЭЛЬ»

Мудрость есть дочь разума.

Леонардо да Винчи

К стене одного из парижских монастырей, близ которой обычно происходили запрещенные поединки, в ранний, излюбленный дуэлянтами час в сопровождении вертлявого слуги на уставшем муле подъехал грузный всадник на боевом коне, в черном плаще и надвинутой на глаза шляпе.

Всадник завернул за угол, чтобы постучать в монастырские ворота, но внезапно трое пеших гвардейцев кардинала преградили ему путь. Всадник не внял грозному окрику и стал грудью доброго коня теснить гвардейца.

Тот обнажил шпагу:

— Не угодно ли спешиться, сударь?

— Зачем? — буркнул всадник, не осаживая коня.

— Чтобы следовать за нами, — ухватился за стремя гвардеец.

— По какому праву?

— Именем его высокопреосвященства господина кардинала.

— Кто это высоким именем останавливает проезжих путников, как разбойник на большой дороге?

Всадник увидел трех спешащих к нему мушкетеров.

— Что мы видим, господа гвардейцы? Трое против одного? Едва ли это можно счесть учтивым. Если вы немедленно не сочтете возможным принести извинения остановленному вами господину, мы предложим вам другое соотношение сил, трое против троих. Угодно будет вам?

— Вы опять затеваете запрещенные королем и его высокопреосвященством поединки! Мы находимся при исполнении служебных обязанностей, выполняя приказ, и вы не имеете права нам мешать.

— Полноте, господин гвардеец, — продолжал задиристый мушкетер с изящными манерами, завитыми усиками и пятном бородки, — разве можно помешать в чем-нибудь безнадежным бездельникам?

— Вы ответите за свои слова перед его высокопреосвященством!

— Простите, почтенный гвардеец, но не вижу здесь его высокопреосвященства, перед которым должен отвечать.

— Мы доставим вас к нему, не беспокойтесь.

— Очень интересно, какой способ вы выберете для этого?

— Если вам угодно, господин мушкетер, то носилки, на которых переносят раненых или убитых.

Всадник не стал ждать конца препирательствам и подъехал к воротам. Привратник, увидев его в щелеобразное окошко, потребовал назвать пароль. Доносились грубые ругательства и звон шпаг. Очевидно, гвардейцы продолжали, но уже менее изысканно, выяснять отношения с мушкетерами, которые помешали им задержать всадника, действуя, как всегда, против гвардейцев кардинала по принципу: «Что хорошо его высокопреосвященству, может не понравиться королю».

— Пароль! — потребовал еще раз привратник.

— «Мыслю — следовательно, существую», — произнес по-латыни всадник и исчез за монастырскими воротами, крикнув слуге: — Огюст, жди меня здесь ближе к вечеру.

Слуга повернул своего измученного мула и поехал искать трактир мимо дерущихся на шпагах солдат, с удовлетворением отмечая, что гвардейцы вынуждены отступить. Мушкетеры не стали их преследовать, и один из них, великан с лихо закрученными усами, подмигнул Огюсту.

— Откуда? — низким басом спросил он.

— Из Амстердама, сударь, — с подчеркнутой готовностью ответил слуга и подобострастно улыбнулся.

— А мы думали, из Бордо, — добродушно заметил мушкетер, вкладывая шпагу в ножны. — Там, говорят, вино отменное.

Всадник, отдав поводья выбежавшему послушнику, скинул черный плащ и оказался в офицерском мундире нидерландской армии. Он вошел в мрачное монастырское здание вслед за встречавшим его аббатом со строгим аскетическим лицом.

Толстые, как в крепости, стены, низкие арки, темные коридоры и благоговейная тишина, подчеркиваемая отзвуком шагов под сводчатыми потолками, заставляли говорить вполголоса.

— Его преподобие благочестивый отец-настоятель отвел для моих гостей монастырскую трапезную, дорогой Декарт, — обернулся к офицеру аббат. — В ожидании тебя они восхищаются твоей отвагой.

— Надеюсь, дорогой Мерсенн, эти толстые стены — надежная защита от преследований?

— Монастырь — крепость духа и веры, ни один воин его величества или его высокопреосвященства не осмелится войти сюда.

— Да благословит бог совместные усилия правителей Франции во всех государственных делах, — с иронией произнес Декарт и другим уже тоном добавил: — С кем же встречаемся мы, дорогой аббат?

— С моими корреспондентами, с которыми ты поддерживал через меня почтовую связь. Ты узнаешь и Омара Торричелли, вынужденного преодолеть еще более дальний путь, чем ты. И Пьера Ферма, с которым встречались в Египте. Интересен будет и юный Блез Паскаль, изобретатель и естествоиспытатель, а также его отец Этьен Паскаль — математик, де Бесси и другие, с кем увидишься.

— Пьер Ферма? — задумчиво повторил Декарт. — Еще бы не помнить! Могила Диофанта! Но по поводу его последнего, пересланного вами письма у меня серьезные возражения.

— Для того мы и собрались здесь, чтобы всех выслушать, — сказал аббат, распахивая двери трапезной.

В этот день по указанию отца-настоятеля все монахи вкушали пищу по своим кельям.

При виде Декарта и аббата Мерсенна его гости, приветствуя философа, встали с лавок у длинных столов.

— Рене! Мы не виделись пятнадцать лет! — идя навстречу Декарту, протянул руку Ферма.

— Вы немало преуспели, почтенный метр! Потолстели! Обзавелись семьей?

— Да, пока трое детей. Старшего, Самуэля, привез в Париж учиться.

— Пусть учится, становится ученым и не допускает ошибок, подобных отцовским.

— Что вы имеете в виду, Рене?

— Я сообщу свои соображения не только вам, но и всем присутствующим.

Немного озадаченный такой встречей, Ферма отошел, но ему пришлось сразу же вернуться, потому что аббат Мерсенн попросил его поделиться с гостями монастыря своими новыми открытиями в области математики.

Декарт устроился на краю скамьи, отставив в сторону огромную ногу в ботфорте, и презрительно фыркал, покручивая свой офицерский ус.

Рядом с ним сидел бледный юноша лет девятнадцати — Блез Паскаль, странно выглядевший среди почтенных собратьев по науке, каждый из которых занимал заметное место в обществе — кто юрист, как Ферма, кто офицер, как Декарт, или монах, подобно Мерсенну.

Пьер Ферма говорил по-латыни изысканно и почтительно, но, касаясь математики, с неуловимым чувством превосходства, чего сам не замечал, будучи человеком скромным и добродушным:

— Мне привелось вести в Тулонском парламенте дело крестьян против герцога Анжуйского. Спор касался денежной компенсации за перешедшие к герцогу земли после спрямления им извилистой линии границ земельных угодий. Подсчитать утраченные крестьянами площади, ограниченные прежде неправильными кривыми, никто не умел, приблизительные же подсчеты герцог отвергал как заведомо неверные, в результате крестьяне остались и без земли, и без денег за нее, а судейское дело зашло в тупик. Я предложил любую извилистую линию разбивать на отрезки, которые практически точно являются кривыми второго порядка: либо частями эллипса, либо параболы, либо гиперболы, то есть сечениями двух соприкасающихся вершинами конусов, с раструбами, уходящими в бесконечность.

— Бесконечность! — воскликнул юный Блез Паскаль, длинные светлые волосы которого обрамляли узкое бледное лицо с горящими глазами. — Как это страшно!

— Не более страшно, чем любая другая величина, выраженная числом, — с улыбкой сказал Ферма.

— Но ее нельзя представить! — возразил Блез Паскаль.

— Нет, почему же? Эта величина вполне реальна. Она бесконечна, но не беспредельна. Пересеките один из конусов, о которых я говорил, плоскостью, перпендикулярной их оси.

— Будет круг! — нашелся Блез Паскаль.

— Теперь, если начать поворачивать эту плоскость, мой друг, что вы получите в сечении?

— Разумеется, эллипс.

— А если повернуть плоскость еще больше, приближаясь к положению, параллельному образующей? Останется ли эллипс эллипсом?

— Конечно! — откликнулось сразу несколько голосов.

— Только большая ось эллипса так удлинится, что ее конца и видно не будет, — заметил старший из Паскалей — Этьен.

— Она может стать сколь угодно длинной, не правда ли? А если плоскость станет параллельной образующей конусов и уже нигде не пересечет конуса, куда денется конец нашего удлиненного эллипса? — с присущей ему манерой задавать загадки спросил Ферма.

— Он превратится в параболу! — обрадованно воскликнул Блез Паскаль.

— Браво, юноша! — восхитился Ферма. — Эрго — эллипс с бесконечно длинной большой осью не что иное, как парабола. Теперь продолжим дальше поворот нашей секущей плоскости, чтобы она уже не стала параллельной образующей и снова пересекла, но теперь уже не только верхний, но и нижний конус. Что произойдет на чертеже? Конец большой оси вместе с малым овалом эллипса вернется к нам, но уже с другой стороны, как бы обогнув немыслимо огромный шар вселенной, радиус которого равен бесконечности.

— Это же будет гипербола, сударь! — снова нашелся Блез Паскаль.

— Верно, юноша, гипербола, которая станет равнобокой, если секущая плоскость будет параллельна оси конусов.

— И вы считаете, метр, бесконечность реальной? — на великолепной латыни спросил Омар Торричелли.

— Безусловно, — не задумываясь, ответил Ферма.

— Вот вам еще одно доказательство существования господа бога! — вставил Декарт. — Не к этому ли я призывал и попов и ученых?

— Тссс! — замахал руками аббат Мерсенн. — Умоляю тебя, Рене Декарт, не ставить под сомнение слепую веру в господа бога, по крайней мере, в стенах монастыря, где она — основа нашего прибежища.

— Не буду, не буду! — буркнул Декарт. — Ведь не я доказываю реальность неисповедимой, как учит церковь, бесконечности, а Ферма!

— А во мне холодеет кровь при мысли о ней, — признался Блез Паскаль. — Как беспомощен человек, обретаясь между ничтожеством и бесконечностью!

— Полно, юный друг, — ласково обратился к нему Ферма. — Вам ли это говорить, который, несмотря на свою юность, подарил людям «суммирующую машину», способную выполнять некоторые обязанности нашего мозга. Предвижу, что когда-нибудь далекие потомки вашей машины станут состязаться с самим человеком в остроте мышления, не говоря уже о быстроте счета.

— Умоляю вас, почтенные искатели истин, — воздев руки к небу, прервал Ферма аббат Мерсенн, — не затрагивайте богословских тем, ибо приписывание мертвому механизму способностей человеческой души может быть превратно истолковано святыми отцами церкви.

— Мой учитель Галилео Галилей понял бы господина Ферма, но за тех, кто принудил Галилея отречься от своих верных мыслей, я не рискну поручиться, — заметил Торричелли.

— Во всяком случае, имея в виду, — вступил Декарт, — что человеческое тело подобно мертвому механизму и только душа делает его живым и способным к мышлению, надо сразу сказать, что и машина господина Блеза Паскаля, как бы ее ни усовершенствовали потомки, никогда не сможет мыслить самостоятельно, а будет лишь выполнять предписанное человеком, обладающим душой.

— Но у нашего юного Паскаля есть и еще изобретения, которые отнюдь не говорят о его прозябании между ничтожеством и бесконечностью, — продолжал Ферма. — Достаточно вспомнить тачку, совмещающую в себе архимедов рычаг с колесом. Трудно ошибиться, представив себе несметное число подобных приспособлений, облегчающих труд людей на строительстве домов и дорог, храмов и крепостей не только во Франции, но и во всем мире! А предложение того же Блеза Паскаля учредить многоместный экипаж, следующий всегда по определенному маршруту и останавливающийся в условленных местах для высадки и приема пассажиров, не имеющий ни лошадей, ни карет[[23]](#footnote-23)! Нет, дорогой Блез, даже в наш век «шпаги и знатности», как видим, есть умы, которые без бряцания оружием способствуют торжеству разума и благу людей.

— Такая оценка нашего молодого друга, — заметил Торричелли, — делает вам честь, господин Ферма, но ведь и вы, как начали нам рассказывать, хотели с помощью математики защитить интересы простых пейзан.

— Ах да! — подхватил Декарт. — Доскажите, что вы там намудрили, чтобы я мог вас опровергнуть.

Ферма вспыхнул:

— Я остановился на том, что разбил криволинейные участки на более мелкие, ограниченные кривыми второго порядка, а для них предложил метод отыскания точки их перегиба, то есть максимума и минимума. Определение же площади, ограниченной такой кривой, есть действие, обратное отысканию точки перегиба и проведению в ней касательной[[24]](#footnote-24).

Ферма написал на аспидной доске мелом несколько формул.

Поднялся Декарт во весь свой внушительный рост и взметнул гривой волос:

— Мысли метра Ферма совершенно непонятны. Мне ясно лишь то, что он натолкнулся на метод случайно, не зная его основания. В результате, как ни прискорбно мне это сказать, но метр Ферма приходит к паралогизму, то есть к противоречиво, полностью уничтожающему его метод как некорректный.

Как известно, Ферма обычно не приводил обоснования предлагаемых им формул и методов. Однако старания современников получить по его методам ошибочный результат были тщетными, как и попытки доказать эти методы. За Ферма установилась слава математического волшебника, который знает нечто, людям не доступное, делясь с ними только выводами.

Однако сейчас, после резкого выпада Декарта, Ферма изменил своему обыкновению и стал методично, спокойно и дружелюбно разъяснять Декарту, как любимому ученику, суть его непонимания. Он старался ничем не унизить его, добиваясь лишь, чтобы тот понял его.

А понять Ферма его современникам было нелегко, ибо он, по существу, предвосхитил работы Исаака Ньютона и Г. Лейбница, независимо друг от друга открывших дифференциальное и интегральное исчисление, резко споря между собой, кто сделал это первым, забыв о методе Ферма, высказанном еще до их рождения. Метод, который позволял поистине волшебным путем (алгебраическим!) получать первую производную! (Скажем, скорость движения, имея кривую пройденного в отмечаемое время пути, то есть давая результат современного дифференцирования, а получение им площадей, ограниченных кривыми, представляло собой современное интегрирование, то есть суммирование бесконечно малых величин!)

Декарт слушал объяснения Ферма и краснел. Вспомнилась история с уравнением, заключенным в надгробной надписи Диофанта, которое Ферма решил диковинным способом, не используя всех членов уравнения, искать который Декарт клятвенно отказался. Тогда Декарт нашел в себе силы побороть самого себя, но сейчас он возражал, опровергал, почти оскорблял Ферма, ведя с ним в присутствии многих «ученых секундантов» бескровную дуэль.

Но даже такой прямой и честной натуре, как философ Декарт, гонимый церковью, нужно было время, чтобы осознать свою неправоту и признать поражение в «дуэли».

Но поражение это было признано присутствующими учеными, принявшими сторону Ферма, что выразил от их имени Этьен Паскаль, математик, исследовавший интереснейшую фигуру «спираль Паскаля», витки которой, пересекаемые любым радиусом из ее центра, отстояли один от другого на равном расстоянии. Это исследование сделало его имя известным и спустя столетия. Именно он тогда в монастырской трапезной сказал:

— Ваше преподобие, господин аббат, дорогие ученые собратья! Мне кажется, что я выражу общее мнение, что тот метод верен, который дает верные результаты. Но именно этой особенностью и отличаются все методы метра Ферма, включая и не понятый уважаемым господином Декартом, критику которого все же надо рассматривать как побуждающую метра Ферма к обнародованию основания своего метода, за что нельзя не поблагодарить и метра Ферма, и господина Декарта. Как видим, истина, даже и математическая, рождается в споре.

Но Декарт, не желая признать себя побежденным, вскочил:

— Никогда, слышите ли, никогда научная истина не будет устанавливаться голосованием! Метр Ферма, оперируя здесь с кривыми, предложил расплывчатую систему координат с осями, расположенными под любым углом. Это непродуманно и неудобно. И я предлагаю свою «Универсальную математику», где использованы лишь прямоугольные координаты и общий алгебраический метод для решения любых задач.

— В предложенных мною координатах допускались и прямоугольные, — робко заметил Пьер Ферма. — Но господин Декарт, конечно, вправе воспользоваться ими, поскольку они принадлежат всем.

Справедливости ради надо заметить, что спустя века в современной математике, немыслимой без прямоугольных координат, имя их первооткрывателя Ферма предано забвению, они именуются лишь «кератовыми».

Меж тем научная дискуссия в монастыре продолжалась. Ученые сообщили о своих планах и исканиях; в частности, Торричелли рассказал о своем намерении доказать, что две пары самых сильных лошадей не разорвут два ничем не скрепленных полушария, если из них будет выкачан воздух. И он пригласил научных коллег посетить Италию, чтобы присутствовать при этом опыте[[25]](#footnote-25).

Юный Блез Паскаль признался в своем увлечении гидростатикой и мечте исследовать, как жидкость передает усилия. Спустя годы «закон Паскаля» станет общепринятым, ныне — основой многих гидравлических машин и аппаратов.

Рассказывали о своих исканиях и связанных с ними трудностях и другие ученые, сетуя на отсутствие научного журнала, который подменял пока неутомимый аббат Мерсенн, ведя научную переписку, которая стала для него смыслом жизни.

Незаметно день склонился к вечеру.

Заботами аббата Мерсенна и благодеяниями отца-настоятеля трапезная была использована учеными гостями по своему назначению. Послушники вносили блюда.

Рене Декарт ел с солдатским, как он признался, аппетитом, жалуясь на отсутствие у братьев-монахов хорошего вина.

С наступлением темноты гости решили расходиться. Первым привратник хотел выпустить Декарта в черном плаще и на коне, но, заглянув в щелевидное оконце, подозвал аббата Мерсенна.

Против монастырских ворот гвардейцы кардинала развели костер, не собираясь уходить отсюда без добычи.

Аббат Мерсенн предупредил Декарта. Тогда Ферма произнес:

— Рене, одолжите мне ваш плащ и шляпу, а также временно и коня. Вас там ждет Огюст? Я окликну его.

Декарт колебался:

— Они охотятся за мной, а схватят вас, Пьер. Хотите так?

— Конечно! — улыбнулся Ферма. — Когда выяснится, что они задержали советника Тулузского парламента, вы будете далеко, воспользовавшись мулом Огюста, за что он простит нас. Я шепну ему.

— Соглашайтесь, господин Декарт. Боюсь, у вас нет иного выхода, — убеждал аббат Мерсенн, потирая мокрую от волнения лысину.

— Но ведь я же, споря, дрался с вами как на дуэли, — протестовал Декарт. — Как же вы можете так поступать, Пьер?

— А разве вы не поступили бы так же, будь я на вашем месте?

Декарт помолчал и ответил:

— Благодарю, что вы так думаете обо мне. Но надеюсь, что нам не представится случая проверить меня.

И они обнялись — противники в недавнем споре.

Из монастырских ворот выехал всадник в черном плаще и в надвинутой на глаза шляпе.

— Эй, сударь! — грубо окликнул гвардеец, хватая под уздцы коня. — Мы не рассчитались еще с вами за утреннюю встречу. Проклятые, очевидно, нанятые вами мушкетеры ранили двух моих парней. Но теперь вам придется последовать за нами.

— Трое против одного? Я подчиняюсь, — ответил Пьер Ферма. — Но куда вы хотите отвести меня?

— К его высокопреосвященству господину кардиналу, а потом в Бастилию. Но до этого он примет вас с подобающей вежливостью.

— Огюст! — крикнул Ферма. — Дождешься хозяина здесь!

Окруженный гвардейцами всадник в черном плаще скрылся в темноте.

#### Глава шестая.

#### ГОСТЬ БАСТИЛИИ

Истинные политики лучше знают людей, чем присяжные философы.

Люк де Клапье Вовенарг

Пьер Ферма неважно знал Париж, лошадь его вел под уздцы старший из гвардейцев, предварительно взяв с Ферма честное слово, что тот не использует для бегства преимущество верхового, и, получив такое заверение, оставил задержанного на коне. Они долго двигались по темным незнакомым улицам.

— Ну вот, сударь, и улица Сен-Оноре, с облегчением заметил гвардеец. Здесь на площади и стоит кардинальский дворец.

Ферма не мог рассмотреть фасада огромного здания, но хорошо разглядел промчавшуюся мимо карету, запряженную шестеркой вороных коней.

— Кажется, вам не повезло, сударь, сказал гвардеец, должно быть, его высокопреосвященство господин кардинал проехал в Лувр к королю.

Перед широкой, ведшей во дворец лестницей гвардейцы остановились, коня под уздцы взял другой гвардеец, а старший стал подниматься по мраморным ступеням, громыхая длинной шпагой.

Ему навстречу появилась плохо освещенная серая фигура в сутане. Гвардеец, о чем-то переговорив с вышедшим, начал спускаться.

Он молча взял коня под уздцы и повел его назад по улице Сен-Оноре.

— Куда мы отправляемся? — поинтересовался Ферма.

— Его высокопреосвященство поехал на вечернюю шахматную партию с его величеством королем и почтительно просил подождать его возвращения в Бастилии.

Гвардеец простодушно передал сказанные ему слова серым в сутане, но Ферма передернуло. Как юрист он знал, что его не могут бросить в Бастилию без прямого указания кардинала, однако он не стал противиться и препираться со своим конвоем, заинтересованный в том, чтобы дать уйти Декарту возможно дальше, позволить ему беспрепятственно пересечь границу с Нидерландами, прежде чем обнаружится, что схвачен не он.

Площадь Бастилии была так же незнакома Ферма, как и улица Сен-Оноре. В прошлые приезды в Париж он проходил близ Лувра, но теперь ему не встречалось знакомых мест.

У ворот Бастилии, мрачного замка, окруженного высокими стенами посреди города, гвардейцы остановились и вступили в переговоры со стражей, вызывая коменданта крепости.

Наконец из ворот показался тучный человек с оплывшим лицом и маленькими хитрыми глазками, которые поблескивали в свете тусклого фонаря стражника.

— Я протестую, господин комендант! — заявил Ферма. — Я отлично знаю французские законы. Никто не может быть брошен в Бастилию без приказа его высокопреосвященства господина кардинала. Покажите его приказ!

— Не извольте беспокоиться, сударь, — елейно отозвался комендант, тяжело дыша после каждой фразы. — Вы проведете ночь как гость Бастилии, и я клянусь вам, что не переступите порога ни одной из камер, где содержатся важные государственные преступники, о вашем же коне позаботятся не в меньшей степени, чем о вас, сударь. — И он церемонно раскланялся.

Ферма спокойно вздохнул, подумав, что выиграет для Декарта целую ночь и ошибка выяснится лишь завтра. Он сошел с коня, которого принял один из стражников. Двое других повели Ферма в открытые ворота крепости.

Бастилия! Одно лишь это название вселяло ужас в людей, но Ферма, успокоенный учтивостью коменданта, не проявил никаких признаков волнения.

Стража предложила Ферма спуститься по стертым ступеням каменной лестницы. Пахнуло сыростью, они вошли в полутемный коридор с двумя рядами однообразных дверей в камеры.

— Куда вы ведете меня? Вы слышали слова коменданта? — обратился Ферма к стражникам.

Но те молчали, громыхая оружием по каменному полу.

Вдали открылась одна из дверей, и оттуда вышли двое тюремщиков, ведя под руки потерявшего силы заключенного.

С каждым шагом обе группы сближались. Они сошлись под светильником, и Ферма содрогнулся, встретясь взглядом со старым графом де Лейе, глаза которого сверкнули былой радостью при виде Ферма, но, заметив, что советник парламента идет не на свидание с заключенным, а сам находится под стражей, сразу потухли.

Старый граф Эдмон де Лейе, соратник и любимец короля Генриха IV, служил ему, еще когда тот, защищая права гугенотов, был всего лишь Генрихом Наваррским, который, чтобы утвердиться на троне, вынужден был принять католичество, оговорив привилегии бывших единоверцев, но погиб от руки фанатика. Кардинал же Ришелье всячески укреплял абсолютную власть его наследника и объявил поход против не в меру самостоятельных вассалов, продолжающих претендовать на старые привилегии.

Но как постарел бедный старый граф! Ферма давно не видел его и не знал о немилости к нему кардинала. Теперь ничто не могло спасти старого вельможу. Ферма слишком хорошо знал беспощадность кардинала Ришелье, который с равной жестокостью расправлялся и с неугодными вассалами, и с взбунтовавшимися крестьянами, и с непокорной чернью. В Бастилии, куда не попадали вожаки бушевавших во всей Франции восстаний, двери камер открывались для опальных вельмож, так же обреченных, как и безродные бунтовщики. Знатность рода не помогала.

Ферма подвели к оставшейся открытой двери, откуда выволокли графа де Лейе, этого несчастного старика.

Ферма запротестовал:

— Господин комендант дал слово, что я не переступлю порога ни одной камеры. Я не войду сюда и обжалую ваши действия!

Один из стражников усмехнулся:

— Господин комендант всегда знает, что говорит. — И с этими словами он прошел вперед, но тотчас вернулся, после чего Пьера грубо втолкнули в открытую тяжелую дверь, она тотчас захлопнулась за ним. Ферма остался в полной темноте, слыша, как щелкает позади него замок. Протянув вперед руки, он уперся ими еще в одну дверь, которая, очевидно, вела в камеру. Но она оказалась запертой, недаром тюремщик вошел сюда на мгновение раньше!

Ферма попробовал повернуться, но касался плечом преграды то с той, то с другой стороны и мог протиснуться только вбок, до притолоки и обратно. Он понял, что находится в тесном тамбуре, почему-то устроенном перед камерой. Ферма, как советник парламента, немало бывал в тюрьмах, но не встречал камер с таким входом.

Только сейчас понял Ферма зловещий смысл обещаний толстого коменданта — «гость Бастилии» не переступит порога камеры. Он и не переступил его, находясь между двух дверей в нее, с обеих сторон сжимавших так, что он не в силах был ни сесть, ни лечь, ни повернуться. И еще одну их особенность установил он, не обнаружив на ощупь обычного смотрового окошечка, через которое тюремщик наблюдает за узником. Что бы это могло быть? Что за странная камера?

От догадки у Ферма зашевелились волосы.

Очевидно, двойные двери тамбура нужны, чтоб ни один звук, ни один стон, ни один крик не донесся из камеры! Так вот откуда вынесли бедного старого графа де Лейе, соратника покойного короля. Недаром вспоминал старый граф о своем повелителе, который мог бы спасти его сына, а теперь и его самого от унижений и пыток! Да, пыток! Ибо не оставляло сомнений, что «гостя Бастилии» заперли на ночь в тамбуре камеры пыток. Так вот какой участи мог бы подвергнуться упрямый философ Декарт, восставший против папы, противопоставляя разум человеческий бездумности, активное познание — невежественной покорности.

Ферма понял, что бесполезно требовать к себе коменданта и объявлять, что он не Декарт. Скорее всего и гвардейцы не знали, кого должны схватить, руководствуясь лишь внешним описанием Рене.

Пришлось прождать всю ночь, упершись спиной в одну дверь и коленями в другую, полусидя в воздухе.

Когда заскрежетал замок, Ферма думал, что ему не разогнуться. Лишь усилием воли заставил он себя выпрямиться.

Сам комендант, страдая одышкой, изволил прийти за ним.

— Господин кардинал узнает о вашей любезности, — мрачно пообещал ему Ферма.

— Простите, сударь, но у меня было переданное мне указание Мазарини, первого помощника его высокопреосвященства. Поверьте мне, что я тут ни при чем! Кроме того, вам, право же, не стоило настаивать на открытии внутренней двери в камеру откровенности. Надеюсь, вы понимаете меня?

— Вполне, господин достойный комендант. Надеюсь, теперь вы препроводите меня к его высокопреосвященству господину кардиналу?

— Ваш конь оседлан, трое гвардейских всадников сопроводят вас в виде почетного эскорта.

И комендант Бастилии проводил своего «гостя» до тюремных ворот, обеспокоенный тем, что не получил письменного подтверждения переданных ему устно слов.

Трое гвардейцев на конях ждали Ферма, держа огромного оседланного коня Декарта.

Из-за затекших мышц Ферма с трудом влез на него, вызвав грубые насмешки гвардейцев, но не счел нужным отвечать.

На площади, куда выходила улица Сен-Оноре, при солнечном свете Ферма мог рассмотреть все великолепие кардинальского дворца.

Пьер спешился у знакомой мраморной лестницы с широкими ступенями и в сопровождении вооруженных гвардейцев поднялся по ней.

Гвардейцы провожали его, гвардейцы толпились в анфиладе комнат и в приемной, куда Ферма привели. Он проходил мимо них с независимым видом, стараясь усилием воли побороть усталость бессонной ночи.

Гвардейцы подвели доставленного к служителю в раззолоченном кафтане, который, пронзительно взглянув Пьеру в глаза, вышел в золоченую дверь.

Через минуту он вернулся, жестом пригласив Ферма идти за ним. Гвардейцы остались в приемной, шумно переговариваясь с однополчанами. Ферма следом за золоченым служителем миновал огромный зал официальных приемов и оказался в уютной библиотеке, где, кроме шкафов с книгами в роскошных переплетах, стояли рыцарские доспехи.

За столом, заваленным книгами и пергаментами, сидел в глубоком кресле тщедушный, очевидно, очень больной седоусый человек с белой остренькой бородкой, склонясь над какой-то рукописью. За спинкой кресла виднелась неприметная фигура в серой сутане.

— Господин Декарт? Философ, естествоиспытатель и математик? — не поднимая глаз, спросил человек за столом.

— Нет, ваше высокопреосвященство! Может быть, в какой-то мере я естествоиспытатель и математик, но я не философ Декарт. Очевидно, меня схватили по ошибке господа гвардейцы, ваша светлость.

— Как так? — только теперь поднял острые, ястребиные глаза, с которых как бы поднялась птичья пленка, кардинал де Ришелье, он же герцог Арман Жан дю Плесси. — Действительно, не господин Декарт, с которым мы когда-то беседовали и о его философских взглядах и рассчитывали теперь продолжить эту беседу, когда он, покинув Францию, вернулся в Париж без нашего разрешения. А кто вы, сударь?

— Я — советник парламента в Тулузе Пьер Ферма, ваше высокопреосвященство.

— Ах так! Знакомое имя. Пьер Ферма? Юрист и математик и, кажется, даже поэт? Который арифметически определял вероятность преступления, а потом способствовал разжиганию спора между грязными крестьянами и высокородным герцогом Анжуйским с помощью вычисления площадей спорных земельных участков, якобы отнятых у черни?

— Ваше высокопреосвященство проявляет восхищающую меня осведомленность о моих скромных попытках сделать юриспруденцию безукоризненной наукой.

— Безукоризненная наука, метр Ферма, это только политика! Знаете ли вы, какую рукопись я сейчас читал, ожидая господина Декарта, видимо уклонившегося от нашего свидания? Ваше письмо, метр, переписанное аббатом Мерсенном для рассылки другим ученым. Один обязательный экземпляр, к вашему сведению, всегда предназначается мне. А латынь кардиналу знакома, как понимаете.

— Я преклоняюсь перед широтой вашей образованности, ваше высокопреосвященство!

— Кстати, почему же господин Декарт уклонился от нашего свидания, несмотря на то, что я послал за ним своих гвардейцев? И отчего вы явились ко мне вместо него только сегодня утром?

— Ваши доблестные гвардейцы (трое против меня одного!) силой привезли меня ко дворцу, когда вы, ваша светлость, изволили уехать для шахматной игры с его величеством королем.

— Как так? — полуобернулся Ришелье к стоящему за его спиной человеку в сутане. — Где же господин Декарт, дорогой Мазарини?

— Если перед вами, ваше высокопреосвященство, советник парламента из Тулузы, то господин Декарт, очевидно, уже пересекает нидерландскую границу, уехав не позднее вчерашнего вечера от известного вам монастыря. Я надеюсь получить от отца-настоятеля подтверждение.

— Я сожалею, метр, что вам пришлось со вчерашнего вечера ожидать меня, пока я наслаждался шахматной игрой.

— Я разделяю ваше отношение к шахматам, ваша светлость.

— Что ж, это можно проверить, метр Ферма. Придется вам заменить господина Декарта в философской беседе, которая, если, вы того пожелаете, будет происходить за шахматной доской. Дело в том, что мне не все ясно в ваших письмах, содержащих, я бы сказал, математические загадки, кроме, разумеется, общей направленности вашей деятельности, метр, которую стоит обсудить.

— Буду счастлив, ваше высокопреосвященство, узнать ваше мнение о моих скромных работах и усердной службе и, разумеется, готов сыграть с вами в шахматы.

— Берегитесь, метр Ферма. После проверки вашего искусства игра пойдет на ставку, не исключено, что на крупную.

— Я готов, ваша светлость.

— Вы очень богаты, метр?

— Если богат, ваша светлость, то только надеждами, по словам моей супруги.

— Мудрость женщины подобна жалу змеи, жалящей нас.

По сделанному знаку кардинала Мазарини подкатил его кресло, оказавшееся на колесиках, к шахматному, богато инкрустированному столику и расставил на нем фигуры из слоновой кости.

— Попробуйте сразиться со мной, метр. Я не назначаю сразу ставки, ибо мое духовное звание обязывает к милосердию.

Первая, молниеносно проведенная партнерами партия закончилась в пользу Ферма прямой атакой на короля. Кардинал нахмурился, взгляд его стал злым и колючим.

Ферма наблюдал за этим больным и беспомощным человеком, ум которого цепко держал в повиновении и страну, и ее короля, хотя тело с трудом могло покинуть мягкое, передвигающееся на колесиках кресло.

Высохшая рука, когда-то ловко владевшая шпагой, дрожала, передвигая фигурки:

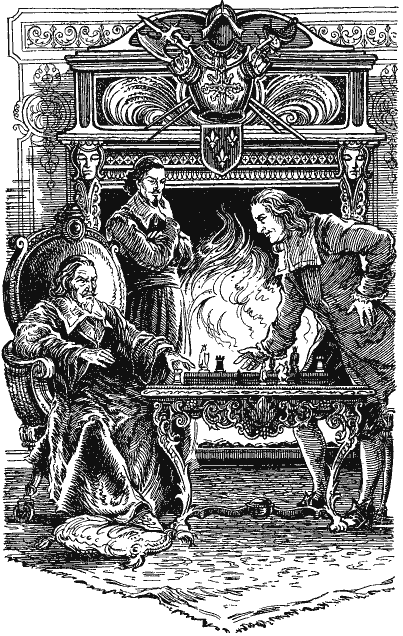
— Вы опаснее, чем я думал. Я просто играл с вами как с его величеством, которому всегда надо предоставлять возможность атаковать.

Во второй партии Ферма не удалось развить атаку, и, оставшись без двух пешек, он вынужден был признать свое поражение.

Кардинал Ришелье воодушевился:

— Прекрасно! Теперь — на ставку! Вы достаточно искушены в этой игре, но это лишь удваивает мой интерес. Мне всегда требуются побудительные причины, чтобы проявить себя в полной мере.

Ферма расставил фигуры и свои и кардинала, вспоминая, что герцог Арман Жан дю Плесси до принятия духовного сана славился своей азартностью и, видимо, не утратил этой страсти, став кардиналом.



Ришелье поднял с полу тершегося о его ноги кота.

— Итак, ставка, метр? Что у вас есть в Тулузе? Имение, рента, замок?

— Только дом и служба вашему высокопреосвященству.

— Прекрасно! Вы ставите свой дом, а я... Что бы вы хотели, сударь?

— Свободу узнику Бастилии, старому графу Эдмону де Лейе, давнему соратнику покойного короля.

— Откуда вы знаете об узнике Бастилии? — сердито спросил Ришелье, сбрасывая с колен кота.

— Я провел там ночь как «гость Бастилии», ваша светлость, зажатый между дверьми тамбура камеры пыток.

— Что такое? — обернулся Ришелье к Мазарини.

— Должно быть, господин комендант проявил свое обычное остроумие, ваше высокопреосвященство, не желая, чтобы гость переступил хотя бы порог любой камеры.

— Прекрасно! — воспрянул Ришелье. — Тогда распорядитесь, чтобы господин комендант провел в этом же месте предстоящую ночь. — И кардинал сделал свой ход на доске.

— Но это невозможно, ваша светлость, — запротестовал Ферма.

— Почему? — удивился кардинал. — Ведь я же сказал.

— Он слишком толст, ваша светлость, и двери просто не закроются, пока он не похудеет.

Кардинал Ришелье расхохотался:

— Я должен отдать вам должное, метр, и в легкой игре, и в легкой беседе. Но сейчас и игра и беседа примут серьезный характер.

— Я готов, ваша светлость.

— Готовы лишиться собственного дома?

— Если вы ставите против него свободу графу Эдмону де Лейе.

— Ставка сделана. Ваш ход, метр! Пеняйте на себя и не ждите от меня пощады, если ваша семья окажется без крыши над головой. Вы явно рискуете, предлагая в жертву легкую фигуру, я не вижу, как разовьется ваша атака.

— Шахматы, ваша светлость, единственное средство отгадывать мысли другого.

— Недурно сказано! Но я угадываю ваши мысли и без шахматной доски, хотя бы, например, в вашей судебной практике, что заставляет меня предостеречь вас от излишнего усердия в оказании помощи (даже математической!) простолюдинам в ущерб интересам высокородных господ. В вас не чувствуется, метр, дворянского подхода (впрочем, вы, кажется, ведь не дворянин!), и, может быть, потому не понимаете, что взятые вами под защиту люди слишком часто берутся за оружие против своих господ, причиняя нам с Мазарини немало хлопот.

— Я руководствуюсь в своей судебной практике только соображениями Справедливости, как учит наш король и вы, ваше высокопреосвященство.

— Гм! — задумался, глядя на доску, кардинал. — А не находите ли вы свою активность излишней и неоправданной? Хотя бы вот в этой партии?

— В ней очень высокие ставки. Кроме того, шахматы в известной степени отражают жизнь, ваше высокопреосвященство.

— Тогда стоит ли ваш офицер трех моих пехотинцев, засевших в крепости покрепче Ла-Рошели? Боюсь, что штурм ее будет вам стоить дома в Тулузе, который я подарю прокурору Массандру, готовящему обвинение против графа Эдмона де Лейе.

— Массандр? Вы удивляете меня, ваша светлость! Неужели вам не найти кого-нибудь более достойного, чтобы не причинять мне в случае моего проигрыша ненужных огорчений?

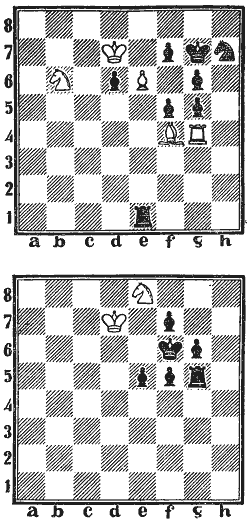
— Не взывайте к моему милосердию, не разжалобите. Я не только кардинал, но и воин.

Меж тем могло показаться, что опасности на шахматной доске для кардинала позади и атакующий не прорвется через пешечный заслон. Однако Ферма был спокоен и неожиданно пожертвовал одну за другой две фигуры: слона и ладью, притом не для того, чтобы разрушить крепость, а как бы для еще большего ее укрепления.

— Что это? — насмешливо спросил кардинал. — Вы перешли в мой лагерь? Или надеетесь одолеть своей вновь появившейся королевой бастионы, которые не могли взять всеми фигурами?

— А я не буду брать этих укреплений, ваша светлость, а воспользуюсь тем, что вашему королю в них тесно, и вместо королевы поставлю коня, объявляя вам мат!

— Что? Что? — опешил Ришелье и непроизвольно воскликнул: — Боже правый! Мат в середине доски одним-единственным, притом превращенным конем! Короля позабавит эта позиция, а также и то, что я не заметил этого коварного превращения пешки в слабую фигуру, иначе... Да! Вы расчетливо отвлекли меня своей беседой! — И Ришелье решительным взмахом руки смешал фигуры на доске. — Если бы не этот просмотр (не надо было брать предложенную вами туру), и Массандр жил бы в вашем доме.[[26]](#footnote-26)



— Но сейчас ему придется отказаться от обвинения графа Эдмона де Лейе.

— Разумеется. Я всегда плачу по своим обязательствам и всегда взыскиваю. Советую не допускать в жизни таких ошибок, как я в этой позиции.

— Вы не ошиблись, ваше высокопреосвященство, отказ от взятия вел к проигрышу.

— Вы умелый юрист и опасный человек, метр. Вот так. Мазарини, — властно обратился он к своему помощнику, — распорядитесь в Бастилии! Не забудьте проверить, уместится ли комендант в тамбуре камеры откровенности. Когда будете провожать метра Ферма, дайте ему отцовский совет. Учтите, метр Ферма, что мой Мазарини в ближайшее время станет кардиналом. Отнеситесь к нему по-сыновьи.

— Слова вашего высокопреосвященства звучат для меня как высшее отцовское наставление, — низко поклонился Ферма.

Мазарини услужливо откатил кресло Ришелье к столу, поймал кота и водрузил его на колени немощного повелителя Франции, затем сделал знак Ферма в направлении двери.

Выходя из библиотеки, Ферма бросил взгляд на кресло с тщедушным стариком и на военные доспехи, в которые тот облачался в дни осады Ла-Рошели.

Вместе с Мазарини он вышел в зал приемов, роскошный и холодный.

— Вы были очень неосторожны, метр, с его высокопреосвященством, — вкрадчиво начал Мазарини, — зачем вам возвращаться в Бастилию, проходить через известный вам тамбур? Не думайте, что вы выиграли в деревяшки свободу графу де Лейе, просто вы удачно напомнили справедливому кардиналу о заслугах графа перед покойным королем, память которого священна. У Франции слишком много врагов, — продолжал он доверительно, но с укором в голосе. — И нельзя, чтобы о них думали только мы с его высокопреосвященством, в то время как такие, как вы, светлые умы, будут упражняться в искусстве счета и способствовать брожению черни, переписываясь при этом с учеными враждебных нам стран вроде Англии!

— Готов принять совет ваш и его высокопреосвященства и найти способ проявить патриотизм и на научном поприще.

— Хотелось бы убедиться в этом, — смиренно сказал Мазарини и, на миг сверкнув глазами, добавил: — Пока не поздно.

Ферма вместе со спутником в серой сутане прошел через комнаты, наполненные гвардейцами, пораженными гордым видом и проводами только что доставленного сюда под конвоем человека.

Мазарини проводил Ферма до мраморной лестницы. Гвардеец услужливо подвел ему коня.

Ферма хотел расспросить дорогу к монастырю, отъехав подальше от дворца, но уже на улице Сен-Оноре наткнулся на вихляющего на муле Огюста.

Оказывается, к величайшему изумлению Пьера, отважный Декарт не пожелал бежать из Парижа, ожидая возвращения Ферма, а в случае его задержки собирался сам явиться к кардиналу, чтобы выручить друга.

Ферма не стал испытывать судьбу, отдал коня Огюсту и отправился пешком во Дворец Правосудия на острове Ситэ, где у него были дела от Тулузского парламента.

#### ПОСЛЕСЛОВИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

В каждом человеке природа всходит либо злаками, либо сорной травой...

Ф. Бэкон

В 1643 году, три года спустя после встречи Пьера Ферма с кардиналом Ришелье, герцог Арман Жан дю Плесси, кардинал де Ришелье, скончался. Через год умер и передавший ему всю власть в стране слабый король Людовик XIII, оставив трон пятилетнему Людовику XIV, который, возмужав, стал воплощением абсолютной, ничем не ограниченной королевской власти, живя по двум принципам: «После нас хоть потоп!» и «Государство — это я!». Но подлинную власть во Франции прибрал к рукам наследник Ришелье, которого тот успел сделать кардиналом, Мазарини, «серым (как он, подобно Жозефу дю Перамбле, духовнику Ришелье, вошел в историю) кардиналом» в отличие от «красного кардинала» Ришелье, властно подчеркивающего свое могущество, «серый же кардинал» всегда оставался в тени, сплетая хитроумные интриги, при осуществлении которых коварством и жестокостью отнюдь не уступая, а порой и превосходя своего предшественника.

Тогда же скончался в почетной старости граф Эдмон де Лейе, а его наследник граф Рауль де Лейе, женатый на удочеренной герцогом Анжуйским Генриэтте, стал одним из богатейших вельмож своего времени. Дружеские отношения его с Пьером Ферма не сложились. Согласитесь, не пристало же зятю самого герцога Анжуйского воздавать дворянской дружбой простому судейскому за оказанную им, но оплаченную услугу!

О том же, как граф Эдмон де Лейе был вызволен из Бастилии, знали только покойный Ришелье, кардинал Мазарини да молчавший об этом Пьер Ферма.

Он продолжал служить в Тулузском парламенте и делать открытия в математике, заложив основы таких ее областей, как аналитическая геометрия, теория алгебраических чисел и теория вероятностей.

У его жены Луизы, схоронившей одного за другим отца Франсуа де Лонга и добрейшего дядюшку Жоржа, на руках было уже пятеро детей. Поскольку у Пьера Ферма больше не встречалось таких ослепительных дел и вознаграждений, как дело Рауля де Лейе, и он добивался справедливости для небогатых людей, ей все труднее было сводить концы с концами, а Пьер, человек непрактичный, продолжал отдавать свое бесценное время таким неоплачиваемым занятиям, как математика или та же поэзия. Сонеты, которые когда-то восхищали мать пятерых детей, не могли бы их прокормить! Где-то в душе Луиза жалела, что из-за щепетильности мужа она так и не стала графиней де Лейе! Но что делать!

Декарт, выйдя в отставку с военной службы, продолжал жить в Нидерландах, но с каждым годом ощущал все больший гнет гонений всех ополчившихся на него церквей.

Тридцатилетняя война окончилась, но мира не было в Европе. Франция теснила границы Нидерландов, Испания угрожала Франции, не говоря уж о такой исконной, многовековой вражде, как англо-французская.

Не прекратилась борьба крестьян против владетельных господ. Начали поднимать голову буржуа, грозя властью денег. Но по-прежнему самым благородным (и прибыльным!) делом была война с ее высшей военной доблестью — родоначальником знатности и богатства.

И все-таки перо ученого уживалось рядом со шпагой. Наука развивалась!

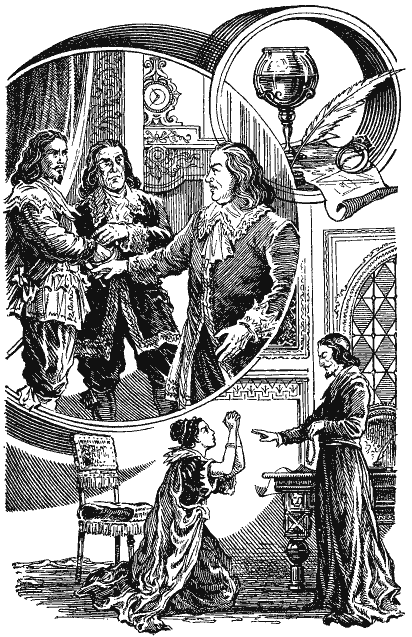
Неоценимый вклад в нее наряду с Пьером Ферма и Рене Декартом внесли и Блез и Этьен Паскали, Торричелли, Гюйгенс, Мерсенн и многие другие, без которых не было бы ее последующего развития во всем мире.

### Часть третья

### ИХ ТЕНЬ ДОСТАНЕТ ОБЛАКА

Статую красит вид, человека — его деяния.

Пифагор



#### Глава первая.

#### В АЛЬПАХ

Умный человек может быть влюблен, как безумец, но не как дурак.

Ларошфуко

*(Из дневника г-жи Луизы Ферма, урожденной де Лонг.)*

«Даже в монастыре я не вела дневника, не прятала тетрадь в бархатном переплете под подушку, не читала своих тайных записей закадычным подругам, не вздыхала и не проливала слез над стихами, а вот теперь... теперь мне захотелось записать все, что чувствую, о чем думаю после двадцати пяти лет замужества.

Пьер сделал к этому нашему с ним дню самый лучший для меня подарок. Нет! Не драгоценный перстень, где «щурится камень кошачьим глазком», не ожерелье самоцветов, которым я однажды любовалась в лавке у ювелира, испанского еврея, не серьги, светящиеся, как звезды, не цыганские браслеты, гремящие при каждом движении руки, хотя (чего скрывать!) мечтала обо всем этом! Он подарил мне поездку в Швейцарию! И я завела эту тетрадку, отправляясь в путь.

Пьеру удалось освободиться на время от дел в парламенте, а мне пришлось оставить вместо себя за хозяйку Сюзанну. В ее двадцать лет ей полезно почувствовать себя хоть на некоторое время старшей в доме, а не обращаться по всякому пустяку к матери, которая должна все делать, обо всем помнить, все знать!

Конечно, сердечная Жанна поможет ей, взяв на себя заботу о маленькой Эдит. Именно этой трехлетней крошки будет мне не хватать в далекой и прекрасной Швейцарии!

Я помню, ох помню, как проходили каждый по-своему через самый забавный, трехлетний возраст мои дети!

Самуэль, наш первенец, тогда удивительно любопытный, теперь в свои двадцать четыре года уже бакалавр, но так же непрактичен, как и отец, избрав своей деятельностью науку и поэзию, которые еще никого не кормили досыта.

А каким на редкость покорным ребенком росла Сюзанна, ныне болезненно мечтающая о замужестве, нуждаясь и в приданом. Только продажа нашего городского дома может помочь нам внести за Самуэля его долю в какое-нибудь дело в Париже, чтобы он смог заниматься наукой и поэзией, оставив кое-что и для Сюзанны.

Жанна в отличие от такой «распустившейся розы», как Сюзанна, из забавной девчушки с колечками золотистых волос превратилась в неуклюжего, неоперившегося гусенка с длинной тонкой шеей, но который еще станет лебедем! И в ней, судя по ее отношению к маленькой сестренке, зреет будущая заботливая мать не в пример слишком занятой собой, холодной Сюзанне.

Жорж же, названный так в память добрейшего дядюшки Жоржа, из смешного толстенького увальня превратился в десятилетнего шалопая и бездельника, рвущего панталоны на всех деревьях сада, доставшегося нам в наследство от его деда Франсуа, которого он никогда не видел.

Двадцать пять лет! Четверть века забот и лишений, присмотра за детьми, вороватыми слугами и нерасторопным, рассеянным мужем, равнодушным к домашним делам, витающим в своих никому не нужных формулах или стихах, уместных лишь в давно прошедшей юности.

Нет! Я не против его стихов, когда-то они радовали меня, но я сама страшусь признаться себе в том, что все, что прежде привлекало меня в Пьере, теперь начинает раздражать в нем, и он порой кажется мне неудачником. Ведь всего только один раз выпало ему на долю счастье, и обязан он этим прежде всего моему отцу, который настоял в парламенте, где с ним считались, чтобы Пьеру поручили дело по обвинению гугенота графа Рауля де Лейе в преднамеренном убийстве католика маркиза де Вуазье. Только прозорливость отца могла предугадать, какое сказочное вознаграждение получит Пьер, спасши от позорной казни графа Рауля.

Пьер как-то цитировал: «Ни одно благодеяние не останется безнаказанным!» Что ж! Аристократы действительно охотно забывают тех, кому обязаны. Со времени женитьбы графа Рауля на Генриэтте, этой прижитой герцогом на стороне дочери, а потом после кончины старого графа Эдмона де Лейе его возвращенный Пьером к жизни сын ни разу не пригласил к себе в замок своего названого друга, который даже мог считаться его братом, как того желал старый граф, ни разу не пригласил его вместе с женой, принесшей в суд спасительное для него письмо аббата Мерсенна!

Впрочем, стоит ли горевать из-за этой черной неблагодарности? Все равно мы с Пьером отказались бы от «такой чести», хотя бы потому, что жене советника парламента нечего было надеть для такого светского приема, нет драгоценностей, чтобы украсить свой наряд.

Бог с ними, оставшимися в Тулузе, вспоминаю о них только для того, чтобы полнее почувствовать в этой свежей горной стране необыкновенную чистоту воздуха, чтобы острее любоваться поражающими воображение пейзажами, отдохновеннее наслаждаться предоставленным в пансионе, где мы остановились, комфортом. В нашей с Пьером комнате есть даже рукомойник с вделанным в мрамор зеркалом, пуховые перины на широкой кровати под балдахином, покойные кресла на белых, гнутых, отделанных золотом ножках. Услужливые горничные в кружевных наколках стараются угадать каждое желание! И никаких забот по дому!.. Все есть, как в сказке!..

Любопытны обитатели нашего пансиона. Это и состоятельные люди, буржуа из разных стран, и аристократы.

Сразу после приезда мы видели вереницу оживленных людей с альпенштоками и переброшенными через плечи мотками веревок, вышедшими следом за сухопарым и равнодушным проводником, чтобы отправиться в горы.

Я с ужасом подумала, что все эти люди без видимой причины и, конечно, без всякой выгоды для себя станут карабкаться на скалы, срываться с них, подвергаться опасностям снежного обвала, и все лишь ради того, чтобы почувствовать себя на головокружительной высоте. Поистине для того, чтобы решиться на это безрассудство, нужно ощутить головокружение и потерять голову еще внизу! Не могу понять этих людей, а Пьер одобрительно кивал им, незнакомым, провожая в опасный путь.

Мы вышли на вьющуюся змейкой дорогу, некоторое время идя вдали за ними по заросшей травами колее.

И за одним из поворотов были вознаграждены чудеснейшим видом на горный склон и снежную вершину.

Мне бы хотелось описать, что увидела перед собой, но у меня нет таких слов. В рыцарских романах, которыми я увлекалась в монастыре и после него, больше говорилось о красоте чувств, чем о красотах природы.

Но именно они, красоты природы, вызывают во мне самые сильные чувства.

Пьер решительно не умеет отдыхать! Вместо того чтобы бездумно созерцать эту красоту, он размышлял о жизни, связывал с нею увиденное и даже написал об этом сонет, который я переписываю в свою тетрадку, чтобы поразмыслить над ним.

Я в отчаянии от того, что все труднее понимаю мужа, считая его стихи причудой, которую все меньше и меньше оправдываю.

Но сонет его все-таки переписала:

У юности первый и легкий подъем.

До неба открылись просторы.

Когда мы признанья любимым поем,

Все в жизни — далекие горы!

Пусть там, в поднебесье, и холод и лед,

Под солнцем снега не согрелись.

На склоны и скалы нас властно зовет

Вершины манящая прелесть.

К высотам познанья! За кручей — обрыв!

Дороги орлам незнакомы!

Пройдет человек там, но прежде открыв

Природы и Чисел законы!

Искателей истин судьба нелегка,

Но тень их достанет в веках облака!

Оказывается, сонеты можно писать не только о любви! Для меня это слишком непривычно, я не хотела бы сказать — чуждо, но попросту далеко! А вот тень «жены искателя истин», увы, никогда не достанет облака, хотя судьба у нее так же нелегка! Ой, совсем нелегка!

В этот же день за табльдотом нам предстояло встретиться и с другими обитателями пансиона.

В уютной, отделанной ореховым деревом столовой стояли столики, покрытые вышитыми скатертями, каждый на четверых постояльцев.

Хозяйка пансиона, очень важная седая поджарая дама с высоко вскинутым подбородком и в строгих очках, подвела нас к столику, где сидели двое учтивых англичан. Они вскочили при нашем приближении, а более молодой из них, статный и худощавый, с британскими усами, свисающими по углам рта, услужливо пододвинул мне стул, ожидая, когда я сяду.

Во время обеда, достаточно вкусного и разнообразного, молодой англичанин (я говорю «молодой», потому что он моложе меня, хотя, быть может, и не подозревает об этом!) всем своим поведением подчеркивал свое восхищение мною, своей соседкой, уверяя, что только французские женщины достойны истинного поклонения, и остроумно, а подчас и зло перечислял недостатки женщин всех стран (кроме Франции) — англичанки холодны, испанки несдержанны, итальянки слишком жестикулируют, немки скучно добродетельны, славянки грубы, негритянки слишком черны, а француженки, только француженки пополняют рать ангелов на небесах.

Я смеялась, а он старался еще больше.

После обеда молодой джентльмен галантно предложил нам всем прокатиться в горы на заказанной им коляске.

Пьер и старший англичанин, профессор, кажется, Оксфордского университета, отказались. Меня Пьер не удерживал, и получилось так, что мы с сэром Бигби, как называл его старший спутник, а значит, с лордом, поехали в горы вдвоем. Я впервые встретилась с настоящим лордом и только из любопытства согласилась поехать с ним.

Скажу откровенно, что подобное путешествие небезопасно для замужней женщины. Вечером, вспоминая прогулку, я рассматривала в зеркале свое лицо. Даже странно, что оно так сохранилось за годы семейных забот. Конечно, он не подозревает, что мне уже сорок пять лет, и надеется на легкую интрижку, на которую, как он думает, так падки мы, француженки, «не успевшие пополнить сонм ангелов на небесах»!

На следующее утро он уже ждал у лестницы, чтобы проводить меня в столовую.

Мне кажется, что Пьер был недоволен этим, хотя виду не подал, как всегда уравновешенный, спокойный, доброжелательный.

За столом шел общий разговор, из которого я поняла, что сэр Бигби помощник министра при самовластном Кромвеле, заменившем в Англии короля. Каюсь, это еще больше раззадорило меня, разожгло интерес к англичанину — лорд, да еще министр! Близок с грозой европейских корон! Как взволнуется Сюзанна, узнав о таком знакомстве матери. Клянусь Мадонной, она захотела бы оказаться на моем месте. А я?

Потом была прогулка. Старший англичанин, с лысиной, которую он прикрывал шляпой с высоченной тульей, старящей его шкиперской бородкой и тяжелой тростью в руках, нашел что-то общее с Пьером. Горячо обсуждая скучную философскую тему, они отстали от нас с сэром Бигби, и он, пользуясь этим, сыпал изысканными комплиментами и старался увлечь меня с дорожной колеи, без устали предлагая руку, в расчете коснуться моей.

Отмечу одну особенность, характеризующую обоих представителей «передовой» Англии: сидя с нами за одним столом, совершая совместные прогулки, ведя беседы о высоких материях или ухаживая за мной, никто из них не поинтересовался, с кем имеет дело. В этом сквозила смесь равнодушия с превосходством над нами, какими-то там французами, скорее всего провинциальными буржуа, не доросшими до их революционных идей.

Что касается меня, то я отнюдь не старалась в беседе с лордом признаться в том, что всего лишь жена судейского из Тулузы, боясь вызвать снисходительное участие к моей незавидной судьбе, которая, конечно же, ни в какой мере его не интересовала, чего нельзя сказать обо мне самой, не утратившей еще женственности.

Я ловлю себя на том, что, уподобляясь Сюзанне, стала слишком много времени уделять своей внешности и даже порадовалась, что захватила с собой купленные к предстоящей ее свадьбе не очень дорогие, но прелестные украшения, которые оказались мне очень к лицу, о чем не преминул заметить мой лорд.

Сегодня за обедом, когда я надела эти украшения, я с ужасом почувствовала, что сэр Бигби как бы нечаянно задел под столом своим коленом мое.

Кровь бросилась мне в лицо, я сколько могла отодвинулась и низко нагнулась над тарелкой, чтобы скрыть свое замешательство.

Но он ничуть не смутился, продолжал ухаживать за мной со светской непринужденностью, предлагая мне то очередное блюдо, то сыр, то фрукты, и снова и снова касался моего колена.

Я не знаю, как высидела до конца обеда, отказалась идти гулять, сославшись на головную боль, и поднялась в свою комнату.

Пьер и английский профессор решили закончить свою беседу о каком-то Картезиусе во время прогулки, а лорд не выразил желания их сопровождать, уверяя, что у него от философии всегда зубы болят.

С бьющимся сердцем сидела я у себя в комнате, и когда раздался робкий стук в дверь, приняла его как нечто неотвратимое.

Это был он, мой английский лорд!

— Я принес вам нюхательной соли, сударыня, чтобы умерить вашу головную боль. Соблаговолите разрешить мне войти, чтобы передать вам ее.

— Нет, нет! — замахала я руками. — Ради всего святого нет! Боже вас сохрани!

— Пусть господь сохранит вас и вашу красоту, самая прекрасная из всех женщин, которые встречались мне и в Европе, и в заморских странах.

Он не уходил, стоя в дверях, уверенный, что сломит своей учтивой настойчивостью мое сопротивление, войдет и...

Сам господь бог послал в тот миг грозу в горах, а мне вернувшегося в ее предвидении мужа.

Он поднимался по лестнице впереди своего английского спутника и увидел в дверях нашей комнаты настойчивого английского лорда.

Тот обернулся к моему мужу и как ни в чем не бывало сказал:

— Я принес нюхательной соли вашей супруге, но не решаюсь войти. Не откажите в любезности, мой друг, передать ей флакон, чтобы умерить ее страдания.

Пьер молча взял соль и, кажется, даже не произнеся слов благодарности, прошел мимо англичанина к нам в комнату, заперев перед незваным гостем дверь и произнеся по-английски:

— Я сожалею, сэр!

Теперь я ожидала бури, но Пьер ничего не сказал мне.

Однако я поняла, что при всей его отрешенности от происходящего вокруг, оказывается, от него не ускользало ничего из поведения английского лорда по отношению ко мне. И то, что Пьер не упрекнул меня, не предостерег хотя бы, означало лишь присущую ему сдержанность и удивительную доброту, которую он всегда проявлял к людям, в особенности ко мне.

Тем неожиданнее, ошеломительнее для меня было то, что затем произошло и что должно было произойти!

Английский лорд и соратник Кромвеля отнюдь не собирался сложить оружие, он, видимо, поставил себе целью во что бы то ни стало добиться в отношении меня поставленной цели, не видя разумной причины для соблюдения мной верности пожилому мужу, воображая, что я намного моложе его. Просто Пьер выглядел неважно, за последние годы после своего пятидесятилетия пополнел, и лицо его стало усталым. Еще бы! Ведь я-то знала, что украдкой от меня он просиживает ночи за своими вычислениями, которые потом теряет и не может найти, а я... только в этой тетрадке покаюсь, борясь с этим расточительным увлечением... почти с сатанинским ожесточением уничтожала все найденные мной арифметические упражнения, глубоко уверенная, что они решительно никому не нужны, потому что Пьер ни разу не удосужился хотя бы переписать начисто эти записи, не говоря уже о том, чтобы подготовить к печати оплачиваемую книгу, о которой еще четверть века назад писал ему аббат Мерсенн в письме, прочитанном на суде прокурором Массандром.

В горах разыгралась гроза, в окнах все исчезло за мутной пеленой. Прогулки отменились, и мы с англичанами сидели в голубой гостиной.

Озабоченная хозяйка сама проверила, хорошо ли заперты все окна, и удалилась, худая и прямая как жердь.

Мужчины развалились в глубоких креслах.

Сэр Бигби, на этот раз в генеральском мундире, явно красуясь передо мной, о чем-то красноречиво вещал, а я так волновалась, чувствуя за каждой сказанной им фразой совсем другое значение, что сейчас даже не могу вспомнить, о чем он говорил с такой надменной важностью, что она не могла не вывести из себя даже Пьера.

Потому и случилось тогда нечто подобное громовому удару.

Собственно, громыхнуло действительно сразу за вспыхнувшей молнией, отчего я непроизвольно втянула голову в плечи и даже перекрестилась, поминая святую Мадонну.

Вспышка сверкнула за окном, так напугав меня, но ведь в гостиной произошло нечто более страшное.

Мгновенно преобразившийся, как от удара молнии, мой Пьер, почему-то обращаясь сразу к обоим англичанам, резко произнес:

— Я бросаю вам вызов!

Сердце у меня упало. Я никак не ожидала, что мой тихий Пьер, который всегда был против кровопролития, может вызвать на дуэль, да еще в чужой стране лорда! И все из-за меня, из-за моего непростительного легкомыслия, которое так осудила бы Сюзанна. Как же я, помня о Самуэле и Сюзанне, о других малых детях, не смогла отстоять свое достоинство жены и матери, не поставила на место не в меру осмелевшего мужчину?

И теперь Пьер погибнет! Погибнет, ибо никогда не держал даже шпаги в руке, а этот самоуверенный сэр Бигби хвастал мне о многих сражениях, в которых он участвовал, выходя победителем в неравных схватках со сторонниками казненного потом короля Карла I и с бунтовщиками в колониях.

Ужас сковал меня, и я не могла произнести ни слова. Нужно было вмешаться, потребовать у лорда извинений, наконец, умолять Пьера отказаться от своего вызова, уговорить обезумевшего мужа! Но я ничего не могла сделать, парализованная, словно взглядом кобры.

А кобра с усами британского генерала холодно произнесла:

— Мы принимаем ваш вызов, сударь.

Я залилась слезами и выбежала из гостиной».

*(На этом запись в дневнике г-жи Луизы Ферма обрывается.)*

#### Глава вторая.

#### МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Довольно почестей Александрам!

Да здравствуют Архимеды!

А. Сен-Симон

Итак, как нам уже известно, во второй понедельник июля 1656 года магистр Права (и Чисел, поскольку ученые не пожелали отстать от юристов!) Пьер Ферма с женой Луизой, урожденной де Лонг, по случаю двадцатипятилетия их свадьбы впервые отправились на отдых в Швейцарию.

Страна легендарного Вильгельма Телля, уже два с половиной столетия независимая, избегая войн, а лишь отдавая за золото внаем отборные отряды своих воинов для охраны королей, представилась французской паре горным островом среди бушующего моря политических страстей, куда не доходят мрачные тучи с бьющими из них молниями то столетних, то тридцатилетних войн (вынудивших даже папу римского разрешить на какое-то время в истощенных странах многоженство, лишь бы рождались новые солдаты!), не говоря уже о войнах более мелких и менее продолжительных, но также пожирающих жизнь и кровь людей, однако воспеваемых придворными поэтами и благословляемых отцами церкви, неся славу и богатство одним, нищету, смерть или тяготы другим; эта страна показалась Пьеру Ферма как бы заслоненной снежными хребтами и от интриг «серого кардинала» Мазарини, навязывающего Европе гегемонию Франции, и от тщеславных амбиций вождя английской революции Кромвеля, который сперва допустил пролитие царственной крови, а потом во имя права народа на справедливость узурпировал власть над ним, грозя тем же и соседним странам Европы (совмещая в себе, как блистательно определил впоследствии Карл Маркс, одновременно две такие фигуры грядущей истории, как Робеспьер и Наполеон, о чем, конечно, Ферма не мог иметь представления).

Он лишь, отрешившись от повседневности, любовался оазисом красоты, когда во время прогулки с женой по заросшему проселку увидел будто бы совсем близкий горный склон, волшебно приближенный прозрачным воздухом, хотя лес там выглядел постриженной травкой, примыкая к скалистому обрыву «крепостной стены великанов», воздвигнутой здесь для охраны подступов к снежной вершине, сверкающей на солнце немыслимо огромным алмазом, причудливые грани которого делали небо более синим, более глубоким, даже твердым, где птицы застыли на распростертых крыльях, став его частью, подобно звездам на ночном небосводе.

Вот тогда непроизвольно слагался его «Альпийский сонет», дошедший до нас благодаря счастливо найденной страничке дневника Луизы Ферма, стремившейся понять мужа.

Только спустя столетие после Ферма напишет великий Гёте о том, что «пока поэт выражает свои личные ощущения, он еще не поэт. Но как скоро он усвоит мир и научится изображать его, он станет поэтом». Не зная этих слов, Ферма все еще не считал себя настоящим поэтом, а потому не стремился публиковать свои стихи, ограничиваясь чтением их близким людям, лишив тем самым последующие поколения знакомства со своей поэзией.

Однако сплав поэзии с математикой он считал естественным, преклоняясь и перед античными философами, ставившими стихи и математику рядом, и особенно перед исполинской фигурой Востока Омаром Хайямом, чья мудрость, выраженная в его певучих стихах, основывалась на обширных познаниях и плодотворно углубляемой им самим науке.

Под впечатлением величественного спокойствия и тишины гор Пьер Ферма натянуто принял общество двух англичан, с которыми вместе по укладу пансиона они с женой оказались за одним столиком.

В особенности пустым выглядел один из них с высокомерной светской болтовней и заготовленными комплиментами даме их стола, Луизе.

К счастью, второй англичанин оказался не кем иным, как хорошо известным Ферма по переписке через аббата Мерсенна Джоном Валлисом, профессором геометрии Оксфордского университета, с которым можно было говорить на математические темы. Правда, Ферма не назвался по имени, поскольку англичане не поинтересовались, с кем вместе сидят за одним столиком.

Ферма слишком уважал жену, чтобы лишить ее такого развлечения, как общество сэра Бигби, изощрявшегося в знаках внимания и ухаживании за нею.

Выяснилось (англичане охотно говорили о себе), что сэр Бигби, в прошлом ученик Джона Валлиса, окончил Оксфордский университет и до сих пор считает себя математиком, хотя поддержка, в свое время оказанная им Кромвелю, возвысила его теперь до положения помощника военного министра.

В непогожий день обычные прогулки стали невозможными, и Ферма с Валлисом вернулись из-за грозы, едва не промокнув до нитки. Вечером Пьер Ферма с Луизой, жалующейся на головную боль, сидели с англичанами в голубой гостиной.

Сэр Бигби, видимо, перешел к штурму выбранной им жертвы и решил ослепить ее блеском своего генеральского мундира, придя в гостиную даже со шпагой на боку, что Ферма отметил про себя с внутренней усмешкой.

Но когда разошедшийся английский лорд и помощник военного министра стал вещать, потряхивая шпагой на дорогой перевязи, всякая усмешка, и внешняя и внутренняя, у Ферма исчезла.

Только привычная для юриста выдержка позволила ему не прервать английского лорда, сначала прославлявшего революцию и борьбу за справедливость, воплощаемую, по его словам, в великом Оливере Кромвеле, лорде-генерале, как он его называл, может быть желая подчеркнуть, что он тоже лорд и тоже генерал. После подавления движения ловеллеров и диггеров, этих низших слоев общества, тянувших «грязные руки к власти», и установления единовластного протектората вождя, решающей для судеб мира теперь стала собранная им в один кулак сила.

— И он, ваш Кромвель, грозит войной Европе? — спросил Ферма.

— Не Европе, а угнетателям европейских народов. Да, если хотите, сударь, то войной.

— Как же сочетается война с ее узаконенными убийствами с представлением о справедливости, насаждаемым господином Оливером Кромвелем?

— Вопрос наивный, но заслуживающий разъясняющего ответа, сударь. Дело в том, что... (не знаю, насколько это будет близко вам для восприятия) но война — это та чудесная сила, которая двигает вперед человеческое общество.

— Вы не оговорились, сэр? Война — благо? — переспросил Ферма. — Война, а не мир, не благоденствие?

— Нет, нет! Сэр Бигби не оговорился, — поспешил разъяснить Джон Валлис. — Мы часто с ним спорим, но, я думаю, полезно будет попросить его обосновать свою мысль.

— Охотно, профессор! Я привык с давних лет давать вам объяснения еще на экзаменах в Оксфорде.

— Да, да, — кивнул Джон Валлис, — но там была математика.

— И здесь та же математика, если иметь в виду точность выводов, которые я берусь доказать, как любую из теорем Евклидовой геометрии. Вы говорили, сударь, о благоденствии и мире, но должен вам сказать, что есть вещи поважнее мира[[27]](#footnote-27).

— Важнее мира? Что может быть ценнее сохранения жизни?

— Торжество силы! Только сила направляет разум человеческий, только опасность, в которую человек попадает благодаря благостным, пробуждающим его скрытые возможности войнам, заставляющим его собрать и напрячь все силы, думать, искать, изобретать. Даже великий Архимед делал свои изобретения ради военных успехов родных Сиракуз. Человеческий ум, джентльмены, ленив и неподвижен в своей сущности. Нужно загнать его в угол, дать ему встряску, чтобы пробудить его, заставить работать как бы под кнутом надсмотрщика, стегающего бездельников на плантациях в колониях. Только боль ран и потерь, стремление выжить, остаться живым, сохранить свои богатства, владения, самостоятельность, избежать рабства или чужой зависимости — вот рычаги, которые заставляют человека, как мечтал еще Архимед, говоря о точке опоры для своего рычага, поворачивать с его помощью мир. Нет занятия более достойного, сударь, более важного для развития человечества, чем возвеличивание нации и отстаивание ее достоинства, чем война!

— Ваша философия насилия как побудителя расцвета цивилизации не делает чести вашей нации, сударь, — возразил наконец Ферма.

— Что? Что вы осмелились сказать о достоинстве моей нации? — поднял великолепные брови, готовясь вскочить с кресла, сэр Бигби.

— Джентльмены, джентльмены! Прошу вас! Не стоит так обострять вопрос, — пытался смягчить спор профессор Валлис.

— Нет, профессор, господин француз заставляет меня отнестись к затронутому вопросу о достоинстве нации со всей серьезностью, поскольку это граничит с вызовом нам, англичанам.

— Вы совершенно правильно поняли меня, сэр. Я делаю вам вызов! — раздельно произнес Ферма.

— Каков бы он ни был, мы принимаем его! — запальчиво произнес сэр Бигби, вскакивая с места.

Но тут произошло замешательство. Луиза, весь день жаловавшаяся на нездоровье, прижав платок к глазам, не в силах, очевидно, дальше сдерживать нестерпимую головную боль, выбежала из голубой гостиной.

Ферма проводил жену до лестницы и вернулся:

— Я делаю вам вызов, джентльмены, как представителям английской нации и как математикам.

— Математикам? — оторопело повторил сэр Бигби, снимая руку с рукояти шпаги, за которую перед тем ухватился.

— Да, я предлагаю вам защитить достоинство вашей нации без шпаг, в «математической войне», требующей не крови, а напряжения ума.

— Чего же вы хотите, сударь? — поинтересовался Джон Валлис.

— Пустое! Предлагаю вам решить коротенькое уравнение, которое исследовал еще Евклид в своих «Началах».

— Какое? Какое? — заинтересовался Валлис. — Я, кажется, неплохо знал «Начала» Евклида.

— Тогда вы легко вспомните такое простенькое выражение, как y2 = ax2 + 1.

— Еще бы! Так что вы хотите от нас, наш французский друг и противник?

— Найти наименьшее значение неизвестных «x» и «y», имея в виду, что общее количество решений бесконечно.

— Вы смеетесь над нами, сударь. Что может быть проще? — продолжал Джон Валлис, в то время как сэр Бигби, надувшись, сидел молча. — Совершенно ясно, что наименьшее из всех возможных решений при a = 2, x = 2 и y = 3! Не правда ли? Надеюсь, я защитил достоинство британской нации?

— Не полностью, дорогой профессор. У Диофанта в его «Арифметике» рассмотрены два случая, когда a = 26 и a = 30.

— Да, да, кажется, там есть такое. Вы этого не помните, сэр Бигби? — обратился профессор к своему бывшему ученику.

— Не помню. В последнее время я занимался в заморских странах другими древностями.

— Диофант дает наименьшие значения «x» и «y» для этих случаев, но если мы уже заинтересовались древней историей, то стоит вспомнить того же Архимеда. Великий сиракузец, желая проверить, имеют ли александрийские математики общий метод решения подобного уравнения, как известно, предложил им задачу «о быках», которая сводилась при решении к этому же уравнению, где коэффициент a = 4729494, понимая, что решить такую задачу подбором, как это вы сделали, уважаемый профессор, для a = 2, невозможно, ибо решение содержало 206 545 знаков.

— И что же? Вы предлагаете нам заняться архимедовыми быками? — насмешливо спросил сэр Бигби. — И выписывать сотни тысяч знаков?

— Я предлагаю вам решить уравнение при a = 109, 149, 433[[28]](#footnote-28), когда подбор так же невозможен, как и в задаче, заданной александрийским математикам, хотя цифры и не столь велики. Чтобы дать ответ, вам и вашим английским коллегам, к которым я через вас обращаюсь, придется найти общий (регулярный) метод решения, а если ни ученые Англии, ни ученые прилегающих к ней стран не смогут этого сделать, то это будет сделано во Франции, чем и будет доказано превосходство одной нации над другой, в частности французской или британской.

— Сэр Бигби поспешил ответить вам, что каков бы ни был ваш вызов, мы принимаем его, — произнес после раздумья Джон Валлис. — Мне остается только подтвердить его слова, отнюдь не преуменьшая связанных с этим трудностей.

— Но эти трудности, уважаемый профессор, несопоставимы с теми тяготами и лишениями, которые несет нация, участвуя в якобы благостных, по мнению сэра Бигби, войнах.

— Вижу, вы недаром назвали свой вызов «математической войной». Однако, принимая ваш вызов от имени нас двоих, сударь, я должен ознакомить с ним математиков Англии.

— Можете познакомить с моим вызовом хоть самого лорда-генерала Оливера Кромвеля.

— Это будет рискованно сделать, сударь: с лордом-генералом общаются лишь руководители европейских государств.

— Передайте тогда, что я сделал вызов британской нации по совету кардинала Мазарини, данному мне еще при жизни его высокопреосвященства кардинала Ришелье, проявлять патриотизм француза и в науке.

— Тогда другое дело, сударь. Но позволительно все-таки узнать, о чьем именно вызове надлежит нам сообщить лорду-генералу, каково имя человека, рискнувшего вызвать целую нацию?

— Охотно назову себя, профессор. Я сожалею, что мне не представилось случая сделать это прежде, за отсутствием вашего любопытства, джентльмены.

— Поверьте, сударь, теперь оно крайне обострено, и мы сожалеем о своей недостаточной учтивости к человеку, очевидно, обремененному научными званиями и доктора наук, и профессора.

— Вы ошибаетесь, я всего лишь любитель! Правда, мне присудили степень магистра Чисел, право, не знаю за что, поскольку я не опубликовал ни одной книги, а в своих письмах сообщал лишь выводы, к которым приходил, предлагая другим найти ведущие к ним пути. Во всяком случае, делая свой вызов английским ученым, сообщаю, что метр Пьер Ферма к их услугам.

Трудно передать то впечатление, которое произвело на англичан это скромное имя.

— Пьер Ферма! — воскликнул после затянувшегося молчания Джон Валлис. — Отчего же вы не назвались нам раньше?

— Мне показалось, что уважаемые джентльмены не проявляли интереса к именам своих собеседников.

Англичане смущенно переглянулись.

— Мы сожалеем, сударь. Теперь все будет по-иному. Мы принимаем ваш вызов...

Джон Валлис оборвал свою фразу, заметив, что в голубую гостиную, громыхая оружием, ворвались два рослых альпийских стражника в сопровождении поджарой, дышащей гневом хозяйки пансиона:

— Вот он, скорее вяжите его! Он в стенах моего заведения осмелился сделать вызов, вынуждая почтенных постояльцев принять его.

Стражники грубо схватили Ферма за руки.

— Вы с ума сошли! — запротестовал Ферма, глядя на растерявшихся англичан, которые не решались прийти к нему на помощь.

— Это мы с ума сошли? — переспросил капрал. — Не добавляйте к своей вине еще и оскорбление властей! — И старший из стражников угрожающе зашевелил пышными усами.

Англичане сделали попытку уговорить капрала, но тот никого не хотел слушать, ссылаясь на приказ офицера.

К счастью, Луиза, лежавшая в своей комнате, не видела позорной сцены, когда ее мужа повели под стражей по той самой заросшей колее, по которой они недавно гуляли вместе, любуясь видом на горы.

Сейчас Пьер Ферма не видел ничего. Опустив голову, он размышлял о нелепости своего положения, когда нет никакой возможности в чем-нибудь убедить этих тупоумных альпийских стражей, вообразивших, будто он кого-то намеревался убить.

Горная вершина, сверкая снежным покровом, как и прежде, высилась, словно вырезанная в синем небе, но Пьер Ферма мыслями был в далеком Париже, где его вот так же вели под конвоем в Бастилию. Но тогда он даже радовался этому, стараясь уберечь Декарта, а сейчас... сейчас он всего лишь бросил вызов всей Англии во главе с самим Кромвелем!

Но как доказать этим, что он предлагал соревнование умов, а не кровопролитие, как доказать, что его напрасно тащат к альпийскому офицеру за попытку убийства «мирного» постояльца пансиона «Горная курочка»?

Поймет ли что-либо офицер?

#### Глава третья.

#### КОРЕНЬ КУБИЧЕСКИЙ

Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой ум.

Ф. Ларошфуко

Командир роты альпийских стражников (одно время в местном кантоне они представляли собой нечто среднее между жандармами, пограничной охраной и спасательной командой в горах) лейтенант Анри Бернард отнюдь не считал себя баловнем судьбы. Вся его жизнь казалась ему лестницей неудач, начиная с проклятой ступеньки экзаменов в колледже, где он провел последние годы, занимаясь игрой в мяч, скалолазанием и другими физическими упражнениями, ненавидя таблицу умножения, где почему-то 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36, а 7 × 7 = 49 (?), чего никак не удавалось ни понять, ни запомнить из-за «дырявой», как жаловался Анри Бернард, памяти.

Словом, диплома об окончании колледжа он не получил, не попав на выгодную службу к отцу, где непременно требовалось искусство счета.

Происходя из знатной семьи кантона, имея отца, державшего в Цюрихе заемную контору (прообраз будущих швейцарских банков), Анри Бернард мог бы надеяться на удачу, но крутой нрав родителя не допускал, чтобы человек, не умеющий считать, взялся бы за работу в его конторе или в любом торговом заведении. Он даже готов был лишить нерадивого сына наследства, но все же помог ему получить офицерский чин и пойти на военную службу, что в Швейцарии означало вступление в наемные войска с отправкой в другие страны, к чему Анри Бернард был совершенно не расположен, влюбленный в прелестную Женевьеву, дочь отцовского компаньона.

При решении вопроса о месте прохождения военной службы неожиданно сыграли роль его безрассудные, по мнению отца, восхождения на труднодоступные вершины, и вместо отъезда к иноземному королевскому двору лейтенант Бернард попал в высокогорную глушь командиром роты альпийских стражей, с которыми вместе карабкался по отвесным скалам, чтобы выручить незадачливых гостей кантона, так же безрассудно, как и он когда-то, штурмующих вершины. В остальном жизнь в горной солдатской хижине была одуряюще скучна, не говоря уже о тоске по Женевьеве.

Обычно тихий, задумчивый, высокий, как отец, но нескладный и на редкость бесцветный, с плоским лицом и пшеничного цвета растительностью, бровями, ресницами, усами, волосами, Анри Бернард к вечеру обычно пребывал в самом скверном расположении духа, когда являл сам себе полную противоположность, становясь подозрительным, злым, несправедливым, готовым выместить на других свои неудачи. Солдаты старались в такие минуты не попадаться ему на глаза.

Но у конвоиров, доставлявших в расположение роты задержанного толстеющего француза, уже в возрасте, с длинными, по плечи волосами и чуть одутловатым лицом, выбора не было, в каком бы настроении лейтенант ни оказался.

И Пьер Ферма предстал перед развалившимся на скамье у грубо сколоченного дощатого стола лейтенантом, смерившим его недружелюбным взглядом.

— По требованию хозяйки пансиона «Горная курочка» этот ее постоялец был взят под стражу, господин лейтенант, за то, что сделал вызов другим двум постояльцам в нарушение конституции кантона, — бойко доложил капрал, бравый и усатый.

— Так, так! Правильно скручено, капрал. Вы отрицаете, сударь... э-э... что сделали вызов?

— Нет, не отрицаю, господин лейтенант, но...

— Какое еще «но»! Признаетесь, значит, виновны. И все тут!

— Не совсем так, господин лейтенант. Дело в том, что я Пьер Ферма, математик, сделал вызов англичанам, объявляя им математическую войну.

Анри Бернард наморщил лоб, сопоставляя несопоставимое:

— Еще того лучше! Он на территории кантона... э-э... объявляет войну! Вина тем усугубляется. Каждый въезжающий в нашу страну чужеземец должен знать ее законы.

— Ваши справедливые законы, господин лейтенант, запрещают кровопролитие, что позволяет Швейцарии так процветать, но я ведь вызвал англичан на математическую войну.

— Какую еще там... э-э... математическую войну? Это когда математики подсчитывают число убитых и раненых?

— Никаких убийств, господин лейтенант! Только состязание в способности к математическому мышлению.

— Математика?.. Э-э... То, что вы нарушитель законов кантона, ясно, а вот... э-э... насчет математики...

— Я легко докажу, что это моя область.

— Интересно, как это вы мне... э-э... докажете?

— Я сделаю самое трудное математическое вычисление в вашем присутствии с молниеносной быстротой.

— А как я вас проверю?

— Очень просто. Я не говорю о таких доступных задачах, как сложение, вычитание, умножение или деление, даже возведение в степень...

— Ну-ну! И что еще придумаете?

— Скажем, извлечение корня. И не квадратного, а посложнее, кубического корня, хоть из шестизначного числа. Согласитесь, что это выглядит не таким простым делом.

— Извлечение кубического корня? Что-то слышал об этом, как о самом заковыристом деле. А шестизначное... э-э... это очень большое число...

— Возведите в третью степень любое двузначное число, господин лейтенант, и произнесите вслух полученное пятизначное или шестизначное число. Пока вы его объявляете, я назову вам ответ.

— Что-то очень хитро... э-э... и, конечно, невозможно.

— Но это самый простой способ убедиться в том, что вы имеете дело с математиком.

— Да... но нужно перемножать двузначные числа — это целая чертовщина.

— Поручите это господину капралу или еще двум-трем из ваших стражников.

— А ну! — скомандовал лейтенант капралу. — Вызовите мне интенданта роты. — И он обернулся к Ферма: — Сейчас, сударь, этот парень выведет вас на чистую воду. Меня еще можно одурачить вашими фокусами, но не его! Он ведет в нашей роте... э-э... весь счет, платит за провиант, амуницию, офицерское жалованье и... э-э... ну да это неважно. Считать он умеет. И за себя, и за других.

— Мне только это и надо, господин лейтенант.

Вошел еще один капрал, низенький и юркий, с бегающими маленькими глазками и хитроватой усмешкой под солдатскими усами.

— Капрал! Этот правонарушитель утверждает, что извлечет кубический корень... э-э... как это... из шестизначного числа раньше, чем вы успеете его произнести. Как? Возможно это?

— Никак нет, господин лейтенант, невозможно, клянусь господом богом.

— Всегда считал вас добрым христианином, когда вы клялись так при сложных... э-э... расчетах. Тогда... как это называется?.. Ну, возведите в третью степень, что ли, двузначное число. Садитесь вот здесь и пишите. А ты, капрал, — обратился он к старшему конвоиру, — делай то же самое на другом конце стола. Это, чтобы не переврали... э... покажите один другому начальные цифры.

Капралы обменялись взглядами, и, что-то шепнув друг другу, сели на разных концах стола, и, сопя и кряхтя, принялись перемножать двузначные числа, чтобы получить их куб.

Интендант закончил вычисление раньше и, прижимая к груди аспидную доску, на которой писал мелом, долго с сожалением и превосходством смотрел на своего соратника, трудившегося с гусиным пером и листком бумаги, высунув кончик языка.

Наконец и тот закончил, но, видимо, ошибся, потому что интендант заставил его пересчитать. И только после этого, сверив полученные результаты, интендант передал аспидную доску командиру.

Ферма чуть искрящимися от внутреннего смеха глазами наблюдал за этой забавной процедурой.

Лейтенант же торжественно, с отчетливой раздельностью произнес:

— Пятьдесят тысяч...

— Тридцать... — тихо вставил Ферма.

— ...шестьсот пятьдесят три, — закончил лейтенант и услышал конец фразы Ферма:

— ...семь. Тридцать семь, с вашего позволения...

— Чертовщина! — всполошился лейтенант. — Э-э! Мошенничество! Еще одна ваша вина! Вы, сударь, обладая... э-э... завидным слухом, подслушивали, как капралы обменивались начальными цифрами, и назвали их теперь, будто вычислили!

Ферма пожал плечами:

— Ваши подчиненные могут выйти из помещения и вернуться с готовым результатом, господин лейтенант.

— И правда! Капралы! Марш из казармы! И помножьте мне там... э-э... что-нибудь побольше.

Капралы послушно ушли и вернулись через несколько минут, многозначительно передав командиру аспидную доску.

Лейтенант зловеще провозгласил:

— Шестьсот восемьдесят одна тысяча...

— Восемьдесят, — без промедления вставил Ферма.

— ...четыреста семьдесят два! — закончил лейтенант и услышал, сам себе не веря, конец ответа Ферма:

— ...восемь. Восемьдесят восемь, сударь!

— Вы — колдун! Вас надо было бы в прежние времена передать инквизиции и сжечь на костре.

— Здесь нет ни колдовства, ни секрета, господин лейтенант! Через полчаса вы будете проделывать то же самое.

— Я? Э-э!.. Как это так?

— Нет ничего проще, надо только запомнить восемь цифр.

Два капрала, шевеля усами, уставились на колдуна.

— А ну... э-э... Выйти всем! — скомандовал лейтенант.

Стражники покорно исчезли из хижины.

— Так вы хотите сделать из меня... э-э... математического волшебника, что ли?

— Нет, просто ознакомить вас с некоторыми приемами теории чисел, очень простыми. Вы заметили, что я назвал первую цифру ответа, едва вы произнесли первые две, три цифры многозначного числа, говоря мне, сколько тысяч в нем. Мне этого достаточно, чтобы уже знать, сколько десятков двузначного числа надобно возвести в третью степень, чтобы получить чуть меньшее число тысяч. А когда вы заканчивали произнесение всего числа, то меня интересовала лишь последняя цифра, ибо каждому числу в кубе соответствует лишь определенная цифра извлеченного из него кубического корня.

— Э-э... — наморщил лоб лейтенант. — Как же в этом разобраться?

— Запишите себе восемь цифр.

— Сейчас, сейчас, сударь, — заторопился лейтенант. — Только очиню перо. Этот капрал так... э-э... им царапал, что и писать теперь нельзя.

— Запишите, потом запомните.

— А вы их наизусть знаете?

— Конечно. И вы так же знать будете, если хотите показать людям свое необычайное уменье счета.

— Э-э! Вы попали в самую точку, сударь. Вы даже не представляете, как мне это надобно.

— Тогда пишите: единица всегда единица. 23 = 8, 33 = 27, 43 = 64, 53 = 125. Эти цифры нет ничего проще запомнить. И еще 63 = 216.

— А как их выучить? — горестно спросил лейтенант.

— Хотя бы так: двойка в кубе — это сколько клеток в ряду на шахматной доске?

— Восемь.

— Ну вот видите! Вам этого уже не забыть! Простите, сколько вам лет?

— Двадцать семь.

— Как удачно! Тройка в кубе! Запомнили? А четверка в кубе — 64. Как раз столько клеток на всей шахматной доске.

— Верно, сударь.

— Пятерка в кубе — 125. Первые две цифры 1, 2 в сумме дают куб, а третья — вашу пятерку. Ясно? Теперь шестерка в кубе — 216. Опять первые две цифры в сумме дают куб, только расположены они в обратном порядке, а последняя цифра — шестерка, которую мы уже возводили в куб.

— А ведь, пожалуй, так можно и запомнить. Что-то нас... э-э... не так учили...

— Зазубривать вас учили. Один мой друг, великий философ Рене Декарт, пишет, что «для того, чтобы усовершенствовать ум, надо больше размышлять, чем заучивать».

— Это верно, сударь. Мудрый у вас друг.

— Это не мешает нам с ним спорить порой.

— Вот и мне теперь хочется поспорить с вашими цифрами в кармане.

— С кем поспорить?

— С отцом, ох как надо поспорить с ним!

— Итак, остались только три числа 73 = 343. Это число начинается (или кончается) тройкой, то есть кубом. А сумма оставшихся цифр дает первоначальное число — семерку. Чувствуете общую закономерность? Не зазубривать, а размышлять!

— Конечно, чувствую, размышляю, даже вижу! — обрадовался лейтенант. — До чего интересно!

— Я рад, что это вас заинтересовало.

— У меня тут... э-э... не просто любопытство, если бы вы знали, сударь. Кажется, от ваших цифр будет зависеть... э-э... мое счастье.

— От души вам его желаю. Итак, еще два числа: 83 = 512. Как видите, последние цифры опять единица и двойка — в сумме куб, а все вместе цифры дают в сумме восьмерку! И наконец, последнее: 93 = 729. Вглядитесь в это число. Последняя цифра наша девятка, а две первые, как и 33, читаются как 27 (только в обратном порядке) — ваш возраст.

— Ну, в прямом чтении это возраст моего отца. Тоже запоминается. Теперь, будьте уверены... э-э... научусь запоминать!

— Вернемся к нашим недавним вычислениям и разоблачим чудо. Помните, когда капралы нашли число 50 тысяч, я уже знал, что это меньше 64 и больше 27, едва вы это произнесли, значит, первая цифра ответа будет 3 (десятка). Когда вы закончили чтение всего числа 50 653, то оно кончалось на тройку, а тройку в третьей степени может дать лишь семерка. Вот и ответ — 37!

— До чего просто, — восхитился лейтенант.

— А в последнем случае 681 тысяча была меньше 729, но больше 512. Значит, десятков будет 8, а последняя цифра 2 требовала только цифру 8. Вот и ответ — 88!

— Вот это то, что мне надо, сударь! Э-э!.. Теперь я им покажу, как надо уметь считать!

Ферма с улыбкой наблюдал за происшедшей в лейтенанте переменой. Его бесцветность как бы исчезла, так он оживился, выпрямился, засверкал глазами.

Командир вызвал капралов и, глядя в бумажку с девятью числами (единицу он тоже записал), заявил, что это лишь на первое время, пока не запомнит накрепко, заставил подчиненных упражняться в арифметике, возводя в куб различные числа и с восторгом извлекая из шестизначных нагромождений кубические корни за считанные секунды, чем ввергал капралов в полное изумление и даже панический ужас, ибо им вполне могло показаться, что приведенный из пансиона чернокнижник познакомил их лейтенанта с нечистой силой.

Лейтенант приказал оседлать двух лошадей и при лунном свете самолично проводил Пьера Ферма до пансиона «Горная курочка».

Несмотря на поздний час и бережливость хозяйки, в гостиной все же горели свечи.

Англичане обрадовались появлению Ферма, хотя у сэра Бигби был измученный вид.

— Я рад, что вы вернулись, сударь, но в ваше отсутствие, да еще и ночью, я не рискнул беспокоить вашу супругу. Вы крайне обяжете меня, если вернете мне флакон нюхательной соли, так как у меня нещадно разболелась голова от всех перенесенных здесь волнений.

Ферма, поднявшись по лестнице, через некоторое время принес скисшему генералу его флакон, а Луиза ждала возвращенного ей мужа на лестничной площадке, чтобы повиснуть у него на шее с заглушенными рыданиями.

Лейтенант Анри Бернард все последующие дни мучил своих капралов до полного изнеможения, заставляя их умножать и умножать двузначные числа до получения их куба, а потом с наслаждением извлекал из полученных результатов кубические корни. И к тому времени, когда он от частого употребления вызубрил наконец названные ему Пьером Ферма числа, то невольные его помощники уже назубок знали все кубы чисел от единицы до ста, хотя и не имели представления о теории чисел, с которой ознакомил их лейтенанта французский математик. Все достигается упражнениями, вольными или невольными!

Ко дню возвращения супругов Ферма из Швейцарии лейтенант Анри Бернард, получив кратковременный отпуск, прибыл в Цюрих.

Уединившись с отцом в его узком, как коридор, кабинете, Анри признался, что в нем проснулся необыкновенный математик, способный творить чудеса. Отец не поверил, но, когда сын стал безошибочно извлекать кубические корни из шестизначных чисел, уверился в сошествии на сына необыкновенного дара благодаря услышанным господом богом отцовским молитвам.

И по особому приглашению в дом Вильгельма Бернарда собрались: его компаньон Питер Бержье, два профессора математики лучших колледжей страны господа Штейн и Маркштейн, лысый доктор Фролистер, прославленный целитель и несомненный ученый, а также епископ местной епархии его преосвященство господин Мариане со своим секретарем аббатом Виньвьетом, человеком всезнающим и сугубо полезным.

Перед этим почтенным собранием и выступил храбрый лейтенант, прежде всего принеся молитву всевышнему, а потом предложив присутствующим возвести в куб любое двузначное число, из которого он якобы может извлечь кубический корень с немыслимой быстротой.

Пока профессора математики Штейн и Маркштейн занимались арифметическими вычислениями, его преосвященство епископ Мариане по-отечески вел беседу с Анри о душе, святой вере и спасении, его же секретарь аббат Виньвьет с видом ищейки осмотрел обширную гостиную с грубой альпийской мебелью, чтобы выявить приспособления, пригодные для обмана, сигнальные карты и прочие атрибуты фокусников, однако ничего не обнаружил. Доктор же Флористер, смерив пульс Анри и приложившись ухом к выпуклой его груди, установил, что тот находится в полном здравии.

Тогда по знаку Вильгельма Бернарда профессора стали поочередно называть самые трудные, на их взгляд, шестизначные числа, извлечение кубического корня из которых даже у них потребовало бы до получаса времени, а то и больше!

И десятки раз ответ Анри звучал раньше, чем Штейн или Маркштейн заканчивали провозглашение исходного числа, притом абсолютно без всякой задержки, без необходимого для вычислений времени, словно читая в мозгу математиков верные ответы.

Профессора, Штейн и Маркштейн признали все ответы правильными, а быстроту счета не поддающейся осмыслению.

Епископ с аббатом должны были решить, не причастен ли к этому враг человеческий. Но основания не нашли, поскольку Анри начал свой сеанс с молитвы, а произнося ответы, крестился.

Доктор же Флористер подтвердил, что Анри называл ответы, не находясь в припадочном состоянии.

Словом, признание сошедшего на Анри свыше дара было всеобщим и безусловным.

Вильгельм Бернард праздновал полную победу, словно сбил стрелой яблоко с головы любимого сына[[29]](#footnote-29).

Облобызав Анри, он объявил, что тот может выходить в отставку и приступать к работе в семейной заемной конторе.

Однако всеобщим разочарованием могла бы стать, безусловно, неуместная шутка Анри, будто никакого дара к быстрому счету у него нет, а что он просто усвоил некоторые правила теории чисел.

Шутка молодого Бернарда вызвала лютую бурю возмущения и негодования почтенных зрителей проведенного математического сеанса и совсем не шутивших; Анри понял, что ему никто не желает верить, обвиняя его в неуважении к собравшимся и даже к святой церкви.

Пришлось Анри, потупив глаза, «признаться», что он всего-навсего хотел этим неуместным заявлением проверить, как глубоко впечатление от знакомства с его обретенным по воле господа даром.

Все закончилось ко всеобщему удовольствию, Анри пожурили за присущее молодости неразумие и даже озорство, прочитали ему нотации, как хранить дарованную ему способность творить чудеса, в чем приняли участие все, начиная с отца и господина Бержье и кончая профессорами, врачом и епископом с аббатом. Анри выслушал всех с опущенной головой и потупленным взором, думая о Женевьеве, ожидавшей своей судьбы в соседней комнате и, быть может, заглядывающей в замочную скважину.

Вскоре Анри вышел в отставку и занял место в отцовской конторе, с ужасом убедившись, что там вовсе не требуется извлекать кубические корни и надо делать вид, что совершаешь чудеса, едва справляясь с черновой работой.

Через год, списавшись с Пьером Ферма, он приехал с молодой женой в Тулузу, чтобы одолеть при его помощи и другие приемы быстрого счета.

Спустя десять лет, уже после кончины отца, он стал видным банкиром Цюриха, с достоинством неся бремя признанного «математического чуда века», а мысленно благодаря военную службу, занесшую его в солдатскую хижину вблизи пансиона «Горная курочка».

Между тем математическая война между Англией и Францией разгоралась до необычного накала, привлекая к себе внимание не только ученых, но и государственных деятелей обеих стран.

Профессор Оксфордского университета Джон Валлис собрал всю связанную с «вызовом» французского математика переписку, изобилующую и яркими находками, и острыми выпадами, и издал ее отдельной книгой[[30]](#footnote-30).

#### Глава четвертая.

#### БИНОМ ФЕРМА

Делай великое, не обещая великого.

Пифагор

Старинный запущенный сад де Лонгов благоухал.

Жадный запах полонивших все трав спорил с робким и печальным ароматом все-таки распустившихся в зеленой чаще, когда-то ухоженных, а теперь одичавших цветов.

Яркое солнце наполняло сад такой жизненной силой, что, поднимая стебли, множа листья, расцвечивая лепестки, она превращала остаток своей мощи в дурманящий аромат, способный воскресить давно забытое, ушедшее, минувшее тридцать лет назад, когда двое молодых людей, вчера еще незнакомых, разговаривали друг с другом, прикрываясь ничего не значащими словами, но передавая тревожно бьющимся сердцам нечто особенно важное, безмерно тайное и самое для них главное, что определит их грядущую судьбу.

И вот те же люди, став на три десятилетия старше, вновь брели по той же самой, теперь грустной аллее, снова передавая друг другу невысказанные мысли, но уже не с помощью загадочных способов, доступных лишь влюбленным, а благодаря тому, что изучили за четверть века друг друга настолько, что знали, кто о чем подумает и что скажет.

— Хотелось бы сорвать тебе розу, да ведь обдерешься весь о шипы, — заметил Пьер Ферма, протягивая руку к старому разросшемуся кусту.

— Побереги камзол, — остановила его жена и добавила с горечью: — На случай, если граф Рауль де Лейе пригласит нас к себе в замок.

Когда проживешь вместе жизнь, поймешь горькую мысль, что по его, Пьера, милости они не настолько богаты, чтобы бросаться пистолями или гинеями, и он не может купить себе новый камзол. Но услышал Пьер только упоминание о Рауле.

— Боже мой! Сколько можно о нем говорить! — раздраженно сказал он. — Граф давно забыл о моем существовании.

— Вы оба забыли друг друга, — с обидой за мужа сказала Луиза. — И совершенно напрасно забыли!

«И нельзя теперь обратиться к нему за помощью, чтобы не переезжать, — подумал про себя Пьер, — в это запустение, доставшееся Луизе в наследство от де Лонгов, и не продавать городского дома!»

— Что делать! — вздохнул Пьер Ферма. — Надо привести все в порядок.

— Чьими руками? — только и спросила Луиза, но в словах ее слышались слезы.

Конечно, они не могут нанять садовника, слуг, плотников, могущих исправить перекосившиеся окна и косяки дверей. Это знал Пьер и, защищаясь от несносных забот, воскликнул:

— Боже мой! Но как-нибудь это можно сделать? Ты же все можешь!

— Ах эти «могущие все руки»! — с усмешкой произнесла Луиза, поднося руки к глазам. — Если бы сэр Бигби знал, что на них ложится!

— Все вспоминаешь английского лорда?

— Уж я-то с ним не переписываюсь!

— Наша переписка касается только моего «вызова» английским математикам!

Уж лучше бы Пьер не упоминал о математиках! Он знал, как действует слово «математика» на жену, которая вполне справедливо считала, что это занятие мужа, как и его поэзия, не принесло ему никакого дохода.

И еще знала, что такое растущие долги, знала и как хозяйка, и как мать подрастающих дочерей!

И она с горечью сказала:

— Математика! Мне кажется, что я хорошо усвоила теперь и что такое нуль, и как возникают так называемые отрицательные числа.

Пьер понял ее намек на пустой карман и на долги, которые, конечно же, измотали ее, бедную. Стараясь отвлечь жену от невеселых мыслей, он попробовал пошутить:

— Ты делаешь несомненные успехи в математике, хотя и недолюбливаешь ее, однако оперируешь такими понятиями, как нуль и отрицательные величины.

— Еще бы! Я устала и от того и от другого!

— Так не посидеть ли нам на скамеечке, — с улыбкой предложил Пьер.

Она посмотрела на него своими глубокими, когда-то синими, а теперь начинающими выцветать глазами и сказала:

— А ты не боишься, что нам придется сидеть в долговой яме?

— Ну почему же? Я ведь все-таки работаю.

— Ах, если бы работать и зарабатывать было бы одно и то же!

— Что ты имеешь в виду?

Пьер спросил, хотя хорошо знал, что у него нет больше таких ярких дел, как «спасение графа Рауля де Лейе», поставившее их когда-то на ноги. Казалось, вне всякой связи с предыдущим разговором Луиза сказала:

— Сюзанна вне себя из-за нашего переезда за город.

— Почему же? — удивился Пьер.

— Она говорит, что ей не с кем видеться здесь. И правда, даже до церкви нам добраться — целое событие.

— Что? Массандры приглашали? — догадался Пьер.

Она кивнула и поднесла платок к глазам, что означало невозможность бедной девушке воспользоваться этим приглашением, потому что нет ни кареты, ни выезда и она не может идти пешком по пыльной дороге в своем перешитом из материнского платье!

— Ну, у нее, по крайней мере, есть теперь хоть какое-то приданое, — растерянно напомнил Пьер.

— Кто же об этом узнает, когда мы загнаны сюда?

— Ну нельзя же так! — поморщился Пьер. — Ты жила с отцом в этом доме, и тебе это не помешало выйти за меня замуж.

— Не тронь этого! Не тронь! — простонала Луиза и зарыдала, уткнувшись лицом в платок. — Меня находили здесь женихи, а я...

«Отказывала им, чтобы теперь страдать со мной», — добавил про себя Пьер.

— Это все из-за того, — сквозь слезы улыбнулась Луиза, — что моя тень никогда не достанет облака, а волочится по земле... за тобой, — добавила она совсем тихо и пошла, не оборачиваясь, по дорожке.

Пьеру было бесконечно жаль ее — он не сумел дать ей всего, что она заслужила. Весь поникнув, опустился он на скамейку, слушая шуршание удаляющегося платья.

Свесив на грудь голову, он задумался. Длинные седеющие волосы прикрыли ему лицо.

Из глубокого раздумья его вывел звук приближающихся шагов.

Он подумал, что это возвращается Луиза или послала за ним кого-нибудь из детей, но, подняв глаза, увидел, что по аллее идет статный и элегантный молодой человек с тросточкой, в светлой шляпе с высокой тульей (прообраз будущего цилиндра), в белых перчатках, в панталонах с изящными бантами, в чулках и модных ботинках.

— Самуэль! — воскликнул Пьер Ферма, вскакивая навстречу сыну. — Как я рад твоему приезду!

— Не более меня, видящего тебя! — с улыбкой произнес щеголь, целуя отцу руку и обнимаясь с ним.

— Ну как? Что ты? Каковы твои дела? — обрадованно спрашивал счастливый отец.

— Благодаря тебе все великолепно, отец! Перед тобой — компаньон книготорговца! Переданные тобой деньги я поместил в это дело, чтобы быть независимым и вместе с тем содействовать процветанию французской культуры.

— Ты сделал правильно, мой мальчик. Я рад, что тебе удастся заниматься наукой без помех.

— Конечно, проданные книги будут кормить меня и одевать, и, как видишь, неплохо.

— Да, ты выглядишь франтом.

— У нас в Париже иначе нельзя! Ведь я вращаюсь среди художников и поэтов, иногда попадаю и в светское общество, где даже знают некоторые мои стихи.

— А ученые?

— Они тоже знакомы со мной и, представь, уважают, однако не за мои скромные успехи, а за то, что я твой сын.

— Ну, это ты напрасно!

— Вовсе нет! Я воспринимаю это с удовлетворением, более того, с гордостью!

— Перестань, пожалуйста! Я ведь не люблю славословия.

— Это я знаю. Ты даже гнушаешься изображением слов на бумаге. Продавая сейчас книги, я мечтаю видеть среди них и твое собрание сочинений. — Говоря это, Самуэль смахнул белоснежным платком пыль со скамейки, опустился рядом с отцом и оперся подбородком о слоновой кости набалдашник трости. — Я приехал, отец, настоять на завершении твоей работы над собранием сочинений. Сколько можно еще тянуть? У меня есть знакомые издатели, которые с радостью издадут твои книги, сочтут это патриотическим долгом!

— Ах, Самуэль! Эта черновая работа, переписывание давно сделанного, без поиска нового не по мне, не по мне!

— Вот ты всегда так, отец! Не могу же я учить тебя! Я лишь забочусь о том, чтобы великое, сделанное тобой, стало достоянием многих людей.

— Я всегда следовал Пифагору, говорившему: «Делай великое, не обещая великого». Что я могу сказать о мною сделанном? Что оно недостаточно! Разве только: «Потомство будет признательно мне за то, что я показал ему, что древние не всё знали, и это может проникнуть в сознание тех, которые придут после меня для передачи факела сыновьям...»

— Подожди, отец, я запишу эти слова.

— Я уже написал их в письме к Каркави[[31]](#footnote-31), а закончил его словами: «Многие будут приходить и уходить, а наука обогащаться».

— Но ты, отец, как никто другой, сумел обогатить ее.

— О нет! Крайне мало! Я рад поговорить с тобой об этом. Наша с тобой дружба, я не ошибусь, говоря это, зиждется на понимании тобой того, что я делаю.

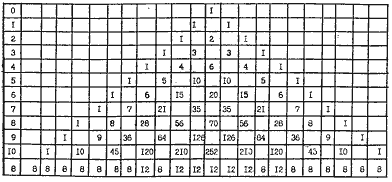
— Конечно! Ради этого я и избрал для себя стезю ученого.

— Только тебе здесь могу я рассказать о самом для меня важном. Еще один мой друг, немногим старше тебя, Блез Паскаль, которого ты знаешь, постоянно побуждает меня и к поискам, и к публикациям. Это он буквально принудил меня опубликовать вместе с ним (я не мог обречь на забвение сделанную им часть работы!) былые мои находки в области теории вероятностей, которым, кстати говоря, ты обязан своим участием в книготорговле.

— Я понял и не забыл. Что же Паскаль, отец?

— Он знал мое давнишнее увлечение суммой двух величин, возведенной в какую-то степень (x + y)n, где n любое целое число. И он прислал мне замечательную таблицу коэффициентов для членов многочлена, получающегося при возведении в степень бинома при всевозрастающих степенях. Ты только вглядись, какой непостижимой красоты эти расположенные в виде треугольника числа. Я назвал их «треугольник Паскаля»[[32]](#footnote-32)!

###### Значения коэффициентов для порядковых членов



Эта таблица напомнила мне мою давнюю работу в Египте, подаренную замечательному арабскому ученому Мохаммеду эль Кашти, который, оказывается, трагически погиб от руки невежд. В треугольнике Паскаля, как и в моей таблице пифагоровых чисел, можно заметить математические закономерности, прогрессии рядов. Смотри: первый косой ряд, состоящий из одних единиц, имеет показатель арифметической прогрессии, равный нулю, второй — последовательный ряд чисел — единице. Третий — величине степени «n». Четвертый сложнее: каждый последующий член больше предыдущего на сумму степеней от нуля до рассматриваемой степени. Дальше еще сложнее.

— Это действительно увлекает.

— Что ты! Это пустяк по сравнению с истинной вершиной красоты. Зачем все эти сложные математические зависимости, если все определяет единственная, но всеобъемлющая? Всмотрись внимательнее в таблицу и, пожалуйста, не разочаровывай меня. Ищи!

Самуэль с интересом вглядывался в письмо Паскаля.

— Отец! Это непостижимо, я просто случайно наткнулся на удивительное свойство! Ведь каждое число в таблице равно сумме двух, расположенных над ним в предыдущем горизонтальном ряду!

— Браво, мой мальчик! Ты будешь ученым! Если искать подлинную математическую красоту, то вот она! Удивительное свидетельство существования таких математических тайн, о которых мы и не подозреваем[[33]](#footnote-33).

— Да, отец, я понимаю тебя. Есть от чего прийти в восторг! Мне это представляется пределом достижимого.

— Как ты сказал? — сощурился Пьер Ферма. — Пределом достижимого? Пусть никогда эта повязка не закрывает твоих глаз ученого. Никогда воображаемый или даже увиденный «предел достижимого» не должен останавливать тебя в будущем как ученого.

— Я понимаю тебя, отец, и не понимаю.

— Я признаюсь тебе, Самуэль. Красота математической зависимости в таблице — это лишь сочетание граней частных случаев. А подлинная, всеобъемлющая красота — в обобщении. Ты понял меня?

— В обобщении? Ты хочешь сказать, что можно представить бином в какой-то степени в общем виде?

— Именно эту задачу я и поставил перед собой.

— Ты восхищаешь и поражаешь меня, отец. Придя в такой восторг от открытия Паскаля, ты пытаешься уйти вперед, возвыситься над таблицей частных значений!

— То, что может быть вычислено, должно и может быть представлено в виде универсальной формулы.

— Неужели ты нашел ее, отец?

— Да. Я еще никому не показывал ее, но подготовил письмо Каркави, заменившему почившего беднягу аббата Мерсенна, чтобы тот разослал копии европейским ученым. Журнала у нас все еще нет.

— Но, отец, не требуй от близких больше того, что они способны дать.

— Ты учишь меня разумному. Я всю жизнь стараюсь руководствоваться этим принципом.

— Так покажи мне формулу и вывод ее.

— Ты хочешь, чтобы я нарушил свой принцип? Нет, друг мой и сын мой! Даже для тебя я не сделаю исключения. Хочешь видеть мой БИНОМ, пожалуйста. Но получить его с помощью математических преобразований попробуй сам. Я хочу убедиться, что ты станешь подлинным ученым.

— Но я не решусь соперничать с тобой.

— Это не соперничество. Труднее всего достигнуть конечной цели, не зная ее, а если она известна, то дорогу к ней найти легче.

— Но ко многим указанным тобой целям ученые так и не могут найти дороги. Потому так и ждут твоего собрания сочинений.

— Ты опять об этом. Лучше я тебе покажу свою формулу: (x + y)n = (Mx + y)n + (x + My)n! — Он написал ее тростью сына на песке.

— Но как же мне найти дорогу к этой вершине?

— Я чуть-чуть помогу тебе, из отцовских чувств, конечно! Видишь ли, когда-то я предложил систему координат, которой воспользовался, в частности, мой друг Рене Декарт.

— Ему нужно было бы при этом больше сослаться на тебя.

— Я предложил систему координат, чтобы ею могли пользоваться все математики, которые найдут ее удобной, и не требую от них специальных поклонов в мою сторону.

— Ты остаешься самим собой, отец! Право, хотелось бы позаимствовать у тебя такие примечательные черты характера, которые поднимают тебя и надо мной, и над всеми. Итак, система координат?

— Теперь я пошел дальше. Ведь никогда не надо останавливаться на достигнутом. Я решил воспользоваться сразу двумя системами координат — прямой и перевернутой. Это позволило мне создать метод совмещенных парабол.

— Очень интересно! Но как это понять?

И Пьер Ферма стал объяснять сыну суть своего метода[[34]](#footnote-34), снова взяв у него трость, чтобы чертить на песке.

Ферма закончил формулой xn + yn = zn и вернул сыну трость.

— Но ведь это же Диофантово уравнение! — воскликнул Самуэль.

— Ты прав. Мне еще придется заняться им. Примечательно, что оно получается из геометрического построения. Этим же построением можешь воспользоваться и ты, если не раздумал еще доказать формулу моего «бинома».

— Я попробую, отец, но ты, вероятно, переоцениваешь мои силы.

— Напротив, я надеюсь на тебя! Передаю тебе факел, как написал в своем письме.

— Сестричка! — воскликнул Самуэль.

На аллее показалась Сюзанна, худая и прямая, с холодным красивым лицом, так гордо несущая голову, что взгляд ее серых глаз казался едва ли не надменным.

— Мама просит к столу. Обед подан, — пригласила она.

Отец и сын поднялись и зашагали следом за девушкой, невольно любуясь ее осанкой. Она только раз обернулась, чтобы бросить на брата оценивающий взгляд. Тот, сняв шляпу, шутливо раскланялся.

За столом собралась вся семья, все семеро Ферма.

Жанна, строгая и заботливая, опекала четырехлетнюю Эдит; Жорж не вымыл руки, за что получил от нее выговор; Сюзанна не обращала на младших никакого внимания. Луиза сидела с красными глазами, так и не оправившись от недавнего разговора с мужем.

— А к нам, к садовой калитке, приезжал сегодня верхом молодой Массандр. И совсем даже не ко мне, — заявил Жорж. — К нему бегала Сюзанна. Вот!

— Замолчи за столом! — прикрикнула на него Жанна, заметив, как презрительно улыбнулась Сюзанна.

— Сладу с ним нет! — вздохнула Луиза. — Ты бы хоть старшего брата постыдился!

— А что мне стыдиться? Ведь не я с Массандром целовался, а Сюзанна.

Сюзанна с шумом отодвинула тарелку и с гордым видом вышла из столовой.

— Ну вот! Все вместе посидеть не можем! — плачущим голосом произнесла Луиза.

— Я сейчас приведу ее обратно! — вызвалась Жанна и выскочила из-за стола, погрозив кулаком Жоржу.

А тот сидел, расплывшись в озорной улыбке до ушей.

Сестры вернулись вместе и сели за стол как ни в чем не бывало.

Пьер Ферма понял только одно. Хочет он того или не хочет, но, видно, придется ему породниться с бывшим прокурором, ныне главным уголовным судьей Массандром. Вот уж чего не мог он предвидеть тридцать лет назад! Но годы меняют все!

Самуэль был оживленным, острил, рассказывал про Париж, заставляя сестер замирать от восторга.

Маленькая Эдит заявила, что обед невкусный и что Жорж ее все время толкает.

Словом, обед прошел в дружной семейной обстановке.

После обеда Пьер Ферма направился в свой кабинет отдохнуть, а Самуэль уединился для решения заданной ему отцом задачи.

Вечером они встретились. Самуэль сиял. Он был уже без шляпы и сменил парижский костюм на дорогой халат, какой его отец никогда не позволил бы себе купить, но сын спешил к отцу с такой всепобеждающей улыбкой, что Пьер не сделал ему замечания за расточительность.

— Я нашел, отец, нашел! Это замечательно! Теперь я понимаю, почему ты не даешь вывода к своим формулам! Ты оставляешь ученым высшее наслаждение от самостоятельной находки!

Пьер Ферма отвел сына в кабинет.

— Ну, показывай, — предложил он.

Самуэль вытащил из кармана халата сложенный листок бумаги.

— Вот он, твой «бином»! — протянул он отцу листок.

Пьер Ферма мельком взглянул на вывод своей формулы[[35]](#footnote-35) и обнял сына.

— Вот теперь можно говорить о «биноме Ферма».

— Почему только теперь? — удивился сын. — Разве формула не могла носить твоего имени?

— Сын мой Самуэль! Я совсем другое понимаю под словами «бином Ферма». Это — ДВОЕ ФЕРМА! Понял? — И он весело рассмеялся.

Вошедшая в кабинет Луиза удивилась беспричинной радости мужчин. Она звала их ужинать.

#### Глава пятая.

#### «СЕРЫЙ КАРДИНАЛ»

Те, кто не испытывает стыда, уже не люди.

Китайское изречение

Кардинал Мазарини был вне себя от ярости, но это никак не отразилось на его узком, красивом и аскетическом лице с тонкой полоской губ и всегда опущенными, по-итальянски жгучими, но смиренными глазами.

Он перечитывал изысканно-оскорбительное письмо лорда-протектора Англии Оливера Кромвеля, надменно подчеркивающего, что он переписывается лишь с кардиналом Мазарини, а не с французским монархом Людовиком XIV, с прошлого года изволящим праздновать свое совершеннолетие в безудержном веселии и беспутстве двора, олицетворяя тем всю полноту своей абсолютной королевской власти (после достигнутой Мазарини победы над Фрондой). В своем письме Кромвель не оставлял никаких надежд на совместные военные действия Англии и Франции (чего так усердно добивался Мазарини), поскольку во Франции находятся люди, ставящие своей целью унижение британской нации и возвеличивание французской. И в качестве примера Кромвель многозначительно сослался на прилагаемую им к письму книгу профессора математики Оксфордского университета Джона Валлиса с полемической перепиской, возникшей в результате дерзкого вызова Пьера Ферма всей Англии, дабы доказать неспособность англичан подняться до его «французского» уровня!

Мазарини, закусив узкие губы, тщательно изучил переписку, убедившись, что англичане действительно не смогли найти регулярного метода решения предложенного Пьером Ферма уравнения, — ни сам Джон Валлис, ни сэр Бигби, ни другие математики.

Лишь лорду Броункеру удалось прийти к мысли, что «a» следует разложить в непрерывную дробь и рассмотреть подходящие дроби к ней[[36]](#footnote-36). Но и это оказалось далеким от требуемого Ферма общего решения.

Итальянцу Мазарини было безразлично торжество французской нации. Ему требовалось лишь торжество его власти!

Поморщившись, он отложил в сторону книгу Валлиса и, перебирая тонкими пальцами четки из драгоценных камней, задумался.

Мазарини не умел прощать. И этот юрист из Тулузы, злоупотребляющий арифметикой, заслуживает пристального к себе внимания. Так бесцеремонно и бездумно вторгаться в высокую политику и путать расчетливо разложенные карты может или глупец, каким Ферма не признаешь, или дерзостный и опасный враг королевской власти, олицетворяемой в Мазарини. И этот враг заслуживает возмездия!

Еще никому не сходило с рук встать поперек дороги «серому кардиналу», хотя бы тот и оставался, как всегда, в тени. Но из этой тени могли протянуться нити зловещих паутин, способных опутать самых могучих владетельных вассалов, а не то что какого-то судейского из Тулузы!

Однако кардинал Мазарини никогда не действовал неосмотрительно и тем более открыто. Чтобы обезвредить и наказать (или уничтожить) врага, требовалось все узнать о нем и его окружении, найти самые уязвимые места противника, не дав ему ничего заподозрить, и только после этого нанести решающий удар.

И тайные сыщики кардинала, получив задание, стали разнюхивать старые записи, расспрашивать пожилых людей, шныряя по Тулузе и ее округе. И вот теперь их секретные донесения рядом с злополучным письмом Оливера Кромвеля лежали на столе перед кардиналом в его скромном кабинете, где не красовались, как у его предшественника Ришелье, ни шкафы с бесценными книгами, ни былые боевые доспехи.

У «серого кардинала» в отличие от «красного кардинала» Ришелье был иной стиль жизни — не герцога в прошлом, а простого выходца из Италии, сумевшего благодаря своим способностям (и беспринципности!) стать незаменимым помощником Ришелье, а потом наследовать его власть, и у Мазарини выработались иные методы правления, менее блестящие, но не менее действенные.

Мазарини внимательно изучил все, что касалось жизни и деятельности метра Ферма на протяжении тридцати лет, с которым (Мазарини никогда не изменяла память!) он встречался еще при жизни кардинала Ришелье и даже по его поручению давал Ферма отеческое наставление.

И «серый кардинал» острым твердым почерком составил список предосудительных деяний магистра Прав и Чисел Пьера Ферма. Начинался он со срыва вынесения смертного приговора убийце маркиза де Вуазье графу Раулю де Лейе, сыну одного из вождей гугенотов, конечно, примыкавшего к Фронде. Затем освобождение из Бастилии его отца графа Эдмона де Лейе, старого гугенота, соратника короля Генриха IV. И тогда же содействие лжефилософу Рене Декарту в бегстве того из Парижа, где его ждало справедливое возмездие за богопротивные сочинения, осужденные самим папой римским! Затем шел нанесенный ущерб земельным владениям герцога Анжуйского с выигрышем судебного дела против него в пользу крестьянской черни. И позже Ферма постоянно использовал свои возможности в суде, становясь на сторону низших сословий, противопоставляя их интересы дворянству с его привилегиями.

И вот теперь чашу переполнял этот неуместный, вредный «вызов», спутавший все планы первого министра Франции! Срыв не какого-то там смертного приговора молодому графу, а военного союза с англичанами, который был так нужен и так возможен! Срыв из-за арифметических задач, что поистине надо рассматривать как злодеяние и государственное преступление против Франции!

Однако, поскольку нельзя решение или нерешение математических задач подвести под наказуемое законом деяние, придется искать кару, не менее действенную, чем вынесение судом смертного приговора.

В нахождении таких средств кардинал Мазарини был непревзойденным выдумщиком, и сам Ришелье мог бы склониться перед ним.

Мазарини изучал лежащие перед ним документы, как изучает шахматист позицию, прежде чем начать атаку.

Что ж, Пьер Ферма когда-то прямой атакой на короля выиграл шахматную партию у кардинала Ришелье, теперь он может сам послужить объектом атаки.

Рядом с донесениями сыщиков, описавших всю жизнь Ферма в Тулузе на протяжении трех десятилетий, а также всех, кто с ним так или иначе общался, лежали еще две жалобы, адресованные королю.

Одна из них принадлежала графу Раулю де Лейе, который всячески поносил советника парламента в Тулузе Пьера Ферма, «убежденного защитника бунтующих низших сословий, противника верного королю дворянства, который нанес материальный ущерб его жене Генриэтте, дочери герцога Анжуйского, отсудив в пользу грязных крестьян принадлежащие ей по праву земельные угодья». И граф де Лейе просил об отмене этого решения, навязанного суду советником парламента Ферма.

Об этом Мазарини знал и раньше, но сейчас жалоба Рауля де Лейе обретала для него особое значение.

Вторая жалоба была уже не от графа Рауля де Лейе, а от некой госпожи Орлетты де Гранжери, умоляющей короля отторгнуть от владений графа Рауля де Лейе земли, дарованные королем Генрихом IV отцу Рауля, графу Эдмону де Лейе, за заслуги в борьбе гугенотов с католиками. Эти земли, как утверждала Орлетта де Гранжери, по праву должны принадлежать не потомку безбожных гугенотов, в свое время едва не попавшему на эшафот, а древнему католическому роду де Гранжери, представляемому ныне ее сыном Симоном.

Эта жалоба побудила Мазарини поручить своим ищейкам узнать все о семействе де Гранжери, и в особенности в части отношений этого семейства с графами де Лейе.

Результат сыска оказался на редкость удачным и дал в руки кардинала незримые козыри, и он пригласил к себе на аудиенцию госпожу Орлетту де Гранжери, которая и ожидала сейчас приема, находясь в соседнем зале.

Мазарини возлагал на эту встречу определенные надежды, тщательно продумав, как вести разговор. Важно выяснить: стоит ли привлечь просительницу из Тулузы к выполнению своих планов?

Он дал молчаливый сигнал служителю в серой сутане, и через минуту тот ввел в кабинет ослепительную даму.

Если бы кардинал не держал всегда глаза опущенными, ему пришлось бы зажмуриться, так сверкала нарядом, драгоценностями и сохранившейся красотой черноволосая и черноокая красавица, присевшая перед поднявшимся ей навстречу кардиналом в глубоком реверансе, подойдя потом под благословение кардинала и благоговейно коснувшись влажными, упругими губами холеной кардинальской руки.

На ее склоненной голове под бриллиантовой диадемой кардинал успел заметить похожую на драгоценное украшение седую прядь, подобную Млечному Пути на ночном небе, единственную отметину тридцати лет, прошедших со времени, названного в донесении сыщиков.

Кардинал, не садясь и не поднимая век, внимательно изучал посетительницу.

Можно ли довериться ей? Впрочем, слепое доверие никогда не признавалось «серым кардиналом». Куда более надежно сочетание страха и выгоды, более глубоко действующих на человеческую натуру. И ничто так не объединяет людей, как ненависть, общая ненависть!

Мазарини считал себя (и не без оснований!) знатоком человеческих душ и человеческих лиц, их отражающих.

Подметив еще сохранившуюся у Орлетты де Гранжери былую демоническую красоту и затаенную страсть, «серый кардинал» решил, что может приступить к выполнению задуманного плана.

Первый министр Франции галантно усадил посетительницу, склонясь над ней и наслаждаясь пьянящим ароматом ее волос, наряда, шелестом ее юбок, близостью ее роскошного тела, но, безжалостно смирив свою плотскую сущность, перешел к делу, весьма и весьма сложному и запутанному, о чем посетительница и представления не имела. Он сел за стол, перебирая четки, и вкрадчиво начал:

— Так вы хотите, мадам, чтобы его величество передал вашему славному роду де Гранжери земельные угодья, когда-то отторгнутые у него королем Генрихом IV и переданные гугеноту де Лейе?

— Ваше высокопреосвященство, видит бог, что вашими устами глаголет сама истина, требующая справедливости!

Мазарини с удовлетворением отметил, как сверкнули черные глаза Орлетты при этих смиренных словах.

— Дочь моя, своей просьбой вы заставляете самого господа бога через его недостойного служителя заглянуть в глубь времен.

— Наш род гордится этой глубиной, ваше высокопреосвященство! — надменно вскинула голову Орлетта де Гранжери.

Кардинал уставился на перебираемые четки.

— Во всем ли можно гордиться, сударыня? — И елейным голосом добавил: — Вам придется напрячь память и помочь ради правды господней восстановить некоторые события.

— Я готова, отец мой, как если бы была в исповедальне.

— Да будет так! — чуть торжественно произнес «серый кардинал». — Пусть мое духовное звание позволит мне стать отныне вашим духовником.

— Я так счастлива, ваше высокопреосвященство! — воскликнула Орлетта, пряча в глазах тревожные искорки.

— Рад быть тому причиной, сударыня. — Кардинал тяжело поднялся из-за стола и, обойдя его, остановился перед смиренно поникшей женщиной. — Итак, в 1631 году вас постигло несчастье, в чем я соболезную вам всей душой.

— Да, ваше высокопреосвященство, мой муж, господин де Гранжери, был подло убит на поединке с проезжим мушкетером, имени которого не удалось установить, несмотря на мою просьбу к посетившему меня в день похорон мужа советнику парламента в Тулузе.

— Каково было его имя, сударыня?

— Пьер Ферма, отец мой. Я взывала о мести, да простит меня господь, но слова мои остались не услышанными черствым сердцем судейского.

— Запомним это. — Кардинал сделал два шага от стола и вернулся с опущенной головой. — В какой день, дочь моя, состоялась дуэль вашего мужа с мушкетером?

— Во второй понедельник июля того несчастного для меня года, святой отец мой.

— 1631-го, не так ли? А когда произошли похороны?

— Ровно через две недели, отец мой, в третий вторник.

— И ваш муж, смертельно раненный, так долго страдал? — И кардинал участливо нагнулся к своей гостье.

— Я делала все, чтобы облегчить его страдания, ухаживая за ним как жена и сиделка.

— Допустим. — Кардинал резко выпрямился. — А в какую ночь был убит в Тулузе маркиз де Вуазье?

— Право, не знаю, я не была с ним знакома.

— Но с ним был знаком, молодой тогда, граф Рауль де Лейе? Не так ли? — вкрадчиво спросил кардинал.

— Возможно, сударь, но я не знаю...

— Но не встречались ли вы с кем-либо в ночь гибели маркиза?

— Что вы, ваше высокопреосвященство! Мой муж был в таком состоянии. Его нельзя было оставить ни на минуту!

Голос кардинала стал жестким:

— А почему, как вы думаете, приехал к вам в замок этот советник парламента в Тулузе, Пьер Ферма? Не хотел ли он спасти с вашей помощью графа Рауля де Лейе?

— Право, отец мой, я не знала причины его приезда.

Кардинал снова нагнулся к Орлетте:

— А если я вам, как ваш духовник, подскажу эту причину?

— Я вам поверю всей душой, — отозвалась она, поникнув головой.

Мазарини заговорил задумчиво и вкрадчиво:

— Но надо, чтобы и я поверил вам, как на вашей исповеди, дочь моя. Раулю де Лейе грозила тогда смертная казнь за убийство маркиза де Вуазье, оправдать его перед судом могла лишь одна знатная дама, с которой он провел ночь убийства маркиза. Только эта дама, — внушительно добавил он, — могла ценой своей репутации спасти любовника.

— О боже! Отец мой! Но господин Ферма не спрашивал меня об этом.

— Не спросил? Это не делает ему чести как проникновенному советнику суда. — И Мазарини снова прошелся по кабинету.

— Но разве я... разве я тогда могла бы помочь графу Раулю де Лейе? — пролепетала Орлетта де Гранжери.

Кардинал остановился в обличающей позе с протянутой рукой:

— Ну, вот видите, как неискренни вы на исповеди перед своим духовником, дочь моя! Именно вы могли бы спасти его, но ваше молчание заставило метра Ферма найти другие пути, чтобы выгородить вашего любовника, к которому вы примчались в Тулузу, оставив ради этого греховного свидания умирающего мужа без так необходимого ему ухода. Не так ли?

— Ваше высокопреосвященство! — Орлетта сползла с кресла и упала на колени перед своим «духовником». — Вашими святыми устами говорит сам всевышний господь бог, изобличая грехи мои, об отпущении которых молю вас. — И она спрятала лицо в ладонях.

— Иначе и быть не могло, — заверил Мазарини. — Но продолжим исповедь. Сколько лет, дочь моя, вашему сыну Симону?

— Он родился в мае следующего за смертью мужа года, отец мой.

Мазарини стал перебирать тонкие, украшенные перстнями пальцы.

— Какое же это время прошло со дня зачатия?

— Это время установлено самим господом богом, — краснея от смущения, произнесла Орлетта, отняв ладони от лица.

— А не кажется ли вам, мадам, что ваш ребенок, как мне показалось сейчас, родился на месяц позже, чем предусмотрено всемогущим господом нашим?

Орлетта вздрогнула всем телом, приложила кружевной платок к глазам и разрыдалась.

Кардинал положил ей руку на голову:

— Я только хочу установить необходимые связи, дочь моя, ничего не замышляя против вас, а стремясь лишь помочь вам объяснить мне и господу богу в моем лице, почему вы подаете теперь королю жалобу на графа Рауля де Лейе в пользу своего сына Симона. Не хотите ли вы просить короля, моля о том же всевышнего, чтобы земли подлинного отца вашего сына перешли к нему, Симону?

— Это так! Ах, это так! — рыдая говорила Орлетта де Гранжери. — Ничто не укроется от ваших глаз! Но молю вас, как духовника, сохранить эту тайну исповеди.

Кардинал ласково поднял ее с пола и усадил в кресло.

— Вы все знаете, как сам господь бог. Вам надо было бы быть папой римским, — сквозь слезы лепетала Орлетта.

— Но уверены ли вы, что я один, как ваш духовник, владею этой тайной?

— Кто же еще? Ах боже мой! Мое сердце не выдержит!

— О таких тайнах знают всегда двое: вы и ваш избранник. Но в минуту смертельной опасности он мог раскрыться ради спасения жизни советнику парламента, чтобы тот взялся доказать, что обвиняемый провел ночь с вами, а не дрался на дуэли с маркизом.

— Боже мой! Этот Пьер Ферма!

— Именно так, дочь моя. Ради этого он и приезжал к вам.

— Но за тридцать лет он не открыл тайны!

— В этом не было нужды, дочь моя. Но теперь, когда вы поднимаете руку на графа Рауля де Лейе, претендуя на его земли, Пьер Ферма, как его старый друг, который, как следует вот из этого документа, — и кардинал показал издали жалобу Рауля против Ферма, — готов на любые разоблачения ради выигрыша дела!

— Это ужасно! Спасите меня и моего сына Симона от этого изверга, ваше высокопреосвященство!

— Успокойтесь, сударыня, я лишь хотел открыть вам глаза на вашего истинного и самого опасного врага.

— Ах боже мой! Я слабая женщина! Что же мне делать, ваше высокопреосвященство?

Кардинал обошел стол и вернулся в свое кресло.

— Защищаться, баронесса, защищаться, как волчица, когда нападают на ее волчонка.

— Бог мой! Но я не волчица и тем более не баронесса, — насторожилась Орлетта.

— Вы не были баронессой, входя в этот кабинет, но... если окажетесь волчицей, то уйдете баронессой. Король по моей просьбе дарует вам этот титул, и ваш сын, барон Симон де Гранжери, будет достойным продолжателем знаменитого рода верных католиков.

— Боже мой, у меня кругом идет голова! Что же надо сделать, чтобы быть волчицей? — усаживаясь поудобнее в кресло, спросила Орлетта.

— Кусать, сударыня, кусать, обороняясь, помня, что ваш самый опасный враг — это метр Пьер Ферма, которого в свое время вам следует привлечь в тяжбе с графом Раулем де Лейе на свою сторону.

— Зачем же привлекать врага?

— Чтобы обезвредить, сударыня. Наша святая католическая церковь учит нас обузданию врагов любовью. Я подарю вам сейчас, баронесса, перстень из Ватикана. Это перстень любви и смерти. Его носил на пальце один из святых римских пап. Я вывез его из Италии, и он ждал своего часа. Если этот перстень опустить в бокал вина, то тот, кто выпьет его залпом, познает радость, тот же, кто промедлит пять — десять минут и осушит его не сразу, уже не узнает никаких горестей, уготовленных ему в жизни. В том и другом случае святой перстень несет благо господне. — И «серый кардинал», сняв с пальца богатый перстень, передал его Орлетте де Гранжери.

Бледная, едва передвигая ноги, поднялась она с места, снова присела в глубоком реверансе и поцеловала руку благословляющего ее столь высокого духовника.

Она прошла через приемную, наполненную раззолоченными мундирами генералов и иностранных послов, сопровождаемая служителем в серой сутане, который, выйдя на мраморное крыльцо, зычно гаркнул, от чего у Орлетты замерло сердце:

— Карету баронессе де Гранжери!

Она вертела на пальце кольцо кардинала, подумав, что у него такие же длинные и тонкие пальцы, как у нее.

Потирая эти свои чуткие пальцы, «серый кардинал» расхаживал по кабинету, старательно запахивая полы серой сутаны, чтобы не виднелась ее красная кардинальская подкладка.

Меж его тонких губ блеснула полоска стертых желтоватых зубов. Он улыбался, неплохо начав игру против Пьера Ферма, лучше, чем вел ее на шахматной доске сам Ришелье!

Но «серому кардиналу» не привелось увидеть результат завязанной им интриги. Шел 1660 год, а через год Мазарини не стало.

#### Глава шестая.

#### ВЕЛИКАЯ ТЕОРЕМА

Посев взойдет для жатвы народной.

Д. И. Менделеев

Робкое появление Луизы в кабинете, куда она избегала входить из-за угнетающих ее математических рукописей мужа, удивило Пьера Ферма, и он поднял на нее вопрошающие глаза.

— Я принесла тебе поручение председателя парламента метра Массандра заняться тяжбой баронессы де Гранжери с графом Раулем де Лейе.

Пьер Ферма слышал об этом тянущемся годы деле, знал, что баронесса Орлетта де Гранжери обещала Массандру не пожалеть средств. Но почему Массандр поручает дело ему? Конечно, здесь не обошлось без Луизы!

Виновато опустив глаза, она догадалась о мыслях мужа:

— Ну да, я просила метра Массандра помочь нашей семье.

Пьер отодвинул от себя свою настольную книгу «Арифметика» Диофанта, где наконец решился записать свое замечание к 8-й задаче II книги[[37]](#footnote-37), которое принято считать 11-м, привлекшим внимание математиков всего мира, и с иронией сказал:

— Так ведь добрейшего дядюшки Жоржа нет.

— Зато есть трехлетний Жорж! Это самый интересный детский возраст. Ты бы видел, как млеет Массандр, держа внука на руках, а тот лопочет уморительные вещи!

— И просит деда Массандра подбросить выгодное дельце — другому деду — Ферма?

— Ну зачем ты так? Ты знаешь, что родственникам не принято отказывать. Сюзанна тоже просила свекра помочь нам.

Ферма откинулся на спинку кресла.

— И Сюзанна тоже? Как они все угадывают! Род католиков против рода гугенотов — верное дело! Сам кардинал Мазарини обещал помочь баронессе, и, если бы не его кончина, она получила бы все, чего добивалась. А граф Рауль де Лейе лишился высокого покровителя после смерти герцога Анжуйского! А его величество король Людовик XIV не любит споров между вассалами и после долгих раздумий повелел парламенту в Тулузе рассмотреть тяжбу. Почему же мне надо выступать против Рауля? Потому что он не проявлял своей дружбы?

— Ну что ты, Пьер! Кто об этом говорит? Это совсем не сведение счетов. Наша семья просто заинтересована в щедрости баронессы. Я умоляю тебя не вспоминать о своей былой дружбе с графом Раулем де Лейе. Своим пренебрежением к нам... Мне просто больно говорить. Ты же понимаешь, все понимаешь!

— Еще бы! Требуется приданое нашей второй дочери Жанне, превратившейся из утенка в лебедя! Все понимаю, но могу я дописать теорему, которую так долго обдумывал?

— Пьер, милый, ты прости меня. Я рискнула пообещать метру Массандру, что ты немедленно выедешь в Гранжери к баронессе. Метр Массандр уже назначил срочное слушание дела.

— Несколько лет волокиты, а теперь спешка?

— Разве ты не знаешь, всегда так бывает! Но мы не можем... понимаешь, не можем упустить этой возможности. И я прошу... ради всего прежнего прошу тебя... не отказывайся.

— Ну конечно! Все решено без меня... и ты, наверное, даже велела Жоржу оседлать иноходца?

— А как же! Я забочусь о тебе, Пьер. В январе темнеет рано. Два дня пути, надо успеть найти ночлег. Но зима нынче мягкая. Ты наденешь дорожный костюм, который я принесла, и теплый плащ.

— Ах боже мой! Что они со мной делают! Но ты позволишь мне хотя бы дописать теорему?

— Если обещаешь сразу сесть на коня.

— Я ограничусь только тем, что уместится на полях, заранее зная, что я «непрактичен и что запись моя, которую никто и не прочтет, ничего не принесет семье»!

Под собственную воркотню Пьер Ферма торопливо писал:

*«Ни куб на два куба, ни квадрато-квадрат и вообще никакая, кроме квадрата, степень не может быть разложена на сумму двух таких же*»[[38]](#footnote-38).

— Или я не прав? — поднял глаза от книги Пьер Ферма.

— Я докажу это тебе простейшим способом, — отозвалась Луиза, глядя в окно. — Вот Жан ведет оседланную лошадь, которая принесет тебе и всем нам доход. И что может быть убедительнее?

— У тебя поистине удивительное доказательство! — произнес Пьер Ферма и дописал свое одиннадцатое замечание к книге Диофанта:

*«Я нашел удивительное доказательство этому, однако ширина полей не позволяет здесь его осуществить* ».

Надо заметить, что в своих сорока пяти замечаниях, написанных на полях этой книги, Ферма не раз умудрялся уместить куда больше, несмотря на узость полей, но Луиза тогда не стояла над душой.

Ферма посыпал сухим мелким песком свежую запись, ссыпал его обратно в песочницу, захлопнул книгу и стал переодеваться.

Закутавшись в теплый плащ, сопровождаемый женой, он вышел из дома в сад, дойдя до той самой калитки, где некогда встречался с Луизой тайком по ночам.

Долговязый младший сын Жорж с озабоченным выражением на веснушчатом лице, стоя на краю вспаханного осенью под пары поля, держал смирного низенького иноходца, верного спутника всех деловых поездок Пьера Ферма по окрестным крестьянским домам.

К удивлению жены и сына, Пьер, тяжело сев в седло, направил коня не вдоль ограды к южной дороге, а через стоявшее под парами поле к старому дубу, от которого он когда-то шел к калитке, но отклонился, попав на свежую пашню, и ушел в темноте далеко в сторону, что позволило ему ценой несостоявшегося свидания открыть закон преломления света.

У двухсотлетнего дуба, которому и сорок лет не срок, он обернулся, рассмотрев вдали у калитки две фигурки, и помахал им рукой с горьким, щемящим чувством, будто не увидит их больше никогда...

Подавив это нелепое ощущение, он пустил коня спокойной иноходью, плавно покачиваясь из стороны в сторону, а не подпрыгивая в седле, как от уколов, при каждом шаге упругой рыси былого доброго коня дядюшки Жоржа, после чего в свое время Пьеру пришлось долго приходить в себя.

А вот и то место, где молодой тогда граф Рауль де Лейе распрощался с ним после освобождения из тюрьмы, спеша на любовное свидание и меньше всего заботясь о сохранении верности своей будущей невесте Генриэтте, готовый уступить ее хоть Пьеру Ферма.

Трудно представить себе более спокойную лошадь, чем иноходец Пьера Ферма, и пусть фатоватый мушкетер презрительно окинул его наглым насмешливым взглядом с высокого седла своего боевого приплясывающего коня. Пьеру Ферма, в его шестьдесят три года, требовалось не гарцевать, как на параде, а засветло добраться до знакомого трактира, где еще начинающим советником парламента разыскивал следы проезжего мушкетера.

Холодными и однообразно унылыми казались в пути зимние пейзажи с хмурым, затянутым беспросветными тучами небом, с обессилевшими, осевшими на голых сучьях придорожных деревьев птицами, словно уже отлетавшими свое. Опасно скользкой была чмокающая под копытами дорога, покрытая мутными лужами, рябыми от капель начинающегося холодного дождя или снежной крупы, и над всем этим — леденящий, пронизывающий до костей ветер, с диким воем мятущийся по мертвым, безлюдным полям.

Было от чего почувствовать гнетущую тяжесть на сердце, ощутить неосознанную тревогу, даже страх неведомого или вообразить себя в хвосте печального шествия с завываниями невидимых плакальщиц.

Ферма встряхнулся, призывая на помощь любимую свою математику, только она могла вырвать его из этого угнетающего окружения и перенести в знакомый ему мир строгих чисел и ясных законов, где нет места ни мистике, ни суеверию.

Дыхание призрачных похорон, коснувшееся было Ферма, обернулось воспоминанием о далеком и древнем кладбище с надгробной надписью, таившей изящную прелесть лаконизма скрытого в ней «неопределенного диофантова уравнения», заслоненного грубым, лежащим как бы на поверхности многочленом с одним неизвестным, доступным для решения неискушенным умам. Затем возникло в памяти подземелье храма бога Тота с изображением квадратов, расшифрованных им как ряды прямоугольных треугольников. И стоящий над всем этим строгий пифагоров закон, известный за тысячи лет до Пифагора, действительный только для прямоугольных треугольников, относящихся к «плоским местам», как называл их Ферма! А «пространственные места», подчиняются ли фигуры на них подобным закономерностям, начиная с куба, квадрато-квадрата, который представляет собой первую из «субпространственных фигур», требующих более трех измерений[[39]](#footnote-39).

Необходимо рассмотреть эти свойства с пером и бумагой в руках, что можно достать лишь в трактире.

Наконец за поворотом показались покосившиеся домишки, которые не стали лучше с того давнего времени, когда он проезжал мимо них, наткнувшись тогда на красующееся над трактиром деревянное колесо с телеги, зазывающее всех, кто едет, остановиться здесь на постоялом дворе.

Колесо висело на старом месте с прежним названием под ним: «*Ось в колесе* ».

Ферма спешился, и выскочивший парень с туповатым лицом и бегающими глазами принял у него лошадь, чтобы отвести на конюшню.

Войдя в трактир. Ферма увидел возвышающегося за стойкой грузного мужчину внушительного роста, совсем седого, но с лихо закрученными еще темными усами, сразу напомнившими ему гвардейца, которого, как сказали тогда в этом кабачке, выхаживала после ранения на поединке с мушкетером миловидная крестьяночка.

Пьер заказал себе ужин и вина. Трактирщик услужливо принес бутылку (предварительно намотав на нее паутину, свидетельницу старины) и, поставив ее на стол, подсел к гостю.

— Куда изволите путь держать, сударь?

— В замок баронессы де Гранжери, дружище. Не укажете ли, как туда проехать? Кажется, я бывал там, но давно, забыл дорогу. Да и не помню таких баронов, де Гранжери.

— А как же! Ха-ха! — оживился трактирщик. — Года четыре назад король пожаловал им такое звание, не знаю, за какие такие заслуги? Может быть, за то, что сын у нее родился после смерти мужа. — И он громко расхохотался.

— Значит, в былое время не было таких баронов?

— Не было, не было! Эх, годы, годы! Время былое, — вздохнул трактирщик, наливая стакан вина. — Память-то сдает, сударь! Что вчера было, как ветром выдувает из головы, а вот давно прошедшее держится, колом не вышибешь. Да и вышибать не хочется. Славное было время, сударь, при его высокопреосвященстве господине кардинале Ришелье, не правда ли? Вам не приходилось его видеть? Какой он молодец был, хоть ростом и не вышел! А как на коне скакал, даром что духовного звания! Ха-ха! Впрочем, генералиссимус!

— Мне пришлось раз с ним встретиться. А вам, дружище?

— Мне? Ха-ха! Мне-то приводилось — и не раз — видеть, как он мчался мимо нашего строя на боевом коне, в доспехах, словно остался герцогом, а не посвящен папой в кардиналы. Выпьем за его память!

— Мне бы хотелось выпить за память! Смотрю я на вас, дружище, и вспоминаю, кого я видел тридцать с лишком лет назад лежащим в постели после ранения в поединке с неким мушкетером.

— Придержите язык, сударь! И я что-то припоминаю. Ха-ха! Уж не вы ли были тем шпионом, которого подослал ко мне его высокопреосвященство, запретивший дуэли и среди своих гвардейцев? Я ведь не зря вас про него спросил.

— Я рад, что вы меня припоминаете. Но я был не шпионом его высокопреосвященства, а лишь советником парламента в Тулузе, стараясь выяснить имя проезжего мушкетера, который дрался на поединке с вами.

— А зачем вам было его имя?

— Чтобы спасти невинного человека, обвиненного в убийстве дворянина на поединке.

— Кто ж там кого убил?

— Убил маркиза тот самый мушкетер, который ранил и вас, дружище.

— Черт возьми! Ха-ха! — вскричал трактирщик. — Дело прошлое! Но не в правилах гвардейцев его высокопреосвященства господина кардинала Ришелье прощать своих врагов!

— Так вы действительно тот гвардеец?

— Конечно, я, сударь! Ха-ха! Ваше счастье, что я тогда шевельнуться не мог, так отделал меня этот проклятый мушкетер, не то я, заподозрив шпиона, проткнул бы его шпагой, как каплуна. Ха-ха! Но с тех пор, сударь, как я женился на своей женушке, выходившей меня после ранения, и купил на ее приданое этот трактир, не поднимаю больше руки ни на кого, разве что на кур и поросят для господ проезжающих.

— Рад снова с вами встретиться.

— Выпьем, сударь, по такому поводу.

Трактирщик приободрился, привычным движением опрокинул в себя стакан вина и наклонился к Ферма:

— Вы мой гость, сударь. У нас с вами давнее знакомство, так не назовете ли вы имя того мушкетера? Честное слово, я готов тряхнуть стариной, шпага у меня еще хранится в кладовке. Ха-ха!

— Мне бы не хотелось, дружище, называть имени этого мушкетера по некоторым соображениям, могу лишь сказать вам, что он сейчас стал одним из маршалов Франции.

Трактирщик-гвардеец многозначительно свистнул и налил снова вина и себе и гостю.

— Тогда выпьем за его здоровье! — предложил он.

Жена трактирщика в высоком белом чепце со сморщенным, но румяным лицом, принесла поднос с горячим ужином: жареного кролика с картофелем и сыр.

— Я вас сразу узнала, сударь, и велела мужу подсесть к вам. Не верила я, что вас тогда к нему подослали, уж больно сердечно вы со мной поговорили.

— Тогда присаживайтесь к нам, хозяюшка, — предложил Ферма, — а потом отведете меня в какую-нибудь комнатушку, где я смогу провести время до утра, воспользовавшись пером, бумагой и чернилами, которые вы мне принесете.

— Чего нет, того нет, сударь! — отрезал трактирщик. — Хоть мы с вами и хорошо вспомнили старое-былое, но записывать это, как я разумею, не стоит! Да и где нам найти эдакую редкость? Перо, бумагу, чернила? Ха-ха! Да за тридцать лет, что мы здесь стоим за стойкой, у нас впервые такое попросили. И хорошо делали, что не просили. Не люблю я писанины!

— Очень жаль, — вздохнул Ферма. — А шпагу своего мужа, сударыня, советую вам перепрятать подальше.

— Шпага? Что шпага? Ха-ха! Захочу и буду на ней дичь жарить, как на вертеле!

— Не слушайте вы его, сударь! Беда с ним, как напьется! Лучше кушайте, приготовлено по-нашему, по-крестьянски. А я пойду постелю вам постель. Небось устали с дороги.

Пьер Ферма закончил ужин и, оставив задремавшего у стола трактирщика, поднялся вслед за хозяйкой наверх в отведенную ему каморку.

Оставшись один, он снова вернулся к мыслям о пространственных и субпространственных местах, как он называл теперь невоображаемые фигуры многих измерений.

Итак, жрецы бога Тота изображали, по существу, решение бинома в квадрате, получая ряды наименьших прямоугольных треугольников. А если не квадрат, а куб, фигура вполне реальная? Можно ли графически, как делали древние жрецы, решить бином в кубе?

Понадобились мучительные раздумья, прежде чем лишенный пера и бумаги Ферма все-таки силой своего пространственного воображения представил себе куб, составив из отдельных частей, с шестью гранями, каждая из которых представляла собой тот самый составной квадрат, который изобразили на стене подземного храма египетские жрецы[[40]](#footnote-40).

Но как ни старался Ферма представить себе субпространственное место с четырьмя и больше измерениями, это не удавалось, пока он не забылся наконец сном. А во сне эти «невоображаемые фигуры» возникали перед ним с удивительной простотой и ясностью, но едва он проснулся поутру — они исчезли, но сознание того, что он их видел, представлял, рассматривал, осталось вместе с представлением, что они принадлежат к другой области, чем «плоские места», а потому закономерность «плоских мест» для «пространственных и надпространственных» не может иметь решений в целых числах!

И доказать это во сне не составляло никакого труда, недаром он в присутствии Луизы, подчиняясь своему математическому чутью, написал, что уже имеет удивительное доказательство, и вот оно пришло к нему! Осталось только дописать это его замечание на полях книги Диофанта! Или в замке Гранжери, где найдется, несомненно, и перо и бумага!

Утром парень с туповатым выражением лица и сонными глазами вывел для Ферма его оседланного иноходца. Трактирщик с женой провожали его как давнего знакомого.

Распрощавшись с ними, Пьер Ферма отправился по обстоятельно указанному трактирщиком пути.

Тучи рассеялись, выглянуло январское солнце, у Пьера повеселело на душе, но главным образом потому, что он *знал теперь свое «удивительное доказательство»*, которое вчера только нащупывал, ночью «увидел во сне»!

Ехать пришлось, как предупреждал гвардеец, довольно долго.

Изредка встречались крестьянские повозки, один раз промчалась карета с гербом на дверцах, запряженная четверкой белых лошадей, но, конечно, не из Гранжери. Баронесса увидела бы одинокого всадника на дороге, который мог оказаться советником парламента, встречи с которым ждала.

И если во время вчерашней непогоды ему лишь чудилась похоронная процессия, то сейчас, при солнечном свете, он сначала услышал далекий погребальный звон, а потом увидел наяву траурное шествие, растянувшееся по дороге к уже видимому кладбищу.

Впереди шествовал аббат в нарядном облачении с церковными служаками, за ними гроб несли четверо крестьян, а следом тянулись одетые в черное простолюдины, мужчины и женщины, вдова и нанятые плакальщицы горько плакали, их стоны разносились в холодном воздухе, сливаясь с далеким и грустным погребальным звоном.

Пьер Ферма придержал коня и, сняв шляпу, пропустил печальную процессию мимо себя.

В прошлый раз, едва ли не на этом месте, он присоединился к провожающим в последний путь дворянина де Гранжери, которому не привелось при жизни стать бароном, каким стал его сын. Какова игра судьбы!

Пьер Ферма хотел было и сейчас пройти вместе со всеми на кладбище, найти могилу де Гранжери, близ которой видел фигуру женщины в черном, безутешную вдову, как олицетворение любви, горя и ненависти, посвятив потом ей стихи, которые ей неизвестны. Но он раздумал, поскольку солнце близилось к закату, дни в январе коротки, и нужно было еще добраться до замка Гранжери.

Пьер Ферма направил лошадь бодрой иноходью к видневшемуся на холме строению, ни разу не ударив коня, а лишь сжимая и разжимая колени, заставляя тем чуткого друга выполнять желание всадника.

Замок оказался типичным загородным домом с мезонином и балконом, на котором на фоне угасающей зимней зари вырисовывался силуэт прекрасной женщины, какой запомнился Пьеру Ферма здесь тридцать с лишним лет назад.

Пьер даже зажмурился, чтобы видение исчезло. Ведь не могла же безутешная вдова остаться неизменной с того далекого времени! Может быть, это ее дочь? Но трактирщик говорил только о сыне, и то родившемся уже после смерти отца.

Кто же она, явившаяся из прошлого демонической тенью дамы, пылавшей любовью, горем и местью?

#### Глава седьмая.

#### ПЕРСТЕНЬ КАРДИНАЛА

Человек хуже зверя, когда он зверь.

Рабиндранат Тагор

У баронессы Орлетты де Гранжери никогда не было дочери, на балконе своего замка, поджидая приезда советника парламента из Тулузы, стояла она сама, спустившись потом при виде подъезжающего всадника.

Ферма был поражен необычайной ее внешностью. Седая прядь в ее волосах цвета вороньего крыла, восхитившая кардинала Мазарини, теперь, подобно речке от осенних дождей, разлилась, сделав серебристой всю левую часть головы, оставив остальное нетронутым. Орлетта искусно пользовалась этой своей особенностью и, оборачиваясь то одной, то другой стороной, как бы меняла свой возраст чуть ли не вдвое.

Некую сверхъестественность ее обаяния ощутил и Пьер Ферма: в профиль справа она казалась ему знакомой безутешной вдовой, требующей мести за горячо любимого мужа, а повернувшись лицом в другую сторону, превращалась в любящую заботливую мать взрослого барона.

Орлетта провела Ферма в дом, в просторную столовую, украшенную деревянными имитациями охотничьих трофеев, подлинными рогами оленей и клыкастыми кабаньими головами, усадила на стул с высокой резной спинкой и оказывала ему всяческие знаки внимания, без умолку говоря о дошедшей до нее славе Ферма как советника парламента.

Она украдкой вглядывалась в его усталое лицо, стараясь разгадать, кем он был для нее: возможным помощником или врагом, как уверял ее Мазарини? Открыл ли ему слабый мужчина Рауль де Лейе в страхе перед казнью ее семейную тайну?

— Я знаю, что у вас, блюстителей закона, — вкрадчиво начала она, — все основывается на бумагах, касающихся спорных земельных угодий. Я сейчас прикажу их принести.

— Распорядитесь, сударыня, если это вас не затруднит, принести и чистой бумаги, а также перо и чернила.

— Зачем вам бумага? Зачем перо и чернила? — насторожилась Орлетта.

— Вы думаете, сударыня, мне нечего будет записать?

— Нет, что вы! Я просто такая непрактичная, неумелая и... беззащитная. Все будет исполнено, как вы пожелаете! Мне очень жаль, — грустным голосом добавила она, отдав распоряжение вызванному слуге, — что вам ради меня, оставшейся в жизни безутешной, придется выступать в суде против графа Рауля де Лейе, с которым вы, кажется, связаны дружбой или былой услугой? Не так ли?

— Я служу закону, сударыня, а не отдельным лицам, интересы которых защищаю в том случае, когда они совпадают с моим представлением о законности и справедливости.

— Как это украшает мужчину! Но как трудно понять вашу сокровенную сущность, дорогой метр! Почему, например, вы, несомненно, рыцарь в душе, не сообщили мне имени убийцы моего мужа, о чем я вас просила в горестное мне время?

— Это имя, сударыня, спасло тогда графа Рауля де Лейе от позорной смерти, но вас поставило бы лишь в затруднительное положение, поскольку принадлежит сейчас маршалу Франции.

— Мой сын — воплощение дворянской чести — мог бы вызвать его на дуэль и отомстить за смерть отца.

— Я не знаю более искусного дуэлянта, чем этот маршал Франции, и, право, не хотел бы, чтобы вы испытали горечь еще одной утраты.

Орлетта вздрогнула.

«Еще одной утраты? На что намекает этот судейский? На роковую семейную тайну, известную ему? На былую потерю Орлеттой Рауля, который вместо того, чтобы жениться на ней, ждущей его ребенка, вероломно предпочел эту кривляку Генриэтту с приданым, несмотря на то, что той было все равно на ком остановиться: на кардинале Ришелье, на маркизе де Вуазье, на графе Рауле де Лейе или на всех вместе, если бы это удалось!»

Последний год был ужасным для Орлетты после неизвестно как полученной записки: «Призванный к себе Всемогущим Господом нашим кардинал Святой католической церкви молит бога, чтобы творящий чудо перстень защитил бы его духовную дочь от враждебных происков».

Подписи не было, но вкрадчивый голос «серого кардинала» звучал в ушах баронессы зловещим предупреждением, ибо кто-то и после его кончины наблюдал за выполнением его воли.

Орлетта, будучи когда-то рабой своей страсти к Раулю, а теперь слепой материнской любви к великовозрастному сыну, беспечному и пустому, чувствовала себя загнанной в угол, готовая превратиться, как требовал «серый кардинал», в «волчицу, защищающую своего детеныша»

— Ах, метр Ферма, — доверительно заговорила она. — Мой сын вырос без отца, и мой долг матери, давшей ему жизнь, найти и средства для его достойного существования, а он так расточителен и так красив! Почему я нуждаюсь в вашей неоценимой помощи, талантливый метр? Чтобы добиться отторжения у графа Рауля де Лейе земельных угодий, примыкающих к нашим владениям, как поручил суду это сделать его величество король Людовик XIV, да продлятся его дни!

— Его величество передал парламенту вашу тяжбу с графом де Лейе на рассмотрение, — уточнил Ферма.

Орлетта нахмурилась, оценивая ответ Ферма как свидетельство его враждебного отношения к ней.

Слуга принес пачку бумаг, перевязанных зеленой лентой.

— Ну вот и наши доказательства, — сказала баронесса, развязывая ленту. — Найти юридическое обоснование для удовлетворения моих притязаний — долг вашего юридического таланта, о котором все говорят, дорогой метр.

— Благодарю вас, баронесса, — поклонился Ферма и углубился в изучение принесенных бумаг.

Через некоторое время, заметив, что Ферма ознакомился с последним листком, баронесса с обворожительной улыбкой спросила:

— Ну как, дорогой мой метр, которому я доверяю счастье своего сына? Вы, кажется, еще ничего не записали, как хотели? Все ли ясно?

— Боюсь вас огорчить, баронесса, но из принесенных мне бумаг явствует, что земли, на которые вы претендуете, никогда не принадлежали роду де Гранжери. Король Генрих IV даровал их графу Эдмону де Лейе, отняв у мелких землевладельцев — крестьян.

— Что я слышу, досточтимый метр! — вспыхнула баронесса. — Уж не хотите ли вы сказать, что при отмене старого указа Генриха IV право на эти земли обретут не представители католического рода де Гранжери, владения коих к ним прилегают, а эти грязные крестьяне?

— Я не мог бы более точно выразить правовую основу этого дела, если исключить слово «грязные», применительно к землевладельцам, оставленным Генрихом IV без земель.

— Ну, знаете ли, метр Ферма! — с горечью воскликнула баронесса. — Я однажды уже разочаровывалась в вас как представителе закона, а вы заставляете меня сделать это еще раз! Я надеюсь на вашу помощь, а вы уже пророчите враждебное мне решение парламента!

— Ни в коей мере, баронесса! Высказали возможное решение парламента в Тулузе вы, а не я. Мне лишь пришлось отметить четкость вашего мышления.

— Тогда другое дело, дорогой метр, — с облегчением вздохнула Орлетта и продолжала уже ласково: — Мы с вами найдем иные слова, не правда ли? Парламент может и должен удовлетворить мои претензии, коль скоро господь смотрит с небес! Дарованные безбожному гугеноту земли должны быть отняты. И я хотела бы познакомить вас с владетельным бароном, кому эти земли должны принадлежать, с моим сыном Симоном, который, к счастью, вернулся, как я вижу в окно, с охоты. С этими мужчинами так трудно, поверите ли, метр! Несмотря на зимний месяц, он все-таки умчался со своими сворами гончих. Вот он! Знакомьтесь.

В столовую с шумом ворвались пять или шесть собак с грязными лапами, оставляя следы на полу, а за ними вбежал возбужденный охотник в короткополой шляпе с пером и воскликнул:

— Виват, мадам! Виват, мсье! Полюбуйтесь на мои охотничьи трофеи. Три зайца на отличный ужин! А как они удирали, вы бы знали! Дух захватывало от скачки! И еще лиса. А на волка придется устроить облаву.

Ферма смотрел на барона Симона де Гранжери и не верил глазам. Перед ним стоял молодой граф Рауль де Лейе, правда, чуть старше, чем был он, когда его обвиняли в дуэли, но, раскрасневшийся от скачки на холодном воздухе, Симон выглядел моложе своих тридцати трех лет, отчего сходство его с молодым когда-то графом Раулем де Лейе усиливалось.

Еще одно видение из прошлого вывело Ферма из равновесия, и он не удержался от возгласа:

— Право, мне почудилось, сударыня, что к вам в дом вошел ваш противник, тяжбу с которым вы хотели доверить мне.

— Ба! — глупо рассмеялся Симон. — И этот господин попался на мое сходство с враждебным нам графом де Лейе! Как бы мне получше это использовать? Явиться куда-нибудь вместо него?

Мать испепелила взглядом сына за его неуместное замечание, видя, какое впечатление произвело оно на Ферма. У нее уже не оставалось сомнений, что Пьеру все известно, что он обладает страшной тайной рождения Симона. Теперь она была права, ибо Ферма, с присущей ему проницательностью, сделал выводы из обнаруженного сходства. Звенья нанизывались в стройную цепь событий тридцатичетырехлетней давности.

«Так вот кто она, „знатная дама“, которая не поступилась своей репутацией для спасения любовника! Так вот какова безутешная вдова, жаждущая мести, но покинувшая смертельно раненного мужа, чтобы увидеться с молодым графом! Так вот к кому спешил на свидание Рауль сразу после освобождения из тюрьмы! И вот чей сын только что вышел из комнаты!» — промелькнуло в мыслях у Ферма.

Баронесса уже уверилась, что у нее нет иного выхода, как подчиниться воле покойного кардинала. Стараясь не выдать себя, она расспрашивала Ферма:

— У вас ведь тоже есть взрослый сын, мой метр?

— Да, сударыня, он ученый.

— Как это мило! Хочется пожелать, чтобы король пожаловал ему за его заслуги хотя бы титул барона.

— Благодарю, сударыня, но ученым пока не принято жаловать титулы аристократов, у них своя иерархия.

— Ах вот как? Их звания передаются по наследству?

— Не столько звания, сколько знания, сударыня.

— Я хочу, чтобы вы поняли меня как отец, дорогой метр. Для меня весь смысл жизни, вся сила моей нерастраченной любви — в Симоне! Конечно, вы, мужчины, осуждаете меня за это?

— Вы вынуждаете меня опровергнуть вас, сударыня.

— А вы умеете быть учтивым! Или я вынудила вас к этому?

— Нисколько, баронесса! Я вполне искренен.

«Кто из нас может быть искренним?» — с отчаянием подумала баронесса и с улыбкой предложила: — Не кажется ли вам, дорогой мой метр, милый мой метр, что нам с вами в соблюдение традиций нужно выпить хорошего старого вина за успех нашего дела?

Она предложила и ужаснулась, втайне надеясь, что он откажется. А он сказал:

— Я не уверен в вашем деле, баронесса. Мне не хотелось бы питать вас призрачными надеждами. У крестьян больше прав на эти земли, чем у вас, если отнять их у графа де Лейе.

Эти с присущей Ферма честностью сказанные слова были тем толчком, который помог Орлетте пробудить в себе демона зла: «Он выдал себя с головой! Рассчитывает, что граф де Лейе снова заплатит ему теперь за то, чтобы лишить части своих владений его истинного сына! Значит, Ферма несомненный враг, который не заслуживает ничего другого, кроме „уготовленного ему кардиналом“. О боже, боже! Дай мне силы!» — думала она, вся дрожа, но улыбаясь:

— И все-таки, милый мой метр, ставший почти родным для меня человеком, я не могу отказать себе в удовольствии выпить вместе с вами старого французского вина с виноградников благословенного юга Франции! Выпить за исполнение сокровенных желаний каждого из нас. Мое желание вы знаете, ужель у вас нет такого?

— У меня есть такое сокровенное желание, оно владело мной, когда я ехал к вам.

— Если так, то как же нам обойтись без вина? Я пойду распоряжусь, поскучайте две минуты. — И она вышла, шурша шелками.

Старый слуга в новой ливрее раньше чем она вернулась принес бутылку вина и два бокала тонкого хрусталя. Затем появилась и баронесса, странно бледная, покусывающая губу, неся для чего-то песочные часы и при виде Ферма превратясь в светскую даму:

— Вот перстень, милый метр. Он достался мне по наследству от матери. В нем — волшебная сила, способная выполнить заветные желания, и мое и ваше, если мы поочередно опустим перстень в свои бокалы и осушим их. Согласны?

— С моей стороны было бы верхом неучтивости не согласиться с вами, баронесса.

— Я опускаю перстень в свой бокал и, загадав желание, выпиваю вино первой, чтобы вы не подумали, будто оно отравлено.

— Баронесса! Как можно!

— Полно, полно! Теперь я перекладываю перстень в ваш бокал. Вы должны выпить вино раньше, чем пересыплется песок в песочных часах, загадав за это время свое желание.

— Если это игра, сударыня, то она не лишена романтичности, а я — поэт. Пока пересыпается песок в ваших часах, я успею, воспользовавшись вашим пером и бумагой, о чем мечтал по дороге к вам, написать свое сокровенное желание.

«Сам господь видит, что я не заставляла его ждать, пока перстень пролежит в его бокале пять минут, — старалась выгородить сама себя Орлетта. — Господь своей всемогущей десницей снимает с меня грех».

И она взглянула на первую написанную Ферма строчку, ощутив леденящий ужас, но не оттого, на что решилась, а от сознания последствий, если эта бумага будет кем-то прочитана, ибо на ней значилось: «Тайна разложения степеней». Какая наглость — писать донос в ее присутствии, пользуясь иносказаниями! Тайна есть тайна. Степени — высшее сословие. Разложение — распущенность нравов! Он пишет свою последнюю кляузу, пока пересыпается песок!

А Пьер Ферма увлеченно писал:

«Для доказательства нерешаемости в целых числах уравнения с разложением степени на два слагаемых в той же степени мы предлагаем метод, противоположный ранее предложенному нами методу спуска[[41]](#footnote-41), с помощью которого нам удалось обогатить математику целых чисел. Предлагаемое же доказательство сформулированной нами теоремы разложения степеней основывается на методе подъема[[42]](#footnote-42)».

Закончив описание своего «метода подъема», Пьер Ферма дописал:

«Если предложенное доказательство, основанное на противопоставлении свойств „плоских“ и „пространственных“ и „субпространственных“ мест, покажется тем, кто прочтет эти строки, удивительным, то это отразит и мое собственное отношение к найденному доказательству[[43]](#footnote-43), суть которых в „вероятностных кривых“».



Пока Пьер Ферма писал, песок в песочных часах успел пересыпаться. Баронесса куталась в принесенный платок, хотя от горевшего камина несло жаром. Ничего не поняв в появляющихся под гусиным пером строчках, она отвернулась, что избавило ее от того, чтобы видеть глаза гостя. А он, аккуратно сложив написанную бумагу, спрятал ее в карман камзола:

— Итак, сударыня, выразив свое заветное желание, как вы того пожелали, я искренне благодарю вас за перо и бумагу.

— И за вино, — хрипло напомнила Орлетта, одержимая теперь лишь стремлением овладеть «страшным», как ей казалось, документом.

— И за вино! — подхватил Ферма, залпом выпивая бокал.

Перстень звякнул, когда Ферма поставил бокал на стол. Ферма вынул его и передал баронессе:

— Теперь, если позволите, сударыня, я предпочел бы отдохнуть в комнате, которую вы мне укажете.

— О боже, что я сделала! — не удержалась от возгласа Орлетта и, спохватившись, добавила: — Ах, нет, нет, метр! Я до сих пор не позаботилась о вашем отдыхе. Камердинер заменит меня и проводит вас. — И она с таким отчаянием позвонила в колокольчик, словно это должно было спасти и ее и гостя.

Все тот же шаркающий ногами слуга в парадной ливрее появился в дверях и, поняв знак госпожи, сделал Ферма жест следовать за собой.

Ферма невольно зевнул, упрекнув себя в неучтивости. В голове у него шумело (какое крепкое вино, сразу бьет в голову!), и он, нетвердо ступая, пошел следом за слугой, отвесив готовой разрыдаться, смертельно бледной баронессе прощальный поклон.

Это был последний поклон великого математика XVII века Пьера Ферма!

Через час его не стало...

Орлетта с гулко бьющимся сердцем, со свечой в руках на цыпочках подошла к двери отведенной Ферма комнаты и некоторое время прислушивалась. Потом вошла в нее, готовая объяснить свое появление заботой о госте, а в глубине души надеясь, что перстень за годы «выдохся» и Ферма просто спит. Но он лежал на кровати, не раздевшись. Орлетта потрогала его руку и отдернула свою, ощутив мертвящий холод.

Он был мертв, как и предрекал «серый кардинал», в «святости своей и христианской любви» убеждая, что «он не узнает уже горестей, уготовленных ему в жизни...».

Дрожащими руками Орлетта стала обшаривать карманы гостя, пока не нашла недавно написанную «Тайну разложения степеней» — доказательство великой теоремы, которое в течение столетий будут тщетно стараться воспроизвести множество ученых. Но для Орлетты этот листок был разоблачением, грозящим низложением ее сына Симона из баронов в незаконнорожденного и бесправного человека. «Скорее, скорее уничтожить проклятую тайнопись, в которой ничего нельзя понять!»

И Орлетта, шепча клятву постричься в монахини, чтобы замолить свои великие грехи, поднесла бесценный для науки документ к пламени свечи — и через минуту доказательство Ферма его великой теоремы перестало существовать, от него не осталось даже пепла, растоптанного ногой будущей игуменьи монастыря кармелиток в Бетюне, превратившейся по воле умершего «серого кардинала» в «волчицу», а «человек хуже зверя, когда он зверь», как скажет впоследствии, размышляя о человеческой сущности, Рабиндранат Тагор.

#### ПОСЛЕСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ

От человека остаются только дела его.

М. Горький

9 февраля 1665 года в «Журнале ученых» («Journal des Savants»), который начал выходить во Франции взамен подвижнической переписки, которую вел до конца жизни аббат Мерсенн, а вслед за ним Каркави, был помещен некролог Пьеру Ферма.

В этом некрологе говорилось:

«Это был один из наиболее замечательных умов нашего века, такой универсальный гений и такой разносторонний, что если бы все ученые не воздали должное его необыкновенным заслугам, то трудно было бы поверить всем вещам, которые нужно о нем сказать, чтобы ничего не упустить в нашем „ПОХВАЛЬНОМ СЛОВЕ“».

И хотя уже при жизни Пьер Ферма был признан первым математиком своего времени, о его юридической деятельности говорится в том же «Похвальном слове» как о выполняемой им «с большой добросовестностью и таким умением, что он славился как один из лучших юристов своего времени». А о его поэтическом творчестве на латинском, французском и испанском языках говорилось, что «он писал стихи с таким изяществом, как если бы он жил во времена Августа и провел большую часть своей жизни при дворе Франции или Мадрида». После же его смерти, последовавшей «во время одной из служебных поездок» (как сказано, видимо, без каких-либо расследований обстоятельств его кончины), слава его не только умножилась, но поставленные им перед ученым миром, решенные им самим задачи были столь значительны, что на протяжении более чем трех столетий вызывали не только фундаментальные работы таких корифеев науки, как Эйлер, Лейбниц, Гюйгенс, Ньютон, Лагранж и другие, но и создание новых отраслей математики: теория вероятностей, теория алгебраических чисел, с помощью остроумнейших приемов которой ученые пытались доказать великую теорему Ферма, остающуюся и поныне маяком для искателей математических истин.

### ЭПИЛОГ

Мечты придают миру интерес и смысл.

А. Франс

Закрываем последнюю страницу романа, где действует Мним.

С кем же мы прощаемся? С автором, превратившимся на время в Мнима, чтобы, мечтая о своем герое XVII века, оказаться рядом с ним? Или прощаемся с самим великим математиком, каким он представлен в романе, рожденный своей славой и открытиями?

Но, быть может, «Мним» надо отнести все-таки к моему былому попутчику, неведомо как появившемуся в пустом купе движущегося поезда, «путешественнику во времени из прошлого в будущее»?

И наконец, не следует ли признать доказательство великой теоремы, записанное перед кончиной Пьером Ферма, к «мнимым доказательствам», не удовлетворяющим дотошных математиков?

Все эти вопросы в первую очередь мучили автора, и чтобы ответить на них, требовалось установить, существует ли на самом деле Аркадий Николаевич Кожевников?

Найти его взялся мой сын Олег Александрович, если помните, военный моряк, капитан 1-го ранга.

Связанный по службе наряду с другими флотами также и с Тихоокеанским, он во время полета на Камчатку с разрешения командования задержался на сутки в Новосибирске. И представьте, нашел нашего МНИМА!

Он побывал и у него на службе в Сибгипротрансе, и даже дома, убедившись в полной реальности его существования. Более того, он познакомил Аркадия Николаевича с уже начатым к тому времени мной романом. Аркадий Николаевич был настолько любезен, что прислал с моим сыном письмо, которое считал возможным включить в эпилог романа о Пьере Ферма, перед которым он преклонялся.

Письмо Аркадия Николаевича представляет, на мой взгляд, несомненный интерес для чистых математиков, поскольку гипотетически воспроизводит возможное доказательство великой теоремы, сделанное самим Пьером Ферма.

После долгих раздумий я все же не решился затруднить читателя путешествием в математические дебри, оставляя возможность для тех, кто не побоится этого, связаться с самим Аркадием Николаевичем Кожевниковым по адресу, который он вручил мне, как описано в прологе романа.

Однако строго математически обоснованный вывод А. Н. Кожевникова о том, что для полного доказательства нерешаемости в целых числах выражения xn + yn = zn при n > 2 достаточно убедиться в этом на любом примере с показателем степени больше 2 (что сделано самим Пьером Ферма для биквадратов!), совпадает с результатом того образного доказательства, которое записал мой герой романа Пьер Ферма в замке баронессы де Гранжери перед своей кончиной и которое, уничтоженное баронессой, не дошло до нас!

Для автора главное не столько в этом «доказательстве», сколько в образе великого математика, каким он ему представился, дела которого продолжают волновать ученых и в наше время.

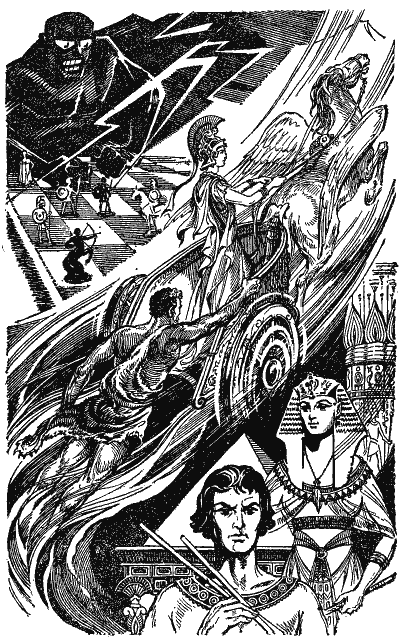
И примечательно — честное слово! — что Пьер Ферма жил именно в то «мушкетерское время», которое так красочно описал неувядающий Александр Дюма, но которое было не только эпохой острых шпаг и коварных интриг, но и острого ума гениальных ученых, знакомство с которыми может быть интересно читателю.

*Конец*

*Москва — Переделкино*

*1981—1982 гг.*

## РАССКАЗЫ



### КОЛОДЕЦ ЛОТОСА[[44]](#footnote-44)

Для мудреца вокруг тысяча загадок, для глупца или полузнайки — все ясно.

Индийская пословица

Блистательный молодой граф де Лейе, удививший несколько лет назад высший свет своим неожиданным уходом в скучный мир математики, в прошлый очередной четверг в салоне баронессы де Невильет так объяснил гостям свой поступок. Он рассказал занимательную историю трехсотлетней давности, когда его далекий предок граф Рауль де Лейе был спасен от незаслуженной казни за участие в запрещенной кардиналом Ришелье дуэли неким юристом из Тулузы Пьером Ферма, который отдавал свой досуг математике.

Вспоминая этот рассказ графа де Лейе, маркиз де Вуазье, далекий предок которого как раз и был убит на той злосчастной дуэли, спросил графа:

— Неужели, граф, чувство благодарности к спасителю вашего далекого предка так велико в вас, что вы решили заняться математикой всерьез, хотя этот Пьер Ферма занимался ею попутно.

— Видите ли, маркиз, — с галантным поклоном ответил граф де Лейе, — Пьер Ферма в свое время считался выдающимся юристом, но для нашего века он стал великим математиком прошлого, заложившим основы многих новых отраслей математики. Он шутя делал одно открытие за другим *и>* представьте, не публиковал своих выводов, предлагая современникам найти их самим. И только через сто лет другой великий математик, член русской Академии наук Эйлер, доказал все его теоремы, все, кроме одной. Математики мира вот уже триста лет тщетно ищут ее доказательство, которое, по словам Пьера Ферма, было «удивительным» и им найденным. Четыре года назад, в 1908 году, немецкий любитель математики Вольфскель назначил премию в 100 тысяч марок тому, кто повторит доказательство Ферма. Вот я и оказался в числе тех, кто попытался это сделать и... превратился в математика.

— Боже мой! — всплеснула крохотными ладошками миниатюрная баронесса де Невильет. — И вы получите такую огромную сумму?

— Увы, нет, баронесса! Теоремы Ферма, которую называют великой, я не доказал, но математикой увлекся, как можно увлечься лишь самой прелестной из женщин. И должен вам сказать, что именно математика свела меня действительно с самой удивительной красавицей, которой равной не было в тысячелетиях, красота которой равнялась лишь ее уму и свету Солнца, когда она три тысячи лет назад стала единственной в истории женщиной — фараоном в Древнем Египте..

— Граф! — воскликнула баронесса. — Вы показали себя неповторимым рассказчиком, увлекли нас сначала Пьером Ферма, а теперь неведомой красавицей древности. Вы обречете нас на непередаваемую скуку, если не расскажете, что преподнесла вам ваша таинственная математика, способная переносить вас через тысячелетия. Уверяю вас, все мы готовы принести себя ей в жертву, лишь бы услышать ваш новый рассказ, — говорила баронесса, предвкушая успех своего знаменитого в Париже четверга.

— Охотно, — согласился граф. — Однако я буду говорить о себе в третьем лице, предпочитая видеть все снова вместе с вами как бы со стороны, предупредив вас, что в рассказанном не будет ни слова вымысла.

И граф де Лейе рассказал о раскопках в Египте, которые проводил его друг, археолог Детрие.

*Любовь — это и есть одно из самых*

*удивительных ЧУДЕС СВЕТА*

Археолог Детрие стоял на берегу Нила и кого-то ждал, любуясь панорамой раскопок. Кожа его была так темна от загара, что, не будь на нем светлого клетчатого костюма и пробкового шлема, его не признали бы европейцем. Впрочем, черные холеные усы делали его похожим на Ги де Мопасана. Непринужденность гасконца и знание местных языков, арабского и в особенности языка, на котором говорили феллахи, сходного с языком древних надписей, столь дорогих археологам, позволяли ему здесь быстро сходиться с людьми. Например, с самим пашой, от которого зависела выдача разрешений на раскопки в Гелиополисе. Важный чиновник в неизменной своей феске гордился тем, что по традиции турецкой знати в знак религиозного усердия вызубрил наизусть весь коран, не понимая в нем ни единого арабского слова, что не мешало ему править арабами. С археологом Детрие он был приторно-вежлив, сносно болтал по-французски, потчевал его черным кофе и, жадно облизывая губы, расспрашивал о парижских нравах на плац Пигаль. А в душе презирал этих неверных гяуров за их постыдный интерес к развалившимся капищам старой ложной веры. Но он обещал европейцу, обещал, обещал... Однако разрешение на раскопки было получено лишь после того, как немалая часть банковской ссуды, выхлопотанной через парижских друзей, перешла от Детрие к толстому паше. Таковы уж были нравы сановников Оттоманской империи, во владении которой скрещивались интересы надменных англичан и алчных немецких коммерсантов, требовавших под пирамидами пива и привилегий, обещанных в Константинополе султаном.

Детрие мало интересовался этим соперничеством. Как чистый ученый, он больше разбирался в былой борьбе фараонов и жрецов бога Ра, древнейший храм которого ему удалось раскопать.

1912 год был отмечен этим выдающимся достижением археологии. Храм был огромен. Казалось, кто-то намеренно насыпал здесь холм, чтобы сохранить четырехугольные колонны и сложенные из камня стены с бесценными надписями на них. Но это сделал не разум, а забвение и ветры пустыни.

Археолога Детрие заинтересовали некоторые надписи, оказавшиеся математическими загадками. Жрецы Ра и математика! Это открывало много.

Об одной из таких надписей, выбитой иероглифами на гранитной плите в большом зале, и написал Детрие в Париж своему другу-математику, пообещавшему в ответ самому приехать на место раскопок.

Его и ждал сейчас Детрие. Но меньше всего думал он увидеть всадника в белом бурнусе, подскакавшего на арабском скакуне в сопровождении туземного проводника в таком же одеянии.

Впрочем, не его ли друга можно было встретить в Булонском лесу во время верховых прогулок знати всегда экстравагантно одетым? То он был в цилиндре, то в турецкой феске, то в индийском тюрбане. Ведь он прослыл тем самым чудаковатым графом, который сменил блеск парижских салонов на мир математических формул. Кстати, в этом он был не одинок, достаточно вспомнить юного герцога де Бройля, впоследствии ставшего виднейшим физиком (волны де Бройля!).

Детрие и граф де Лейе подружились в Сорбонне. Разные специальности, выбранные ими, разъединили, но не отдалили их друг от друга. Они всегда вместе гуляли по бульвару Сен-Мишель и встречались на студенческих пирушках, пили вино, пели песни и веселились с девушками.

Граф осадил коня и ловко соскочил на землю, восхитив тем проводника, подхватившего поводья. Друзья обнялись и направились к раскопкам.

— Тебе придется все объяснять мне, как в лицее, — говорил граф, шагая рядом с Детрие в своем развевающемся на ветру бурнусе. Его тонкое бледное лицо, так не вязавшееся с восточным одеянием, было возбуждено.

— Раскопки ведутся на месте одного из древнейших городов Египта, — методично начал археолог. — Гелиополис — «город Солнца». В древности его называли «Ону» или «Ей-н-Ра». Здесь был религиозный центр бога Ра — победителя богов, который «пожирал их внутренности вместе с их чарами». Так возвещают древние надписи: «Он варит кушанье в котлах своих вечерних... Их великие идут на его утренний стол, их средние идут на его вечерний стол, их малые идут на его ночной стол...» — декламировал цитаты археолог.

— Прожорливый был бог! — рассмеялся граф.

— Эти религиозные сказания отражают не только то, что Солнце, всходя над горизонтом, «пожирает» звезды, но и отражает, пожалуй, реальные события древности.

— Битву богов с титанами?

— Нет. Воевали между собой не столько сами боги, сколько жрецы, им поклонявшиеся. Так, с жрецами бага Ра всегда соперничали жрецы бога Тота Носатого (его изображали с головой птицы ибис), сыном которого считался фараон Тутмос 1. Любопытно, мой граф, что наследование престола у египтян, как пережиток матриархата, шло по женской линии.

— Постой, великий древнесчет! Я в невежественной своей темноте слышал лишь о двух египетских царицах — Нефертити и Клеопатре. Обе украсили бы собой бульвар Сен-Мишель.

— Жила и другая, как раз дочь Тутмоса Первого, и, быть может, даже более прекрасная, чем эти прославленные красавицы. Однако Клеопатра, как известно, была гречанкой (по линии Птолемея, соратника Александра Македонского). А Нефертити не правила страной. Она была лишь женой фараона Эхнатона, смелого преобразователя. Ее изображали даже сидящей на коленях у мужа...

— Какая непростительная добродетель! — шутливо воскликнул граф.

— А вот жившая много раньше Хатшепсут (или Ха-тазу), та была единовластной правительницей, женщиной-фараоном, едва ли не единственной за всю историю Египта.

— Постой, постой! Не о ней ли говорили, что она была ослепительно красива?

— Видимо, о ней.

— Как же она воцарилась? Как королева красоты?

— На ней и сказалась матриархальная традиция наследования престола, который передавался не сыну, а дочери фараона. Дочь которой, в свою очередь, наследовала трон.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся граф. — Представь, я вижу здесь не столько матриархат, сколько заботу о чистоте фараоновой крови.

— Что ты имеешь в виду?

— Расчет, холодный расчет, приближающийся к математическому. И в данном случае расчет этот построен на недоверии к женщине.

Археолог искренне удивился.

— А как же! — с озорной улыбкой стал разъяснять граф де Лейе. — Фараонова кровь с гарантией может быть передана только через мать наследнику, поскольку отцовство фараона никогда не может быть установлено с абсолютной достоверностью.

— Ну, знаешь! — возмутился Детрие. — Под твоими «формулами» кроется неприкрытый цинизм. По-твоему, жена фараона могла принести наследника от постороннего отца?

— Какой же это цинизм? Не всегда, конечно. Но... по теории вероятностей такой случай не исключен, А вот при древнеегипетском престолонаследии даже такой случай исключался.

— Нет! Не допускаю у древних такого цинизма.

— Тогда продолжай, посмотрим, на что твои древние египтяне были способны!

— Итак, престолонаследницей становилась дочь фараона, вернее, дочь его жены. И эта наследница должна была выйти замуж за собственного брата.

— Ага! — прервал Лейе. — Тот же момент соблюдения чистоты крови. Ну если хочешь, то — высшая форма аристократизма. Прямой путь к вырождению через кровосмешение. Недаром я все еще холост!

— Дочь фараона, наследуя трон и выйдя замуж за брата, уступала ему этот трон. Хатшепсут была дочерью Тутмоса Первого, раздвинувшего границы своего царства Та-Кен за третьи пороги до страны Куш и доходившего до Сирии, до Евфрата. Она наследовала от отца власть фараона и передала ее по традиции своему супругу и брату Тутмосу Второму. Он был болезнен и царствовал лишь три года.

— Естественный результат кровосмешения!

— А вот после его смерти Хатшепсут не пожелала передать при своей жизни власть фараона своей дочери и ее юному мужу, впоследствии Тутмосу Третьему, и стала царствовать сама. За двадцать лет властвования она прославилась как мудрая правительница и тонкая художница.

— Так это про нее говорили, — воскликнул граф, — что она красивее Нефертити, мудрее жрецов, зорче звездочетов, смелее воинов, расчетливее зодчих, точнее скульпторов и ярче самого Солнца?

— Пожалуй, это не так уж преувеличено. Действительно, эта женщина глубокой древности должна была обладать необыкновенными качествами, чтобы удержать за собой престол. Ей пришлось изображать себя на нем в мужском одеянии с приклеенной искусственной бородкой.

— Фу, какая безвкусица! — возмутился граф. — Дама в усах! Ярмарка.

— Ты не сказал бы этого, увидев ее скульптурные изображения. Они прекрасны!

— Рад был бы полюбоваться. Где их найти?

— Это нелегко. Большинство ее изображений уничтожено мстительным фараоном Тутмосом Третьим, захватившим трон после Хатшепсут и прославившимся как жестокий завоеватель. Но все равно тебе стоит посмотреть поминальный храм Хатшепсут в Фивах — грандиозное здание с террасами, на которых при ней рос сад диковинных деревьев, привезенных из сказочной страны Пунт. Увы, теперь вместо деревьев можно увидеть лишь углубления в камне для почвы, в которой росли корни, да желобки орошения. Но все равно зрелище великолепно — гармонические линии на фоне отвесных Ливийских скал высотой в сто двадцать пять метров. Такой же высоты был и здесь холм; мы раскопали его, чтобы освободить под ним храм бога Ра. Его ты и видишь перед собой. Учти — в нем бывала сама Хатшепсут. Быть может, она здесь боролась с врагами престола, отстаивая свои права фараона и...

— И?

— И женщины, — улыбнулся археолог.

— Снимаю шляпу перед древней красавицей. А что, если она касалась рукой вот этой колонны? — И граф погладил шершавый от времени камень, потом стал оглядывать величественные развалины, пытаясь представить среди них великолепную царицу.

Археолог провел его в просторный зал с гранитной стеной и остановился перед выбитой на камне четыре тысячи лет назад надписью.

— Я переведу тебе эту странную надпись. Оказывается, жрецы не только сажали на трон фараонов, вели счет звездам, годам и предсказывали наводнения Нила. Они были и математиками!

— Это уже интересно!

— Слушай: *«Эти иероглифы выдолбили жрецы бога Ра. Это стена. За стеной находится колодец Лотоса, как круг солнца; возле колодца положен один камень, одно долото, две тростинки. Одна тростинка имеет три меры, вторая имеет две меры. Тростинки скрещиваются всегда над поверхностью воды в колодце Лотоса, и эта поверхность является одной мерой выше дна. Кто сообщит числа наидлиннейшей прямой, содержащейся в ободе колодца Лотоса, возьмет обе тростинки, будет жрецом бога Ра.*

*Знай: каждый может стать перед стеной. Кто поймет дело рук жрецов Ра, тому откроется стена для входа. Но знай: когда ты войдешь, то будешь замурован. Выйдешь с тростинками жрецом Ра. Помни: замурованный, ты выбей на камне цифры, подай камень. Однако помни: подать надо только один камень. Верь, жрецы Ра будут наготове, первосвященники подтвердят, таковы ли на самом деле выбитые тобой цифры. Но верь, сквозь стену колодца Лотоса прошли многие, но немногие стали жрецами бога Ра. Думай. Цени свою жизнь. Так советуют тебе жрецы Ра».*

— Как это понять? — спросил граф.

— Ради этого я и просил тебя приехать. Очевидно, здесь проходили испытания претенденты на сан жреца Ра. Их замуровывали за стеной до тех пор, пока те или решали задачу, передавая через отверстие для света и воздуха камень с выдолбленным ответом, или умирали там от истощения и бессилия.

— И вы откопали эту экзаменационную аудиторию?

— Конечно. Мы можем пройти в нее. Тростинок там не сохранилось, так же, как и колодца, но камень для ответа и даже медное долото лежат на месте. Пройдем. Для нас это не так опасно, как для древних испытуемых.

— Прекрасно! — отозвался граф и храбро шагнул в пролом стены.

Они оказались в небольшом помещении, напоминавшем каменный мешок. Свет проникал через пройденный ими проем и маленькое отверстие, сделанное как раз по размеру лежащего на полу камня из мягкого известняка. Рядом виднелось медное долото.

— Должно быть, немного верных ответов было выбито этим долотом, — сказал археолог, поднимая его с полу.

— Почему ты так думаешь?

— Я бился над этой задачей несколько дней. Но я завтракал, обедал, ужинал регулярно. Боюсь, что в этой камере жрецов остались бы мои кости.

— Прекрасно, — задумчиво повторил граф, — Попробуем перевести твою надпись еще раз. На математический язык. И сопроводим это чертежом на этой тысячелетней ныли.

И граф, взяв у Детрие долото, нарисовал им на пыльном полу камеры чертеж, говоря при этом:

— Колодец — это прямой цилиндр. Два жестких прута (тростинки). Один длиной два метра, другой — три, приставлены к основанию цилиндра, скрещиваясь на уровне предполагаемой воды в одном метре от дна. Легко понять, что сумма проекций на дно мокрых или сухих частей тростинок будет равна по диаметру — наидлиннейшей прямой, содержащейся в ободе колодца Лотоса, как говорится на языке жрецов.

— Мы обнаружили остатки ободов колодца, но сами они, увы, не сохранились.

— А жаль! Можно было бы вычислить длину царского локтя, которая поныне остается загадкой.

— Ты можешь вычислить?

— Если ты меня замуруешь здесь.

— Ты шутишь?

— Нимало! Я уже считаю себя замурованным. Я мысленно возвожу в проеме каменную стену. Ты можешь оставить меня здесь. Я не проглочу ни крупинки еды, не выпью ни капли влаги, даже вина... пока не решу древней задачи. Жди моего сигнала в окошечке «Свет — воздух».

Детрие знал чудачества своего друга и не стал с ним спорить. Он оставил математика в каменной комнате, напоминавшей склеп, наедине с древней задачей жрецов. Интересно, имел ли шансы математик пройти испытание на сан жреца Ра четырехтысячелетней давности?

Выйдя в просторный зал, Детрие оглянулся. Ему показалось, что вынутые его рабочими гранитные плиты каким-то чудом снова водрузились на место, превратив стену зала в сплошной монолит. Археолог даже затряс головой, чтобы отогнать видение.

Во всяком случае, математик имел право на уединение для решения, быть может, сложной задачи, которая археологу оказалась не по плечу.

Детрие вышел на воздух.

Пахнуло жарой. Солнце стояло над головой. До обеда было еще далеко. Детрие, любивший поесть, вздохнул, представляя себе накрытый в ресторане стол.

Проводник в бурнусе держал под уздцы двух лошадей, укрыв их в тени. По Нилу плыли лодки с высоко поднятой кормой и загнутым носом. В небе — ни облачка.

Детрие сел в тени колонны и погрузился в раздумье. В его воображении вставали жрецы Ра, владевшие математическим аппаратом лучше, чем он, окончивший Сорбонну.

Что происходило в каменном склепе колодца Лотоса с замурованными там претендентами на служение богу Ра? Сначала из окошечка просовывался камень с выбитыми на нем цифрами, может быть, неверными. Потом через это отверстие до слуха проходивших мимо жрецов могли доноситься крики, стоны, мольбы умирающих с голоду испытуемых, которым не суждено было стать служителями храма. Не суждено? Нет! Они не смогли ими стать, как не смог бы стать жрецом Ра сам Детрие.

Археолог так живо представил себе все это, что передернул плечами.

Тень колонны ушла. Археологу пришлось пересесть, чтобы укрыться от палящих лучей.

Несколько раз он возвращался в зал, граничивший с комнатой колодца Лотоса. Из нее не раздавалось ни звука.

Мучительно хотелось есть. Детрие, как истый француз, был гурманом. Он рассчитывал вкусно пообедать со своим гостем и никак не ожидал его новой эксцентрической выходки — лишить себя, да и его, обеда из-за решения древней задачи!

Они должны были поехать во французский ресторан мадам Шико. Турки особенно любили посещать его из-за пленительной полноты (в их вкусе) хозяйки. Она, верно, уже заждалась, исхлопоталась. Вчера она согласовывала с Детрие замысловатое меню, которое должно было перенести друзей на бульвар Сен-Мишель или на Монмартр. Креветки, нежнейшие креветки, доставленные в живом виде из Нормандии, устрицы. И белое вино к ним. Спаржа под соусом из шампиньонов. Буйа-бесс — несравненный рыбный суп. Бараньи котлеты с луком и картофелем по-савойски — или бургундские бобы. И вина! Тонкие французские вина, для каждого блюда свои: белые или красные. Наконец, сыры! Целый арсенал сыров, радующих сердце француза! Это на тот случай, если господа не наелись и хотят закрепить ощущение сытости в желудке. И потом... кофе й сигары во время задушевного послеобеденного разговора.

Ждать уже не было сил. Детрие решил хоть силой вызволить друга из заточения и решительно направился в зал. Однако насилия не понадобилось. Еще не войдя в зал, он услышал стук. Из окошечка выпал камень и лежал теперь под ним на полу.

Детрие нагнулся, чтобы поднять, его.

О боже! На нем медным зубилом были нацарапаны, кощунственно нацарапаны на бесценной реликвии какие-то цифры.

Детрие, возмущенный до глубины души, поднял камень и прочитал: «d = 1,231 меры».

В «замурованном» проеме стоял сияющий граф де Лейе. Его узкое бледное лицо, казалось, помолодело.

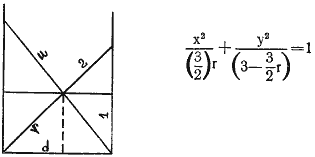
Археолог с упреком протянул ему камень:

— Ты исцарапал реликвию!

— Иначе мы не смогли бы обедать, — обезоруживающе заявил математик и улыбнулся совсем по-мальчишески.

— Но я не могу проверить, — развел руками Детрие.

— Боюсь, что ты, археолог, не больше древних жрецов разбираешься в аналитической геометрии. Но все же смотри. Войдем в склеп. Я все написал там на полу. Внимай! Назовем расстояние от точки пересечения тростинок до конца короткой тростинки на дне через r. Теперь представим, что тростинка скользит одним концом по вертикали, а другим по горизонтали (по дну колодца). Из высшей математики известно, что точка на расстоянии r будет описывать эллипс. Я записал уравнение этого эллипса. Вот оно:



И граф показал на исчерченный пыльный пол.

— Теперь все очень просто, — продолжал он. — Нужно решить это уравнение для у = 1 и x = r2 — 1 — величина проекции мокрого отрезка длинной тростинки. Получаем уравнение. Правда, четвертой степени, к сожалению, 5r4 — 20r3 + 20r2 — 16r + 16 = 0. Как это тебе нравится? Красивое уравнение?

Детрие почесал затылок, рассматривая чертеж на полу и написанные на нем формулы.

— И такие уравнения решали древнегреческие жрецы? — с сомнением произнес он.

— Ничего не могу сказать. Совершенная загадка! Нам, математикам двадцатого века, решить такое уравнение под силу только потому, что, к нашему счастью, формулы для корней такого уравнения были получены в шестнадцатом веке итальянским математиком Феррари, учеником Кардано.

— И ты решил?

— Разумеется. Считай меня отныне жрецом бога Ра и достань откуда-нибудь из музея соответствующее одеяние. Обещаю появиться в нем в Булонском лесу.

Детрие посмотрел на исцарапанный камень.

— Диаметр равен 1,231 меры?

— Именно! К сожалению, мы не знаем, какая она была. Дай мне найденные здесь ободья, и я скажу тебе, каково численное выражение этой меры в современном исчислении. Скорее всего это был неведомый царский локоть древних египтян.

— Увы, я уже признавался тебе, что ободья не сохранились, так же как и тростинки. Именно поэтому ты не сможешь стать жрецом бога Ра.

— Как так? — возмутился граф де Лейе.

— В надписи сказано, что жрецом станет тот, кто, решив задачу и сообщив ответ, выйдет из камеры с тростинками. А тростинок у тебя нет. Какой же ты жрец?

И оба француза расхохотались.

Проводник уступил свою лошадь археологу, и ученые поехали к ресторану мадам Шико.

— Дорого бы я дал за то, чтобы узнать, — сказал математик, придержав коня, чтобы оказаться рядом с археологом, — как они умудрялись три с половиной тысячи лет назад решать уравнение четвертой степени.

— А может быть, у них был какой-то другой способ? — усомнился археолог.

— Ты шутишь! — рассмеялся граф де Лейе, — Это невозможно. — И он пришпорил лошадь.

###### \* \* \*

Когда жрецы с бритыми головами без париков ввели черноволосого юношу в «Зал Стены», его охватила дрожь.

На гранитной плите грозной преградой перед ним встала НАДПИСЬ.

Он познавал жуткий смысл иероглифов, и колени его подгибались. Если бы Прекраснейшая знала, на что он обречен! Своей божественной властью она спасла бы его, отвратила бы от него неизбежную гибель, уготовленную бессовестными жрецами, так обманувшими Ее!..

«СКВОЗЬ СТЕНУ КОЛОДЦА ЛОТОСА ПРОШЛИ МНОГИЕ, НО НЕМНОГИЕ СТАЛИ ЖРЕЦАМИ БОГА РА. ДУМАЙ. ЦЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ. ТАК СОВЕТУЮТ ТЕБЕ ЖРЕЦЫ РА».

Совет жрецов! Совет нечестивости! Удар копьем в спину, а не совет!..

Если бы знала Прекраснейшая о существовании «Зала Стены», о колодце Лотоса, об этой надписи и неизбежной теперь судьбе ее юного друга, которого через три тысячи ударов сердца заживо замуруют в каменном колодце Смерти!..

Юноша тупо смотрел, как жрецы вынимали из Стены тяжелые камни, чтобы потом, когда он «пройдет сквозь Стены», водворить их на место, отрезав его от всего мира, оставив без еды и питья в каменном мешке, его, живого, сильного, ловкого, которого любила сама Прекраснейшая, подняв его из пыли, когда он целовал следы Ее ног!.. Могла ли подумать живая богиня, что жрецы Амона-Ра предадут Ее? Не они ли по воле Ее отца Тутмоса I после кончины Ее супруга и брата Тутмоса II возложили на голову Прекраснейшей бело-красные короны страны Кемт? Не они ли присвоили Ей мужское имя «Видящего истину Солнца» — Маатка-Ра, которое не смел произнести вслух ни один смертный? И не они ли отвергли притязания на престол юного мужа Ее дочери, которая при жизни матери не могла наследовать фараонову власть и передавать ее супругу? И не жрецы ли Амона-Ра объявили святотатством богослужение жрецов Тота Носатого, провозгласивших самозванца фараоном Тутмосом III? И вот теперь...

Ужель жрецы Амона-Ра устрашились женской любви Божественной к низкорожденному, поднятому Ею из праха, в котором надлежало лежать, распластавшись на земле, каждому неджесу или роме, свободному или коренному жителю страны Та-Кемт?

О чем можно передумать за три тысячи ударов сердца? Какие картины короткой своей жизни снова увидеть?

Дом родителей, простых нечиновных роме на берегу царицы рек Хапи. Ночи на плоской кровле с любимой звездой Сотис на черном небе. Пыль окраин Белой стены (Мефиса), где только улицы перед дворцами и храмами залиты вавилонской смолой, глушившей стук копыт и шум колес. Тайная дружба с детьми домашних рабов, и рабы в каменоломнях, измученные, безучастно терпеливые к побоям и окрикам надсмотрщиков. Детские игры со щенком гиены в каменоломне предков, из которой уже взяли весь ценный камень. Уединение в заброшенном каменном карьере, где он, еще мальчишка, пробовал высечь голову прекрасной женщины. Она жила в его незрелой мечте. И когда, уже повзрослевший, способный перегнать любого из эфиопских скороходов, бежавших впереди колесницы властителя, побороть любого из ее стражей и соперничать с ваятелями любого храма, он увидел Ее, Прекраснейшую, то узнал в ней свою Мечту. Она снизошла до того, чтобы посмотреть игры юношей, и отметила его среди победителей. Он лежал в пыли у Ее ног и надеялся поцеловать след несравненной ноги, изваять которую достоин лишь лучший из оживляющих камень.

Сначала она сделала его своим скороходом. Однажды жрецы Носатого пытались перехватить его, несшего царский папирус. Получив несколько ран, он все же отбился от нападавших и доставил послание в храм Амона-Ра. И тогда в одной из комнат храма, где жрецы Ра пытались спасти ему жизнь, Она удостоила его светом своих глаз. Она была живой богиней. Видевшей Истину, а пришла в келью к раненому юноше как женщина. Он попросил у жрецов мягкой глины и к следующему Ее приходу сделал Ее лицо, пообещав перевести его на камень. Прекраснейшая смеялась, говоря, что она словно смотрится в зеркало. И в знак своего восхищения работой юноши подарила ему отшлифованную пластинку редчайшего нетускнеющего металла железа, оправленного в золотую рамку, В нее можно было смотреться, как в поверхность гладкой воды.

Царица сделала его потом ваятелем при Великом Доме, как иносказательно надлежало говорить об особе фараона.

Прекраснейшая сама владела тайной глаза. Ее руки были безошибочны. И они были еще и нежны, что узнал Сененмот в самый счастливый день своей жизни. Он делал одно изваяние царицы за другим и не переставал восхищаться Божественной, не смея даже помышлять о земной любви. Но живой богине дозволено все. Однако Она стала не только Божественной возлюбленной сильного и талантливого юноши, но и его заботливой наставницей. Она не уставала учить его премудростям знаний, доступных только Ей и жрецам.

Жрецы узнали об этом и встревожились. Слишком большую власть мог получить этот новоявленный избранник Прекраснейшей. Однако удалить его от Божественной ни у кого не было средств. Ни у кого, кроме тех, кто... обладал хитростью и лукавством. А эти свойства высечены на оборотной стороне Знания.

Жрецы, советники Прекраснейшей, льстиво хвалили Сененмота, одобряя внимание к нему Хатшепсут. Они поощряли даже Ее занятия с ним, уверяя, что высшее Знание может оправдать близость низкорожденного к ярчайшему Светилу, каким была Царица.

И тогда царица Хатшепсут согласилась, чтобы Ее ваятель стал жрецом бога Ра. Казалось, в этом не было ничего плохого. Обретя жреческий сан, Сененмот входил в высший круг, очерченный в охват золотого трона.

Сененмот тоже согласился на это. Ему пока не побрили наголо, как еще предстояло, голову, а лишь подстригли его черные кудри и повели в священный город храмов Ей-и-Ра, расположенный к северу от Мемфиса, столицы владык Кемта.

Великий храм бога Ра не просто потряс Сененмота. Он пробудил в нем страстное желание создать храм еще более величественный и прекрасный, посвященный Прекраснейшей, Ее неумирающей Красоте. И не из холодного камня создал бы он его, не мрачными статуями и колоннами внушал бы преклонение перед Прекраснейшей, а перенесенным в храм лесом живых растений, которые террасами спускались бы с огромной высоты, равной высоте величайшей из пирамид. И не голый камень пустыни, тысячелетиями отражающий солнечные лучи, а живая зелень благоухающих, деревьев, поглощающая эти лучи, даруя тень, журчание ручьев и птичий гомон говорили бы всегда не о смерти и величии почившего, а о неумирающей Красоте Живого!

С этими мыслями юный ваятель Великого Дома вошел в храм бога Ра, чтобы стать его жрецом.

Но...

Его провели в «Зал Стены», где он прочитал жуткую надпись.

Оказывается, для того чтобы стать жрецом бога Ра и остаться приближенным своей божественной Возлюбленной, Сененмот должен был на правах испытуемого пройти через каземат колодца Лотоса, откуда не было выхода замурованному там, если не будет им решена1неразрешимая для простого смертного задача жрецов.

Но был ли Сененмот простым смертным? Помнил, ли он то, чему учила его божественная Наставница, повелевающая видимым миром? Равная богам, непостижимая для людей! Но если Она равна богам, неужели не придет Она к нему на помощь? Он устремит к Ней свою мольбу, свой зов, который не может не услышать любящее сердце женщины или возвышенные чувства Бо-. гини.

Думая о Ней, юноша Сененмот храбро ступил через порог проделанного в Стене жрецами проема. Он увидел перед собой круг колодца, рядом большой кусок известняка и около него медное долото. И даже легкий камень для ударов по долоту при выдалбливании цифр был здесь припасен.

Света становилось все меньше. Жрецы с удивительной сноровкой заделывали за его спиной Стену, намертво замуровывая его, как в могиле. Собственно, эта келья и была уготована ему, как могила, куда запрятан отныне неугодный жрецам любимец Живой Богини, спрятан с Ее согласия, раз Она одобрила решение сделать его жрецом Ра, правда, не подозревая, какой ценой он может заплатить за такую попытку.

Сененмот верил, что Она даст о себе знать, что Она хватится его, потребует от жрецов, чтобы он вернулся, узнает об их коварном заговоре и придет к нему на помощь!

Он верил в это, и силы не изменили ему.



В камере становилось все темнее... Только совсем небольшое отверстие, через которое едва можно было просунуть припасенный для ответа камень, пропускало теперь свет.

За Стеной слышались глухие удары. Жрецы завершали замурование...

Глаза постепенно привыкали к полумраку. Напротив оставленного отверстия «Свет — воздух» у стены что-то белело.

Сененмот сделал шаг вперед впервые после того, как он застыл перед кругом колодца, пока жрецы заживо замуровывали его. Он сделал шаг и остановился. Он различил наконец то, что привлекло его внимание.

Это был человеческий череп... и кости скелета с поджатыми ногами. Видимо, несчастный умер сидя или скорчился на полу. Немного поодаль лежал еще один скелет... и еще...

Жрецы только впустили его сюда, не позаботившись о том, чтобы убрать останки тех, кто хотел и не мог стать жрецом Ра! А может быть, вовсе и не хотел, а насильно был брошен сюда, чтобы самому себе вынести смертный приговор в горьком бессилии решить непосильную задачу.

Впервые Сененмот подумал о задаче. До сих пор он даже не допускал мысли, что ее можно решить. Надпись на стене, отделившей его теперь от мира, отпечаталась у него в мозгу всеми своими иероглифами. Он мог бы начертить их на каменном полу.

Он взглянул на пол и увидел две тростинки неравной длины.

Ах вот она! Одна — две меры длиной, другая — три. Если их спустить в колодец, они скрестятся на поверхности стоящей там воды в одной мере от дна.

Сененмот встал на колени и заглянул в колодец. Было слишком темно, чтобы разглядеть, где в нем вода. Во всяком случае, до нее не удалось дотянуться рукой, чтобы зачерпнуть ее ладонью и напиться.

Губы у Сененмота ссохлись, и он провел по ним языком. Но пить еще не хотелось.

Он встал и прошелся по темнице. В противоположном углу он обнаружил еще несколько человеческих черепов и груду костей. Было похоже, что кто-то намеренно свалил все эти останки в одну кучу. Это могли сделать лишь те, что лежат сейчас в виде нетронутых скелетов... и те, что счастливо вышли отсюда жрецами бога Ра.

Может быть, они, прежде чем попасть сюда, изучали науку чисел? А он, Сененмот, имевший лишь одну учительницу Любви и Знаний, что вынес он из преподанных уроков? Он знает счет, познал части целого и умеет соединять и разделять их. И только... О тайне, скрытой в треугольниках, он лишь мельком слышал от своей Наставницы. В священном треугольнике, если одна сторона имела три меры, а другая четыре, третья непременно должна была иметь в себе пять мер! В том была магическая сила чисел! А как связать наидлиннейшую прямую, содержащуюся в кольце обода, с его выпрямленной длиной? Эту тайну, говорят, знали жрецы, но таили ее как святыню. Как же стать жрецом, не зная этих тайн?

Тысячи ударов сердца замурованного юноши сменяли одна другую. Глаза его привыкли к полутьме, и он вместо решения задачи, от которого зависела его жизнь, стал рисовать на полу воображаемый уступчатый храм, который бы построил своей Богине, если бы остался жив и вышел отсюда.

Однако выхода из колодца не было. Гармоничные, задуманные им линии уступов не будут волновать людей в течение тысячелетий, они умрут вместе с незадачливым ваятелем и несостоявшимся зодчим у этого колодца Лотоса. И какой-нибудь другой приговоренный к смерти несчастный или вразумленный знанием будущий жрец соберет его истлевшие кости, свалит их в кучу вместе с останками других неудачников.

«Нет!» — мысленно воскликнул Сененмот и вскочил на ноги.

Он стал яростно метаться по каменному мешку, как неприрученная гиена, натыкаясь на стены.

Сколько времени прошло? Село ли солнце?

Впервые он ощутил голод и жажду.

Где же Прекраснейшая? Неужели Богиня не чувствует на расстоянии его беды? Или Она придет? Придет своим царственным шагом, заставляя падать ниц всех встречных жрецов, включая самого Великого Ясновидящего?

Но Хатшепсут не шла.

Сененмот сел у колодца, взял долото и малый камень, придвинул к себе камень побольше и стал что-то выбивать на нем.

Неужели он уже решил задачу смертников? Или Божественная неведомым способом внушила ему правильное решение?

Нет, никакого ответа юноша не знал. Он выбивал на мягком камне профиль своей Божественной Возлюбленной, профиль Хатшепсут.

Но нет! Напрасно ему надеяться, что жрецы, завороженные знакомым лицом, возникшим на камне, освободят его. Не для того они бросили его сюда!

Однако Хатшепсут не может не хватиться своего любимца. Она придет, непременно придет. И тогда услышит его голос. Он будет звать Ее и откроет Ей через отверстие «Свет — воздух» коварный замысел жрецов.

Она спасет его, спасет!

Время шло. И никто не окликнул заключенного в смертную камеру юношу через узкое отверстие, сообщавшее его с внешним миром, вернее, с «Залом Стены», скрытым в огромном храме.

Страшно хотелось есть и пить.

Сколько времени можно бесполезно просидеть у колодца, в котором где-то внизу есть вода? Но как достать ее, если рукой не дотянуться? Он убедился в этом, едва вошел сюда.

Тростинки! Две тростинки разной длины!

Кстати, задача требует назвать длину наидлиннейшей прямой, заключенной в ободе колодца! Можно измерить ее тростинкой. Но как? Какими мерами он располагает? Тростинка в две меры, тростинка в три меры, и... можно еще получить и одну меру, как разность их длин. Достаточно ли это для измерения, если не знаешь магических чисел?

Сложив вместе две тростинки, Сененмот убедился, что поперечник обода колодца несколько больше одной меры. Но насколько? Как это определить?

Он представил себе, как тщетно силились рёщить это те, от которых остались здесь черепа и гнилые кости?

Он встал и уложил все черепа в одну кучу, кости скелетов — в другую.

Он непроизвольно прибрал свое последнее убежище, в котором ему предстояло закончить жизнь. Кто приберет его кости?

Смертельно хотелось пить, даже больше, чем есть.

Как было сказано в иероглифах, кончавших надпись? *«Сквозь стену колодца Лотоса прошли многие, но немногие стали жрецами бога Ра. Думай. Цени свою жизнь. Так советуют тебе жрецы Ра».*

«Думай!» До сих пор он не думал, он только ждал помощи извне. А если надеяться на это нечего? Тогда надо думать, как советуют жрецы! Думать! Но что может придумать он, знающий лишь части целого числа, не прикасавшийся к магическим числам?

Нет! Он может придумать многое, очень многое! Аллею статуй Прекраснейшей... Сады на уступах храма, который он для Нее воздвигнет! Постой же, постой! Если тебе известны части целого, то вспомни, как раз частей целого и не хватало при измерении поперечника обода колодца! Частей целого! Но как эти части определить? Чем?

Пить, пить! Только пить! В голове мутится. Очевидно, солнце прошло через зенит и все живое спряталось в тень, предаваясь дневному сну.

Сененмот спать не мог и не хотел. Он хотел пить!

И тогда ему пришло в голову, что у него есть тростинки, достающие до дна колодца. Их можно смочить в воде, а потом обсосать.

Спеша, он стал спускать обе тростинки сразу, вынимать их из колодца и жадно обсасывать.

В рот попадали лишь капли влаги, но и это было наслаждением.

Сотни раз, не меньше, опускал Сененмот тростинки в колодец Лотоса, прежде чем хоть слегка утолил жажду.

Теперь он умрет не сразу — не от жажды, а от голода... Жить без пищи можно много-много дней. Неужели же Она не придет?

Увы! Жрецы не допустят Ее в «Зал Стены», скроют его существование... или покажут разве что для того, чтобы прочитала «Надпись» с заданием испытуемому и узнала его судьбу.

Но если Она будет рядом, он должен почувствовать Ее близость!

Выглянуть в отверстие «Свет — воздух» невозможно — до него едва дотянуться руками, чтобы выбросить камень с ответом... И даже голоса Ее он не услышит, потому что Она в немом молчании прочитает НАДПИСЬ и с поникшей головой выйдет из зала.

Хатшепсут, Хатшепсут, моя Хатшепсут! Отзовись! Ведь тебя любит твой Сененмот! И ради любви к тебе не хочет умереть!

А если не хочешь умереть, то внемли жрецам, которые написали: «Думай. Цени свою жизнь».

Думать? Думать, думать ради Нее и ради себя!

Прекраснейшая учила, что наука чисел построена на измерении. На измерении! Все, что познает человек, все, что он постигает, он измеряет! Должен измерить! Быть мудрым — это уметь измерять! Разве не так Она сказала? Измеряют уровень воды в Ниле, измеряют наделы земли феллахов, измеряют ожидаемый урожай, измеряют богатства храмов и фараонов, число рабов и число талантов золота. Измеряют высоту пирамид и длину их теней.

Но чем измерять ему, замурованному? Измерять есть чем, только надо подумать как! Есть ведь целых две тростинки, их можно использовать для измерения наидлиннейшей прямой — поперечника обода колодца.

На тростинках есть меры: одна, две, три, но нет частей целого. А нельзя ли получить эти мелкие меры?

Вооружившись медным долотом, Сененмот прежде всего отметил на тростинках величину одной меры, двух мер, три меры. Затем он отметил и величину наидлиннейшей прямой, заключенной в ободе колодца, которую нужно измерить. Вычтя из нее одну меру, он получил ту часть целого, которую пока не знал, как измерить. Он стал ломать себе голову над тем, какие величины для измерений может он получить. Он начал думать, действовать... и уже одно это придало ему силы.

В голове просветлело, как-то сама собой пришла мысль, что если тростинки опускать в воду наклонно, то мокрые части на тростинках будут разные.

Он тотчас опустил тростинки одну за другой, вынул и примерил. Оказалось, что разность длин мокрых частей будет для него новой мерой, малой мерой, как он назвал ее.

Отметив ее надсечкой, он стал размышлять, что бы измерить этой новой мерой. Ведь она же была долей целого, долей одной меры. Интересно, сколько раз уложится новая мера в одной мере?

Он тщательно измерил половину короткой тростинки, где поставил отметину одной меры. Радости его не было границ!

Малая мера уложилась в одной мере ровно шесть раз!

Работа уже увлекла Сененмота. Он представил себе, что Прекраснейшая руководит им, находится где-то рядом. Но на самом деле Она была далеко, и он доходил до всего сам.

В его руках уже была одна шестая меры. Можно ли ею измерить наидлиннейшую прямую, поперечник круга? Его длина была у него отмечена на длинной тростинке. И он тотчас приложил ее к своим новым мерам.

И сразу уныние овладело им. Все напрасно. Ничего не получилось.

Малая мера уложилась семь раз, а восьмой раз вышла за пределы отметины.

Сокрушенно смотрел Сененмот на лишний отрезок, который невольно тотчас отметил долотом. И вдруг понял, что обладает еще одной мерой. Надо было тотчас определить, какую часть главной меры она составляет.

Он судорожно стал измерять и... не поверил глазам!

Его новая самая маленькая мера (лишнего отрезка) уместилась в главной мере *десять раз!* Итак, как учила Прекраснейшая, он имеет в измеренном поперечнике *одну целую* (шесть малых мер) и еще две лишние меры, то есть одну треть. Однако из этой трети нужно вычесть *одну десятую.*

Теперь ученику Хатшепсут ничего не стоило сосчитать, что наидлиннейшая прямая, заключенная в ободе колодца, имеет длину в *одну и тридцать семь тридцатых* (37/зо) меры. Это и есть ответ, который теперь нужно лишь выбить на мягком камне. Он послужит ключом к запертой двери в Мир, где властвует Божественная!

Сененмот тотчас принялся за дело. Он торопился. Торопился выйти из склепа, забыв, что он голоден.

Современники Сененмота, как и он сам, не знали десятичных дробей, не умели выразить одну треть как 0,3333 в периоде и не догадывались о возможности вычесть из этой величины одну десятую, получив поперечник колодца — 1,233 меры. Это на три тысячных меры отличало измеренную юношей величину от той, которую люди почти через четыре тысячи лет научатся вычислять с помощью той математики, которую сами назовут *высшей.* Но для жителей древнего царства Та-Кемт полученный Сененмотом результат был практически точен. Более точного они и представить себе не могли. И жрецы, выдумавшие задачу, очевидно, и рассчитывали, что найденные дополнительные меры целое число раз уложатся в основной мере.

Записав на камне свой ответ в присущей тогда манере в виде ряда дробей, в сумме составляющих найденную им величину, Сененмот вытолкнул камень через отверстие «Свет — воздух».

Теперь оставалось ждать, что жрецы выполнят то, что гласит надпись, встретят его с тростинками, как нового жреца бога Ра!

А если они не выполнят этого? Если они предпочтут, чтобы он остался в каменном мешке колодца Лотоса? И никогда больше не появлялся бы на свет?

Но до его слуха донеслись глухие удары. Жрецы стали размуровывать узника, ставшего их новым собратом.

Они вынули гранитные плиты, образовали проем.

Юноша с огромными продолговатыми глазами, держа в каждой руке по тростинке, стоял в образовавшемся проеме. В его черных волосах серебрилась седая прядь.

— Приветствую тебя, новый жрец бога Ра! — встретил его Великий Ясновидец. — Ты показал себя достойным великого дела служения богу Ра и Божественной. Жрецы сейчас обреют твою голову и дадут тебе парик, но прежде взгляни на свое отражение. — И он передал Сененмоту отобранное у него при заключении в камеру колодца Лотоса отделанную золотом зеркальную пластинку из какого-то редкого, нетускнею-щего металла. И он увидел свою седину, которой заплатил за найденное решение.

Божественная будет видеть его отныне лишь в парике жреца. Она не узнает, чего стоило ему его возвращение к Ней.

На следующий день после обеда в ресторане мадам Шико археолог Детрие вместе со своим гостем математиком графом де Лейе отправились в Фивы.

Граф непременно хотел увидеть своими глазами чудо архитектуры, гениальное творение древнего зодчего поминальный храм великой царицы Хатшепсут в Дайр-эль-Бахари.

Они выбрали водный путь и, стоя на палубе под тентом небольшого пароходика, слушали усердное хлопанье его колес по мутной нильской воде и любовались берегами великой реки.

Графа интересовало все: и заросли камышей на берегах, и возникавшие нежданно скалы, и цапли, горделиво стоящие на одной ноге, и волы на горизонте, обрабатывающие поля феллахов. В заброшенных каменоломнях он воображал себе толпы «живых убитых», трудившихся во имя величия жесточайшего из государств, как сказал о Древнем Египте Детрие.

Двести пятьдесят с лишним километров вверх по течению пароходик преодолевал целый день с утра до позднего вечера.

На палубах то появлялись, то сходили на берег бородатые феллахи, одетые в дурно пахнущие рубища, заставлявшие графа закрывать нос тонким батистовым платком. Арабы, истовые магометане, расстилали на нижней палубе коврики для намаза и в вечерний час возносили свои молитвы аллаху. Важные турки в фесках делали в эти минуты лишь сосредоточенные лица, не принимая молитвенных поз.

Худенький чернявый капитан-ливанец предлагал европейцам укрыться у себя в каюте, рассчитывая вместе с ними выпить вина, но они отказались, предпочитая любоваться из-под тента берегами.

Граф восхищался, когда Детрие бегло болтал с феллахами на их языке.

— А что ты думаешь, — с хитрецой сказал Детрие. — Когда я бьюсь над непонятным местом древних надписей, я иду к ним для научных консультаций. Сами того не подозревая, они помогают мне понять странные обороты древней речи и некоторые слова, которые остались почти неизменившимися в течение тысячелетий, несмотря на давление чужих диалектов, в особенности арабского и теперь турецкого.

К сохранившемуся древнему храму Хатшепсут в Фивах французы успели добраться лишь на следующее утро.

Как зачарованные стояли они на возвышенности, откуда открывался, вид на три террасы бывших садов Амона. Садов теперь не осталось, но чистые, гармоничные линии, как обещал Детрие, четко вырисовывались на фоне отвесных Ливийских скал, отливавших огненным налетом. Как вырезанные, выступали они на небесной синеве. Древние террасы храма и зелень былых садов когда-то сказочно вписывались в эту гармонию красок.

— Это в самом деле восхитительно! — сказал граф.

— Теперь представь себе на этих спускающихся уступами террасах благоухающие сады редчайших деревьев, их тень и аромат.

— Великолепный замысел! Кто построил этот храм? Мне кажется, его должна была вдохновлять сказочная красота Хатшепсут.

— Храм сооружен для нее гениальным зодчим своего времени Сененмотом. Он был фаворитом царицы Хатшепсут, одновременно ведая казной фараона и сокровищами храмов бога Ра.

— Он был кастеляном?

— Он был художником, ваятелем, зодчим и жрецом бога Ра.

— Жрецом Ра? Значит, ему пришлось пройти через каземат колодца Лотоса, — с хитрецой заметил граф.

— Я не подумал об этом. Но, очевидно, это так. Строитель этого храма, по-видимому, был неплохим математиком, решая уравнения четвертой степени, доступные лишь вам, современным ученым.

— Нет, скорее всего он не вычислял диаметр колодца, как это делал вчера я, а измерял его, как было принято в Древнем Египте.

— Но ты сам вчера отрицал возможность другого решения.

— Это было вчера, — рассмеялся граф. — За время пути я не просто любовался берегами, я многое передумал, решил. Но не все...

— Как? — удивился Детрие. — Ты не все решил?

— Я дошел до того, что геометрическая задача жрецов таит в себе неразгаданные тайны геометрии. Я успел вычислить в уме, что от поверхности воды в колодце до верхнего конца длинной тростинки было расстояние, равное корню квадратному из трех. А до верхнего конца короткой — равно в три раза меньше.

— Корень квадратный из трех? А что это означает?

— Ему придавал большое значение Архимед. Большой катет прямоугольного треугольника с углом в. шестьдесят градусов, где малый катет равен единице, равен корню квадратному из трех. Архимед выражал его с огромной точностью простой дробью, он встречается в ряде математических выражений. Думаю, что геометров двадцатого века заинтересует, как построить колодец Лотоса с помощью линейки и циркуля, найти связь между шестидесятиградусным треугольником и хитрой фигурой жрецов. И этот созданный математиком храм я решусь назвать «Храмом Любви».

— Да, храм в Дайр-эль-Бахри достоин этого, — почему-то вздохнул археолог. — Это одно из чудес света.

— Ну, конечно же! — подхватил граф. — Любовь — это и есть одно из самых удивительных чудес света!

### «ЗАВЕЩАНИЕ» НИЛЬСА БОРА

У входа в науку должно быть выставлено требование: «Здесь нужно, чтоб душа была тверда, здесь страх не должен подавать совета».

К. Маркс

#### 1. Воспоминания

Говорят, все писатели рано или поздно принимаются за мемуары. Работая в жанре научной фантастики, я считал себя от этого застрахованным, и вдруг...

Передо мной четкая фотография, снятая нашим фотографом Центрального дома литераторов А. В. Пархоменко. На ней группа писателей, моих товарищей по перу. На первом плане поэт Семен Кирсанов, в заднем ряду Леонид Соболев, Георгий Тушкан, Борис Агапов. В центре группы передо мной, проводившим эту встречу, стоит очень пожилой человек рядом со своей заботливой женой. У него усталое лицо с большим ртом и высоким лбом, живые, острые глаза.

Это Нильс Бор, великий физик нашего времени, один из основоположников современной физической науки, а также один из создателей первой атомной бомбы. Он романтически бежал на парусной лодке из оккупированной гитлеровцами Дании. Он создал Копенгагенскую школу ученых, пройти которую считал за честь любой даже выдающийся физик первой четверти XX века.

Нильс Бор говорил тогда на встрече с советскими писателями, что в физике назревает кризис. Кризис «от переизбытка знаний». Сложилось положение, сходное с концом XIX века, когда, казалось бы, все физические явления были объяснены, найденные закономерности выражены в виде механики Ньютона и теории электромагнитного поля Максвелла. Все опыты подтверждали господствовавшие теории. Все, кроме одного, кроме опыта Майкельсона, доказавшего, как известно, что скорость света от скорости движения Земли НЕ ЗАВИСИТ. Казалось, объяснить этот парадокс невозможно. Кое-кто хотел бы закрыть на него глаза. Но появился человек с «безумной», как сказал Нильс Бор, идеей — Эйнштейн! Он выдвинул теорию относительности и перевернул все прежние представления физиков. Он создал для готового рухнуть храма познания новый фундамент, на который теперь надо было этот храм перенести. Опыт Майкельсона был объяснен. Но какой ценой! Ценой отказа от обычных представлений во имя того, что законы природы действуют одинаково во всех условиях. Это простое и бесспорное положение приводило к неожиданным и головоломным парадоксам, которые понимали и принимали далеко не все физики. Тогда говорили, что едва ли шесть современников Эйнштейна понимали его. В числе их был Макс Планк, введший понятие о кванте. Он первый поддержал Эйнштейна, утешая его, что «новые теории никогда не принимаются. Они или опровергаются, или... вымирают их противники». Впрочем, Эйнштейна нисколько не беспокоило, признают ли его теорию или нет. Он был так уверен в своей правоте, что только пожимал плечами по поводу непонимания его мыслей. Но мысли его были по-настоящему «безумны», с точки зрения консервативных умов, конечно. Именно поэтому они и сыграли такую большую роль в развитии науки.

Так закончил свое выступление Нильс Бор.

Кто-то из нас нашел уместным пошутить:

— Недаром, значит, говорят, что на будущем Всегалактическом конгрессе какой-нибудь из высокочтимых ученых — собратьев по разуму, подняв свои щупальца, скажет: «Земля? Ах, это та планета, на которой жил Эйнштейн!»

Нильсу Бору перевели шутку, и он устало улыбнулся.

— Скажите, профессор, — начал мой сосед. — Теперь, когда люди овладели внутриядерной, энергией...

Нильс Бор поморщился.

— ...когда научились взрывать атомные бомбы...

— Это надо безусловно запретить! — твердо вставил Нильс Бор..

— ...Ясен ли теперь механизм разрушаемого атомного ядра? Помог ли в этом Эйнштейн? — закончил свой вопрос писатель.

— Эйнштейн, безусловно, помог. В прошлом веке энергетические процессы велись, на молекулярном уровне. Молекулы входили в различные химические соединения. При этом выделялась энергия, скажем, при горении. Атомная энергия — это энергия на более глубоком уровне проникновения в вещество. И именно на этом уровне подтвердились многие из парадоксальных принципов Эйнштейна. Но... в физике снова назревает кризис из-за «переизбытка знаний». Прежде все было ясно. Атом состоит из протонов и нейтронов в ядре и электронов в оболочке. Планетарные схемы атома поначалу удовлетворяли физиков. Но вскоре, подобно опыту Майкельсона, в физику стали врываться сведения о существовании каких-то неведомых элементарных частиц, для наглядной картины модели атома совсем ненужных. Поведение же старых, уже известных частиц становилось необъяснимым. Скажем, электрон проявил двойственность, ведя себя одновременно и как частица, и как волна. Чтобы осознать все это, пришлось ввести понятие «неопределенности», найти его строгое математическое выражение. Но появляются все новые и новые частицы, удивляя необъяснимостью поведения, кратковременностью существования и неожиданными характеристиками. Кто знает, сколько их еще появится?..

— Профессор, может быть, элементарные частицы, в свою очередь, состоят из каких-либо более мелких «кирпичиков»? Что, если электрон действительно неисчерпаем? — был задан Нильсу Бору вопрос.

Познания действительно неисчерпаемы, в том числе и в отношении элементарных частиц. Но чтобы понять и объяснить то, что лежит в основе этой неисчерпаемости, нужны новые «безумные» идеи. Прежние теперь уже кажутся само собой разумеющимися. Впрочем, дело не в опровержении старых идей, а в том, чтобы старые теории были верными в частном случае, как это произошло с теорией относительности, включившей в себя классическую механику Ньютона и максвелловскую теорию электромагнитного поля, верных при малых скоростях движения, несопоставимых со световыми.

Вместе со своими друзьями по перу я провожал Нильса Бора и его супругу, помогал им одеться, усаживал в ожидавшую их машину. А сам все время думал о его словах насчет «безумных» идей. Они не давали мне покоя, когда я ехал домой. Я все старался вспомнить какую-то «безумную» физическую идею. И даже ночью не мог долго заснуть, чего со мной никогда не бывает. Но все же заснул... и увидел во сне страшные дни боев на Керченском полуострове. Тогда я вспомнил все.

Таковы ассоциации подсознательного мышления. То, что было накрепко забыто, всплыло теперь в памяти во всех деталях.

В моей памяти ожил невысокий, плотный человек, очень мягкий и воспитанный. Он тотчас вскакивал, едва во время разговора с ним я почему-либо поднимался. Поначалу я думал, что виной всему моя шпала военного инженера третьего ранга и его два кубика артиллерийского лейтенанта. Но потом я понял, что это просто черта его характера. Фамилию его я вспомнить не мог, но или в ней, или в имени его присутствовал «Илья», поэтому я условно буду называть его «Ильин».

Встретились мы на Керченском полуострове в трагические дни немецкого наступления.

Я возглавлял особую группу Главного военно-инженерного управления, направленную маршалом Воробьевым в распоряжение командующего инженерными войсками Крымского фронта генерал-полковника Хренова. В мою задачу входило испытать в бою изобретение, сделанное совместно с моим другом (ныне он академик, назовем его Осиповым), — управляемую на расстоянии противотанковую танкетку-торпеду.

Пусть теперь уже управляют с Земли космическими аппаратами, один из которых создан под руководством академика Осипова, удостоенного за это высших правительственных наград, но тогда наша наивная танкетка, управляемая по проводам, могла принести большую пользу в бою.

Кроме нескольких сухопутных торпед, на вооружении моей группы был еще легкий танк с вмонтированной в него передвижной электростанцией, которая питала электромоторы торпед.

Маленький артиллерийский лейтенант заинтересовался нашей «новой техникой», с любопытством рассматривал ее и заметил, что стелющиеся за танкеткой провода легко перебить снарядами или минами.

Конечно, это было уязвимым местом наших танкеток.

Рядом с лейтенантом стоял командир дивизии, не помню уже его фамилии, грузный, озабоченный полковник. Он рассердился на слова лейтенанта:

— Ежели бояться снарядов и мин, так и воевать нечего! Вас послушать, так и линию связи тянуть нельзя. Вдруг перебьет снарядом?

Артиллерийский лейтенант щелкнул каблуками и согласился с начальником. Тот обратился к сопровождавшему его невысокому полковнику, который оказался писателем Павленко:

— Важна неожиданность. Торпеды — средство оборонительное. Их. надо выпускать внезапно из укрытия, из подворотни или из капонира, прямо на танк, а не гнать ее с разматывающимся проводом через простреливаемое поле. Вот, помню, читал я в вашем романе «На востоке»... — И, взяв Павленко за плечи, командир дивизии повел писателя в свой блиндаж.

Он был из числа тех командиров, которые недавно смелой высадкой отбили Керченский полуостров у гитлеровцев и теперь, держа оборону, сковывали силы врага, мешали развивать наступление на материке.

Потом командир дивизии вызвал меня и обстоятельно объяснил нашу задачу. Он, видимо, верил в торпеды, хотя главную ставку делал все же на противотанковые батареи.

По указанию командира дивизии наши танкетки-торпеды были тщательно спрятаны и замаскированы. Танк-электростанция расположился за холмом, и провода от него к находящимся в засаде танкеткам провели по специально вырытой для этого траншее.

Мои помощники инженер Катков и техник-лейтенант Печников должны были управлять торпедами из укрытий.

Батарея противотанковых орудий стояла рядом с. нашей позицией. Нам с артиллеристом привелось ночевать вместе. После ужина в полутемном блиндаже, освещаемом коптилкой из гильзы, у нас и произошел знаменательный разговор.

— Знаете ли, товарищ военинженер, — начал лейтенант, — никак не могу забыть свои физические проблемы.

— Да, сейчас другие проблемы, — заметил я.

— Но ведь законы природы все те же. И все так же надо их понять и объяснить.

Я удивился, искоса посмотрев на лейтенанта, размышляющего накануне боя о законах природы.

— Конечно, вы инженер, а не физик, — полувопросительно сказал лейтенант, глядя на меня.

Я ответил, что вместе с Осиповым возглавляю научно-исследовательский институт, что мы сотрудничаем с академиком Иоффе и потому я имею некоторое отношение к физике.

— Тогда я расскажу вам, — решил он. — Кто знает, что случится со мной хотя бы этой ночью. Успею ли я опубликовать то, что открыл...

— Открыли?

— Ну, может быть, так еще рано говорить. Дело не в открытии как таковом, а в модели элементарной частицы, как мы ее себе можем представить.

— Значит, вы хотите представить себе не только модели атома, но и частички, из которых он состоит?

— Вот именно. Вы сразу меня поняли. Лейтенант оживился. Коптилка освещала часть его лица и один ус. Говорил он тихим голосом, размеренно, терпеливо.

— Вы сказали о модели атома, — начал он. — В девятнадцатом веке атом считали неделимым. Кстати, древнегреческое слово «атом» значит «неделимый». Наш двадцатый век ознаменовался разгадкой строения атома.

И лейтенант напомнил мне о Нильсе Боре, о его планетарной модели атома с вращающимися электронами вокруг центрального ядра. Он сказал об условности этого сходства, поскольку в действительности все не так просто, и подчеркнул, что центральное ядро обладает значительно большей массой, чем электрон. Удерживается электронная оболочка вокруг ядра благодаря взаимодействию электрических зарядов. Ядро заряжено положительно, электроны — отрицательно.

— Наука не может остановиться, скажем, на электроне как конечной стадии познания.

— Конечно. Так считал Ленин.

— Все было ясно. Есть протоны, электроны, обнаруживаются нейтроны. Но вот беда: стали появляться непрошеные частицы, для модели атома вовсе не нужные. Их уже шесть штук!.. Куда их девать? Они отличаются от протонов и электронов своей неустойчивостью, коротким сроком жизни. Физиком Дираком были предсказаны, а потом экспериментально получены электроны с положительным электрическим зарядом — позитроны. Электрон и позитрон при соприкосновении исчезали, аннигилировали, выделяя энергию согласно формуле Эйнштейна Е = МС2.

— Разве может исчезать материя?

— Конечно, нет! — воскликнул лейтенант. — Это противоречило бы материалистическому мировоззрению. Речь идет о внутренних структурных изменениях, а не об исчезновении вещества.

— Что же остается на месте аннигилированных частиц?

— Для этого вам нужно понять модель микрочастицы. Я представляю ее себе в виде двух кольцевых орбит, по которым движутся некоторые материальные носители зарядов фундаментального поля. На одном кольце все они имеют положительный знак, на другом — отрицательный. Их разность и выразится в электрическом заряде частицы.

Говоря это, лейтенант вынул из кармана ободок артиллерийского снаряда, потом снял с пальца старомодное обручальное кольцо и положил его внутрь снарядного ободка. Затем он отщипнул от оставшихся после ужина кусочков хлеба мякиш и раскатал несколько белых и черных шариков. Белые он равномерно насадил на внешнее кольцо, а черные (на один меньше) — на внутреннее.

— Представим себе, что это носители этих зарядов, — с улыбкой указал он на шарики. — Они вращаются со скоростями, близкими к световым. И по всем законам должны в таком случае излучать энергию.

— Но элементарные частицы не излучают, — осторожно заметил я.

— Конечно, — согласился лейтенант. — А почему? Да потому, видимо, что внешние и внутренние заряды, вращаясь в одном направлении, но с разными скоростями, полностью компенсируют друг друга. Волна излучения каждой системы накладывается одна на другую так, чтобы горб одной точно приходился на впадину другой. В результате никакого излучения.

— Но ведь должно быть очень точное совпадение количества зарядов, скоростей вращения.

— Вот именно, — обрадовался лейтенант. — Это можно точно подсчитать и определить, в каких состояниях могут существовать микрочастицы.

— Любопытно!

— Естественно, что природные структуры сохранились только в своих устойчивых состояниях. Этих состояний ограниченное число. Оказалось возможным расположить их рядами, как в таблице Менделеева.

— Это что же? Таблица элементарных частиц?

— Не совсем так. Но периодическая система — это точно.

Я улыбнулся, услышав от физика военное словечко «точно».

— Да, точно, — повторил молодой ученый. — Я употребляю это слово как математическое. В каждом ряду расположатся вот такие кольца с неизменным суммарным числом белых и черных шариков, то есть зарядов фундаментального поля. Понимаете? Но диаметры колец не всегда одни и те же, они могут меняться. А разность таких зарядов на внешнем и внутреннем кольце всегда одинакова. Она равна одному электрическому заряду независимо от их общего числа. Потому мы и знаем элементарные частицы, массы которых отличаются в тысячи раз, а электрический заряд одинаков. Скажем, протон и электрон. Впрочем, я не точен. Могут быть случаи, когда числа электрических зарядов на внешнем и внутреннем кольцах равны между собой. Тогда система нейтральна.

— Нейтрон? — догадался я.

— Да, например, нейтрон. Еще недавно казалось непонятным, почему такая же, как протон, частица не имеет электрического заряда. Теперь это можно объяснить. В каждом ряду есть наиболее выгодное и устойчивое состояние микрочастицы. В таком виде она скорее всего может существовать даже отдельно от других частиц. Это невозможно для других ее состояний, для неустойчивых. В первом ряду самой такой устойчивой системы является протон.

— Но, кроме протона, возможны и другие частицы в этом ряду?

— Не частицы, а состояния одной и той же частицы. Все дело в том, что ЧАСТИЧКА-ТО ОДНА! Она лишь может быть в разных состояниях, переходя в известных условиях из одного в другое. Скажем, фундаментом.

— Как же возможен переход из одного неизлучающего состояния в другое? Ведь в промежутках будет излучение?

— С вами приятно говорить, товарищ военинженер. Вероятно, носители первичных зарядов на орбите в известных условиях сливаются в кольцо. Как известно, кольцевой электрический ток не излучает. В таком состоянии микрочастица, не теряя энергии, может менять свои размеры, даже делиться, чтобы в новом виде снова превратиться в состояние, когда на орбите возникнут как бы материальные узлы, носители зарядов фундаментального поля.

— Как же вы докажете, что это так?

— Дело в том, что эта модель дает возможность вычислить характеристики микрочастицы, ее массу, электрический заряд, магнитный момент и механический (жироскопический) момент, вызванный вращением носителей зарядов. Потом все это можно сравнить с результатами эксперимента.

— И что же?

— Совпадение полное! Например: теоретически протон должен обладать массой 1836,171. — Лейтенант написал эту цифру на необструганной доске стола. — А опыт дает от 1836,05 до 1836,18. Электрический заряд, вернее, его квадрат по теории будет 7,29717 × 10-3. Опыт дает от 7,29716 × 10-3 до 7,29724 × 10-3. Наконец, величина механического момента, так называемого «спина», в обоих случаях точно 0,5. А если взять электронный ряд (это третий ряд по моей таблице), то там совпадение чисел просто полное.

— Да-а, — только и мог протянуть я, пораженный всем услышанным. — А ведь схема-то простая, — и я указал на кольца с хлебными шариками.

— Иначе и быть не может, — мягко улыбнулся мой собеседник. — Все сложное создается из простого. Кстати, хлебные шарики, то есть первичные заряды, можно представить себе расположенными зеркально. — Сказав это, физик поменял местами белые и черные шарики. — Тогда мы будем иметь дело с античастицей — с антипротоном вместо протона и позитроном вместо электрона. Может быть, когда-нибудь люди додумаются до того, чтобы получать энергию от соединения таких зеркальных частиц, которое сопровождается выделением энергии.

В те времена, к которым относится наш разговор с физиком-лейтенантом, мало кто думал об использовании ядерной энергии, а он смотрел намного вперед:

— Можно представить себе вселенную как вакуум, заполненный материальной субстанцией.

— Что же она собой представляет?

— Слипшиеся после аннигиляции микрочастицы. = Вероятно, одним из главных законов природы надо признать всеобщий закон сохранения. В природе ничто не уничтожается. Если вакуум образовался в результате аннигиляции зеркально-противоположных микрочастиц, то они, отдав в пространство энергию аннигиляции, ОТНЮДЬ НЕ ИСЧЕЗЛИ. Они существуют, но в слипшемся виде, когда электрические заряды на внешних и внутренних кольцах полностью нейтрализуют и компенсируют друг друга. Их масса как мера вещества находится в скрытом виде и ощутится лишь после проявления ими электромагнитных свойств. А до этого они ничем себя не обнаруживают, ничем, кроме передачи со скоростью света электромагнитных колебаний.

— Прежде это называли эфиром. Этаким веществом без массы.

— Вот именно. Вакуум, в котором, казалось бы, ничего нет, на самом деле вполне веществен. Вот почему правомерно говорить о его механических свойствах; о полном отсутствии плотности — и одновременно упругости «сверхтвердого тела».

— Знаете что, лейтенант. Меня поражает не столько стройность картины, которую вы рисуете, сколько согласие вашей теории с опытом. Почему же этого не знают физики?

— Я просто не успел никому сказать о своих мыслях, не показывал результатов. — И мой собеседник с улыбкой посмотрел на исписанную цифрами доску стола. — Дело в том, что я здесь... во фронтовых условиях, продолжаю разрабатывать свою теорию.

Я с удивлением посмотрел на маленького тихого лейтенанта. Он нисколько не походил на Эйнштейна, но то, что он говорил, мне казалось не менее значимым, чем далее теория относительности.

— А как же Эйнштейн? — спросил я.

— С ним тоже полное совпадение, — сказал лейтенант. — Его теория относительности войдет составной частью в более общую теорию, которую мне хотелось бы создать, основываясь на мечте того же Эйнштейна о едином поле. Фундаментальное поле получается действительно единым в разных своих выражениях: и магнитное, и электрическое, и поле сильных и слабых взаимодействий, и даже гравитационное. Все вытекает вот из этой модели, — и лейтенант постучал по кольцам с хлебными шариками. — Но и эта будущая теория станет лишь частью еще более общей теории вакуума, я бы сказал, Теории Фундаментального Поля.

Я посмотрел на оживленное лицо лейтенанта, потом на его нехитрое «наглядное пособие».

И тут вбежал связной, совсем еще мальчик, с круглыми глазами, в нахлобученной на лоб пилотке. Немцы начали танковую атаку.

Я почему-то подумал об Архимеде, который что-то чертил на песке, когда в его родной город ворвались вражеские воины. Римлянин, не желая ждать, пока «безумец» закончит свои вычисления, убил его.

Мы с лейтенантом поспешили на свои места.

С моего наблюдательного пункта был виден только холмик, за. которым укрылась противотанковая батарея лейтенанта Ильина.

Керченский полуостров — голая бугристая степь. С вершины холма можно было разглядеть нефтяные баки на окраине Феодосии. Нигде не было ни кустика, ни дерева. Солдаты вгрызались в землю, используя каждую складку местности.

Немецкие танки грозно спускались с пологого холма.

Батарея Ильина открыла огонь. Головной танк остановился. Из него повалил клубами, стелясь над землей, черный дым.

Остальные танки, обнаружив теперь противотанковые пушки, ринулись на них, стреляя из орудий.

Запылал второй танк. Еще один остановился с поврежденными гусеницами. Я не знал, что делается у Ильина, но видел, что через холм к нему переваливают два вражеских танка. Они сомнут батарею гусеницами! Уцелеет ли мой физик?

И тут сухопутная торпеда, похожая на крохотную танкетку, выпрыгнула из капонира и устремилась к первому танку, круто взбираясь на холм.

Из танка заметили ее, но, вероятно, не поняли, что это такое. На всякий случай дали по ней очередь из пулемета. Должно быть, пули накоротко замкнули обмотку одного из электромоторов. Другой продолжал работать, и танкетка побежала по дуге, обходя танк.

Тогда вылетела вторая торпеда, управляемая Печниковым. Танк был слишком близко от нее, чтобы увернуться. Фонтан огня и дыма с грохотом метнулся как-то вбок. Когда дым рассеялся, мы увидели, что у танка разворочена броня.

Немецкие танки, несмотря на потери, продолжали лезть на позиции батареи Ильина.

Возможно, что взрыв нашей торпеды воодушевил артиллеристов. Они возобновили стрельбу. Еще один танк вспыхнул.

Остальные повернули в сторону, попытались было прорваться в другом месте, но там тоже наткнулись на огонь противотанковых орудий. Тогда они поползли обратно.

Наступила минута передышки.

Я беспокоился за Ильина и стал пробираться от своего наблюдательного пункта по окопам к противотанковой батарее. Тревога моя была не напрасной. Из всех пушек батареи уцелела только одна. Артиллеристы выкатили ее из укрытия для стрельбы прямой наводкой. Лейтенанта около них не было.

Я подошел к другой пушке, разбитой снарядом. У колеса лафета на одном колене стояла девушка-санинструктор. Ее расстегнутая сумка с красным крестом лежала на траве.

Да, артиллерийский лейтенант, физик, лежал здесь, рядом с двумя убитыми солдатами. Он был еще жив. Его положили на носилки, чтобы отправить в медсанбат.

Я заглянул в глаза раненого. Он смотрел на меня, силясь что-то сказать. Губы его беззвучно шевелились.

Лейтенанта унесли, убитых оттащили. Рядом с уцелевшей пушкой появились еще двое. Около них стоял уже другой лейтенант, высокий, худой, совсем юный. Он нервно потирал подбородок и старался говорить строгим голосом.

Я хотел вернуться на свой наблюдательный пункт, но меня вызвал командир дивизии.

Он гневно метался по блиндажу и размахивал руками. Увидев меня, полковник закричал:

— Сейчас же грузи свои торпеды. Отступать к переправе!

— Как отступать? — опешил я.

— Не рассуждать! — рявкнул полковник, багровея. Это был уже совсем не тот человек, который беседовал вчера с Павленко о его романе «На востоке». — Расстреляю! Немцам свою технику хочешь оставить?

Я понял, что дело плохо. Полковник, очевидно, с болью в сердце выполнял чей-то приказ.

Я выбежал от него и бросился к блиндажу, где провел ночь. Он был совсем близко.

Не отдавая отчета в том, что делаю, я нагнулся над необструганным столом и, засветив электрический фонарик, переписал набросанные лейтенантом-физиком цифры. Увидев ободок артиллерийского снаряда с засохшими шариками хлеба, я механически сунул его в карман.

Потом я забыл об этом.

Нет ничего горше отступления, когда противника только что отбили, когда он не виден и все-таки грозит откуда-то, прорвавшись в неведомом месте.

Прошел дождь, дорогу развезло. На ногах налипали пуды глины.

Мы отступали до самого Керченского пролива. Оставшиеся торпеды и наш танк-электростанцию пришлось взорвать...

Больно говорить, как мы переправлялись через пролив. Не об этом должен быть мой рассказ. Могу только сказать, что переправлялись кто как мог: на лодках, на плотах, счастливцы — на рыбачьих суденышках. Пропустив несколько катеров, мы наконец попали на один из них... Но немецкий самолет потопил его... И мне пришлось вместе со своими товарищами добираться до таманского берега вплавь.

Здесь был словно другой мир. Звенели цикады, не слышно было взрывов, стонов, криков... Тихо шуршали о гальку ленивые волны. Светило яркое солнце, но у меня зуб на зуб не попадал.

По примеру других я разделся и разложил сушиться мокрое обмундирование.

Было странно лежать на песке, греться на солнце, будто на пляже, когда на том берегу был сущий ад.

Я расправил лежавшую на камнях гимнастерку и обнаружил в кармане ободок с размякшим хлебом. Я тотчас схватил брюки и нашел в них мокрую тетрадь, в которую переписал в блиндаже цифры.

Я не знал, удалось ли всем госпиталям переправиться через пролив, остался ли жив мой собеседник.

Когда в конце войны я снова был на фронте и входил с передовыми частями в освобожденную Вену, бои на Керченском полуострове казались туманным сном.

А после встречи с Нильсом Бором они мне и в самом деле приснились, конечно, из-за «безумной» идеи лейтенанта-физика.

У меня есть знакомые физики.

Теперь, пусть и с опозданием, я все же решился рассказать им о том, что узнал в блиндаже.

Меня выслушали вежливо, но с улыбкой, потом объяснили, что представления о структуре микрочастиц, высказанные мне за час до боя неизвестным лейтенантом, — жалкое вульгаризаторство. Современные авторитеты, де оставляют места для «наглядных моделей» элементарных частиц. Они требуются только тем, кто не владеет математическим аппаратом, прекрасно выражающим все микроявления.

Несколько сконфуженный, я ушел. Тот лейтенант, решил я, очевидно, погиб, потому что никто из знакомых мне физиков не мог вспомнить его выступлений в печати. В физике торжествовало представление, что микрочастица — это точка, познать которую в ее воображаемой структуре просто нельзя. Досадно, но удобно.

И вот случилось неожиданное. Нильса Бора давно уже не было в живых. Он ушел из жизни, оставив в науке значительный след. Слушавшие великого физика в московском Доме писателей восприняли его слова о неизбежности появления новых идей как завещание.

В октябре 1967 года мне позвонил по телефону председатель секции физики Московского общества испытателей природы Л. А. Дружкин.

— Я знаю, что вы физик в большей мере, чем сами о себе думаете, — сказал он, пригласив меня на очередное заседание секции.

Там меня ждал сюрприз: доклад о новой теории элементарных частиц. Я не удивился. Сейчас многие пытаются представить себе кирпичики мироздания. Достаточно вспомнить о таинственных кварках!..

Докладчик показался мне незнакомым. Время наложило свой отпечаток и на меня и на него. Он приближался к пятидесятилетнему рубежу, я миновал шестидесятилетний. Но я сразу узнал его, едва он заговорил. Тот же мягкий голос, предупредительно вежливое отношение ко всем, кто, его слушает. Осторожные выражения и предельная скромность.

Как преобразилась, выросла его теория!.. Нет, он не сидел сложа руки все это время!

Московское общество испытателей природы в высшей степени авторитетная, организация. Здесь докладывали о своих исследованиях выдающиеся русские ученые начиная с 1805 года.

Моего старого фронтового знакомого слушали с большим вниманием много физиков, профессоров, докторов наук, не говоря уже об увлеченной молодежи.

Да, теперь физикам-экспериментаторам было открыто уже не шесть, а около двухсот элементарных частиц. Большинство из них были короткоживущими, неустойчивыми, что не находило объяснения с точки зрения прежних теорий. В эти теории, чтобы свести концы с концами, приходилось вводить «произвольные» постулаты. Докладчик насчитал их 28!..

В своей теории он отказывался почти от всех постулатов, сохранив лишь три, характеризующие основные законы природы. Остальные «постулаты» или доказывались, исходя из его теории, или отвергались как недоказанные.

Пожалуй, в любой теоретической работе самым главным надо признать соответствие ее опыту.

Сидевшие вместе со мной физики могли убедиться в поразительном совпадении теоретических расчетов докладчика с результатами современных экспериментов. Все элементарные частицы, когда-либо обнаруженные, находили свое место в периодической системе микрочастиц, а их характеристики совпадали до пятого знака и выше во всех тех случаях, когда экспериментальные данные были известны. А когда неизвестны? Тут, пожалуй, физиков ждал наибольший сюрприз. Периодическая таблица предсказывала существование большого числа частиц, еще не открытых. Слушателям был продемонстрирован каталог микрочастиц, характеристики которых вычислены по формулам автора теории электронно-вычислительными машинами в Ленинграде.

Впоследствии бесстрастной и безошибочной ЭВМ был создан впечатляющий каталог элементарных частиц, как существующих, так и предсказуемых.

Оказывается, все эти двадцать пять лет он не торопился с публикацией своей работы, которая должна была перевернуть многое в представлениях физиков. Конечно, то, что он говорил, теперь мало напоминало наш разговор в блиндаже. Это была уже «корректная», математически глубоко обоснованная теория.

По крайне мере так охарактеризовал ее первый из выступавших после доклада — ныне заслуженный деятель науки и техники, доктор наук, профессор М. М. Протодьяконов, один из руководителей Института физики Земли Академии наук СССР.

Один за другим говорили физики. И ни один из них на этом заседании физической секции, которая состоялась в старом здании Московского университета, не выступил против теории, впервые услышанной мной двадцать пять лет назад. Надо признаться, что потом в скептиках недостатка не было, впрочем, как и всегда. Вспомним слова Макса Планка Эйнштейну.

Но, оказывается, не только мне она стала тогда известна.

В конце заседания председатель секции физики Л. А. Дружкин сказал, что более двадцати лет следит за развитием этой теории.

Московское общество испытателей природы приняло решение опубликовать эту новую теорию микрочастиц.

Как-то ее воспримут ученые во всем мире?

Мне известен только один случай, когда крупнейший современный физик де Бройль, многие годы утверждавший, что невозможно наглядно объяснить происходящие в элементарных частицах процессы, взошел на кафедру Сорбонны и объявил, что все эти годы ошибался. Его пытались отговорить, урезонить, но он стоял на своем, перейдя в лагерь тех, кто искал ответа на загадки строения вещества не только в математических формулах, но и в наглядных картинах.

Помню, что сидевший рядом со мной редактор издательства «Мысль», не зная о моей былой встрече с докладчиком, шепнул:

— А ведь он немного похож на молодого Эйнштейна.

Конечно, на молодого он уже не походил. Я-то докладчика видел молодым!.. Но что-то в нем было такое, что позволило моему редактору верно подметить сходство.

Наше знакомство с Ильиным — намеренно продолжаю так называть его — возобновилось. Мы часто и много беседовали.

Я понимал, как нелегко ему будет убеждать скептиков и опровергать противников.

Под впечатлением возобновленного знакомства я пошел к своему старому другу, с которым когда-то изобретал танкетку-торпеду, — к академику Осипову.

Четверть века мы с ним шли каждый своим путем. Я писал книги, а он... О его делах, пожалуй, лучше всего скажет то, что он уже и Герой Социалистического Труда, и лауреат Ленинской премий, и академик... Словом, он мог бы быть героем любого из моих фантастических романов, живой, энергичный, изрядно поседевший, но по-прежнему подвижный, с огромным лбом и мефистофельским профилем.

Я знал о былых увлечениях моего друга. Он когда-то мечтал свести воедино все поля: и магнитное, и гравитационное, и инерционное. И подходил к этому вопросу как инженер-электрик, спроектировавший на своем веку немало машин.

Я рассказал ему о новой теории микрочастиц.

— Слушай, — сказал он. — Ты же писатель-фантаст. Ты должен экстраполировать, представить себе, что из всего тобой услышанного следует.

— Хорошо, — ответил я. — Хочешь, я напишу, будто бы ты заинтересовался этой теорией и решил применить ее в жизни.

Он расхохотался и хлопнул меня по плечу:

— Валяй, Саша. Обещаю, что если ты напишешь так, как надо, то я пойду вместе с твоим лейтенантом в бой.

Вот каким образом в этот реалистический рассказ вошла фантастическая мысль. Я получил право представить себе моего академика, ринувшегося в бой за...

#### 2. Мечты

За что мог ринуться в бой такой человек, как он? За теоретические представления? Нет, не такого он был склада. Он создавал действующие машины, которые делали переворот в технике.

Итак, прежде всего академик должен был встретиться с моим фронтовым знакомым.

И они встретились, как я представил это себе.

Кабинет академика помещался в старинном особняке. Еще при мне ученый приказал убрать все стыдливые экраны, прикрывавшие живопись и деревянные украшения стен. В окнах остались цветные витражи. Но все это не мешало неистовому директору института. Здесь он предавался своим мыслям, беседовал с теоретиками, здесь же разносил незадачливых начальников цехов и лабораторий.

Сейчас он ходил по кабинету, очевидно взволнованный.

— Вы понимаете, что придумали? — строго спросил он, останавливаясь перед гостем.

Гость, низенький и пополневший человек, всегда вскакивал, когда перед ним стояли. Он был так воспитан. Академик никак не мог его усадить.

— Слушайте, — заговорил академик. — Вы сами не понимаете, что придумали. Кружочки? На них электрические зарядики? Видите люстру под потолком? На внешнем ободе шесть ламп, на внутреннем пять. Во время войны внутренние лампочки у нас были синими. Другой знак зарядов. Понимаете? Это же модель вашей микрочастицы!..

— Вы совершенно правы, — вежливо согласился гость.

— Сидите, сидите. Стоять перед другими академиками будете, которые к ответу притянут.

— Я готов.

— Так вот. Видите эту люстру? Давайте ее разломаем.

— Как разломаем? — опешил теоретик.

— А так. В девятнадцатом веке были известны энергетические процессы, которые протекали только на молекулярном, уровне. В нашем веке ученые проникли в глубь атомного ядра и извлекают уже энергию не химических, а внутренних связей.

— Да, конечно.

— А у вас кольца как связаны?

— Это точно подсчитано. Энергия связи, скажем, протона в пятьдесят шесть миллионов раз больше, чем энергия его аннигиляции.

— Вот именно. Вот отсюда и плясать будем. Так какая это энергия?

.— Энергия внутренней связи микрочастицы.

— Не можете выговорить. Это же не химическая, не атомная энергия, это вакуумная энергия.

— Пожалуй, вы правы.

— Значит, можно поставить перед собой задачу не только убедить почтенных старцев, что микрочастицу можно представить так устроенной, как эта люстра под потолком, а найти способ люстру разломать на части и выделившуюся энергию использовать. Это, брат, уже будущее человечества! Об этом не думали?

— Я не позволял себе об этом думать. Я ставил себе сольдо одну главную задачу: дать стройную теорию, согласованную с результатами опытов.

А со мной надо идти дальше! Атаковать микрочастицу. Если люди, сообразив, как велика энергия внутриядерные связей, стали ее освобождать и открыли новый, атомный век, то теперь... Понимаете, что теперь?

Гость был ошеломлен ураганом мыслей, низвергнувшихся на него. Казалось, он сам создавал циклон, который должен был перевернуть былые представления, а теперь этот циклон вырвался из-под его контроля, и теоретик чувствовал себя увлеченным бешеным вихрем.

— У меня есть немало замечательных инженеров, они работают во многих филиалах нашего института. Мы поставим перед ними задачу разрушить микроструктуру. Чем? Да тем самым, из чего она состоит. Имеет она магнитный момент? Имеет. Сам точно его вычислил. А если ударить по этому магнитику магнитным полем немыслимой силы?

— Вероятно, можно найти способ воздействовать на микроструктуру.

— Теоретически. Но между теорией и практикой пропасть. Будем наводить на нее мост. Вы, конечно, знаете, что наш замечательный академик Петр Леонидович Капица работал у Резерфорда и прославил Кембридж магнитными полями небывалой силы. Он создал электрический генератор мгновенного действия. Нужно было быть замечательным инженером, чтобы найти такое блестящее решение. Какой машиной можно привести в движение сверхмощный импульсный генератор? Капица раскручивал массивный маховик, а потом с маху останавливал его, используя генератор как тормоз. Мгновенная мощность получилась гигантской, магнитные поля — небывалой силы. Мы потом с Сашей, с писателем, с которым вы на фронте встречались и который нас с вами свел, пытались такие электрические пушки сделать. Он даже роман «Пылающий остров» об этом написал. Аккумуляторы нужны необычайной силы, сверхаккумуляторы. Капица — тот тоже строил аккумуляторы, которые жили один миг, включались и — пффф!.. Магнитное поле опять огромное получалось.

— Да, я все это читал.

— Вернемся к тому, что вы читали на новом уровне. Техника развивается по спирали. Ныне в промышленности металл штампуют магнитными взрывами. Слыхали?

— Нет, не слышал.

— Напрасно. Очень интересно. Создается колебательный контур: самоиндукция, емкость. В емкости можно накопить огромную энергию и мгновенно перевести ее в магнитное поле. Ох как нам с Сашей нужны были такие конденсаторы, когда с электропушками возились! Не было их. И потом, когда в промышленности стали мечтать о магнитной штамповке, тоже не имели таких конденсаторов. А институты не хотели их разрабатывать. Не перспективно! К счастью, появились лазеры. Вот для них стоило разработать могучие конденсаторы, о которых мы в свое время еще с Абрамом Федоровичем Иоффе вот в этом кабинете мечтали. Разработали. И теперь штампуют.

— Достаточно ли таких конденсаторов или машин для тех целей, о которых вы сказали?

— Конечно, недостаточно!.. Созовем всех наших инженеров и поставим перед ними сумасшедшую задачу, «безумную», как говорил Нильс Бор, — сделать такую электрическую машину, которая на миллионную долю секунды, сама превратясь в пар, создала бы, пусть в одной точке пространства, магнитное поле немыслимой величины, больше тех полей, которые существуют в микрочастицах. И разломаем этим полем «микролюстру».

Гость академика ушел от него ошеломленный, он ожидал критики его теоретических мыслей или поддержки, но никак не такого взлета фантазии.

Академик был человеком дела. Ему не требовалось ни напоминаний, ни консультаций.

Годы бегут незаметно, сразу и не сообразишь, сколько их прошло, когда приходишь к нему в тот же самый длинный кабинет с камином, со стенами, отделанными резным деревом, и потолком, покрытым живописью.

На этот раз к академику Осипову мы пришли вместе с моим былым фронтовым знакомым Ильиным.

— Летим в Феодосию, — объявил академик, далее не спрашивая нашего согласия.

— Почему в Феодосию? — изумился я.

— Керченский полуостров нужен. То самое место, где ты первые наши танкетки на фашистские танки пускал. Там будем магнитные взрывы проводить, «люстры» ломать.

Я не понял, при чем здесь люстры, но мой спутник прекрасно это понял и взволновался.

И опять передо мной, как в давние военные годы, степь Керченского полуострова. В ясный весенний день она вся покрыта тюльпанами. Цветы рассыпаны среди сочных трав, разноцветные, нежные, но без запаха, с восковыми чашечками, хранящими росинки.

Академик Осипов больше всего на свете любит эти степные цветы. Он, кажется, забыл, для какой цели привез сюда нас, и увлеченно собирает букет, нет, не букет, а целую охапку тюльпанов. Мы помогаем ему, но ему все мало. Такой он во всем. Ему всего мало.

Я стоял на вершине холма, и дух захватывало от бегущих по степи пестрых волн.

Далеко в лиловом мареве виднелись как бы меловые утесы. Это гигантские многоэтажные дома Феодосии. Может быть, отсюда я смотрел когда-то на видневшиеся вдали нефтяные баки.

Я старался представить себе, где были окопы и капониры, где находился блиндаж.

Может быть, такие мысли были и у моего немного печального спутника.

Мы все трое понесли цветы в «блиндаж» — так называл академик Осипов подземный наблюдательный пункт, откуда управляли магнитными взрывами.

В ложбину между холмами свозят все обломки машин, которые удается собрать в степи после очередного опыта.

Академик смеется:

— У нас эти машины как бы боепитание для армии. Снаряды, научные снаряды, которые мы взрываем во славу будущей вакуумной энергии. В этих машинах-снарядах, живущих лишь одно мгновение, магнитное поле в миллионы раз больше, чем прежде известные.

Нагруженные цветами, мы шли дальше, а академик говорил:

— Вакуумная энергия — хитрая штука. Про люстру, которую мы с твоим другом разламывали в моем кабинете, слыхал? — обратился он ко мне. — Путешествовать по периодической таблице между клетками будем!..

— Как это понять? — спросил я.

— Он знает, — кивнул академик на нашего спутника, почти скрытого в охапке цветов. — Он нашел, что микрочастицы могут существовать только в энергетически компенсированных состояниях. А кто сказал, что не могут быть промежуточные состояния, когда излучение происходит как раз за счет энергии внутренней связи микрочастицы, то есть за счет вакуумной энергии? Кто сказал, что звезды светят благодаря только термоядерным реакциям, которые будто бы там происходят? Никто там не побывал. И я туда не хочу. Слишком жарко. А почему жарко? Может быть, потому, что там происходит некомпенсированное излучение.

— Это очень интересно, — сказал физик-теоретик.

— Я тоже так думаю, — кивнул академик и начал спускаться в «блиндаж».

Последний раз оглядываюсь на степь. Где-то свистят суслики, высоко в небе кружит коршун. Ветерок донес запах моря.

Полутемный ход в подземную лабораторию. Подземелье с бетонированными стенами и сводом. Пахнет свежей краской и горелой изоляцией. Академик морщится. По лицу его видно, что он готов кого-то распекать.

Перед нами высокий худой саперный капитан сочень серьезным лицом. Я уже знаю, что академик применил взрывные электрические машины, где вместо двигателя работает сила взрыва, развивающая умопомрачительные мощности.

Осипов отдает приказ саперному капитану увеличить заряд взрывчатки в несколько раз. Тот щелкает каблуками и выходит, покосившись на охапку тюльпанов, сунутую в ведро.

— Это что! — восклицает академик. — Это цветочки. Сейчас мы хоть молекулу рады зажечь. А если вздумаем второе солнышко зажечь для полярных областей или подводное солнце для течений, которые решим подогреть? Вот тогда будут ягодки!

— Тогда понадобятся уже другие машины, — замечает физик.

— Конечно, — соглашается академик. — Но и наши электромашинные снаряды со взрывными двигателями сослужат нам службу.

И сослужили!

В этот день в степи уже нет тюльпанов. Травы пожухли, и над ними поднимаются жаркие струйки воздуха. Контуры холмов искажаются и дрожат. В лиловом мареве нельзя различить меловых утесов феодосийских зданий.

Из подземной лаборатории мы выходим словно в раскаленную печь. Тихо в знойной унылой степи. Только к вечеру проснутся и заведут свою нескончаемую песню цикады.

Молодые помощники академика бегут впереди нас к яме, в которой произошел очередной взрыв, уничтоживший электрическую машину мгновенного действия.

Мощность ее, как нам объяснили, по сравнению с первыми опытами увеличилась в сотни тысяч раз.

Мы шли смотреть ее обломки, то, что осталось от статора и ротора, хотя в обычном понимании их в машине нет. Они не столько двигались друг относительно друга в момент взрыва, сколько способствовали нарушению магнитного равновесия, и сила взрыва, сочетаясь с разрядом мощнейших конденсаторов, создавала в одной точке магнитное поле запредельной силы.

Молодые люди, опередив нас троих, стоят на краю ямы.

— Давайте, давайте, орлы, — торопит академик. — Позаботьтесь очистить яму для следующего взрыва.

— Не надо, — говорит один из инженеров. — Теперь не надо.

— Как не надо? Что вы сияете? — сердится академик.

— Это не мы сияем, Андрей Гаврилович. Это там.

— Ничего не вижу, — нетерпеливо расталкивает их Осипов.

— А вы подвиньтесь сюда, Андрей Гаврилович, чтобы вон тот осколок не заслонял. Теперь видите?

— Горит! — восклицает академик Осипов. В голосе его звучит былой комсомольский задор. — Черт меня возьми, светится!

— Может быть, это остаток от взрыва, раскаленная крупинка? — осторожно предполагает Ильин.

— Вот всегда они такие, теоретики! — с деланным возмущением обрушивается на гостя Осипов. — Какой же это остаток, когда смотреть больно! Вы же артиллерийским офицером были. Понимаете ли вы, что точка излучает!

Мы с физиком с нужного места и сами теперь видим, что среди черных дымящихся обломков машины, несмотря на яркий солнечный свет, сверкает ослепительная звездочка.

Рабочие дни для академика Осипова стали сплошными праздниками. Мы с Ильиным никуда не поехали, как рассчитывали прежде, а остались на «магнитном полигоне».

«Звездочку» с величайшими предосторожностями достают из ямы. Она мельче самой малой крупинки песка, но, едва попадает на высушенную зноем траву, тотчас поджигает ее. Дым стелется по степи, словно пустили по ней палы.

Пришлось перенести «звездочку» в подземелье, и туда уже нельзя войти без жароупорных костюмов. Точные приборы учитывают все излучаемые молекулой большие калории тепла.

В разбитой у холма палатке за складным столиком сидит физик-теоретик и считает, считает. Он закладывает основы будущей теории вакуума. Академик Осипов то и дело подходит к нему, и они что-то оживленно обсуждают. Шумит больше академик, а Ильин, как всегда, говорит ровным, тихим голосом, вставая, когда академик приближается к нему.

— Как в топке парового котла! — радостно объявляет мне академик. — Это уже, брат фантаст, техническое решение задачи. Можно зажечь любое количество таких «звездочек», перевернуть всю энергетику мира! Ведь каждая будет светиться несколько столетий! — и он указал на подземелье. Над ведущими вниз ступеньками поднимались знойные струи воздуха.

Но неистовому Осипову и этого мало. Для него «звездочка» только первый шаг. Он уже мечтает о новой великой географии Земли, которую создаст человек, он уже видит исполинскую электрическую машину, приводимую в действие мощным ядерным взрывом и поднятую ракетой на орбиту искусственного спутника. На высоте нескольких тысяч километров произойдет безопасный инициирующий ядерный взрыв, почти вся энергия которого на миг перейдет в магнитное поле. И тогда над Землей зажжется новое, вакуумное солнце. Академик уже видит, как оно восходит и заходит вместе с настоящим, но его лучи не скользят в полярных областях по поверхности, а падают почти отвесно, не теряют своего тепла в толстом слое атмосферы, а равномерно нагревают Заполярье, создавая там такой же климат, как и в средних широтах. И мысленно видит академик магнитный взрыв даже под водой. Вспыхнувшее там «подводное солнце» станет нагревать морские течения, изменяя в нужную сторону климат Земли, который должен стать управляемым. Академика не смущает поднятие уровня океана. Ведь материки можно отгородить ледяными дамбами.

Изменится география Земли. Навсегда будет покончено с пресловутым энергетическим голодом. Никогда не иссякнут энергетические ресурсы, заключенные в каждой молекуле любого вещества.

#### 3. Возможности

Мой старый друг дочитал принесенные ему страницы.

— Ах, Саша, Саша! — с упреком сказал он. — Неисправимый фантаст! Никак ты не можешь увидеть самого главного.

— Разве я мало увидел? — удивился я.

— Я не говорю, что мало. Я говорю, что не все. Написав о вакуумной энергии, ты забыл про вакуум.

— Как так «забыл»?

— Помнишь, у твоего фронтового друга говорится (Осипов, оказывается, уже изучил изданную Пулковской обсерваторией работу физика-теоретика)[[45]](#footnote-45), что вакуум — это слипшиеся зеркальные частицы. Что это значит?

— Вероятно, их молено разделить.

— Верно. Возбудить вакуум.

— Но на это надо затратить очень много энергии.

— На каком уровне? На уровне ядерной энергии. Возбудив вакуум, мы как бы из ничего, а на самом деле из скрытой материальной субстанции, какой является вакуум, получим пары микрочастиц. А уж эти частицы можно использовать, чтобы забрать у них энергию микросвязей уже на новом уровне вакуумной энергии, которая на несколько порядков выше, чем ядерная энергия, затраченная на возбуждение вакуума.

— Значит, ты считаешь, что энергию можно получить из пустоты?

— Так скажут только люди, у которых в голове пусто. Не из пустоты, а из вакуума, состоящего из квантов материи, представляющих собой... Что? — Он вонзился в меня вопрошающим взглядом.

— Слипшиеся частички и античастички.

— Верно! И еще ты, занимающийся инопланетными делами, не учел, что для звездных полетов можно использовать вакуумную энергию пространства, вакуум, по которому пролетаешь.

— Значит, ты поверил в вакуумную энергию?

— Американцы говорят: «В бога мы веруем, а остальное наличными». Наличное — это моя специальность. Будем делать вакуумную энергию, так сказать, наличностью. А тогда посмотрим. Кстати, астрономы выдвинули теорию насчет высших цивилизаций космоса, разделили их на три типа. Первый по энерговооруженности равен земной, второй использует всю энергию своего светила, а третий — энергию всей Галактики. Я счел это ерундой. Как использовать энергию звезд, когда расстояния между ними равны тысячам световых лет? А теперь это звучит по-иному. Если быть не только пассивными потребителями всемирного излучения, а самим зажигать солнца вакуумной энергией, то нет видимых границ для роста энерговооруженности. Очевидно, такую цивилизацию нужно отнести уже к типу высшей, которой доступны любые мощности. Неплохая перспектива для человечества!

— Подожди, Андрей! Ты предложил мне пофантазировать для того, чтобы решить...

— Что ж тут решать... Тащи своего теоретика. И имей в виду, что только *та теория верна, которая открывает путь к дальнейшему развитию науки, к новым взлетам фантазии, к новым исканиям и победам,* а не заводит знание в тупик. Вот так, фантаст. Пусть тащит свою новую книгу[[46]](#footnote-46), которую умудрился издать.

И он крепко ударил меня по плечу. Я думаю, что он очень точно выразил смысл «завещания» Нильса Бора.

### ТРИНАДЦАТЫЙ ПОДВИГ ГЕРАКЛА

Оказывается, и один в поле воин!

Двадцать лет назад во время путешествия на теплоходе «Победа» вокруг Европы я побывал в Греции. Два десятилетия понадобилось мне, чтобы расшифровать загадку последнего мифа о Геракле, и лишь теперь я готов рассказать об этом.

Афины! Средоточие древнего эпоса, колыбель цивилизации. Здесь процветали высокие искусства, театр и поэзия в пору, когда народы теперешней Европы рядились в шкуры и жили в пещерах.

Над пестрой мозаикой городских крыш высится скала с плоской вершиной, над которой виднеется что-то вроде короны, похожей на ферзя с шахматной диаграммы. Бело-желтая, словно отлитая из сплава золота с платиной. Но это мрамор. И не зубцы короны, а колонны разрушенного храма.

Мы поднимались к Акрополю долго. Дорога оказалась трудной и длинной. Идя по ней, люди священных шествий в свое время проникались благоговейным ожиданием чуда, прежде чем увидеть божественные строения.

Поразительно впечатление от величественного полуразрушенного здания Парфенона. В чем секрет? В строгой математической логике сооружения — восемь колонн на короткой стороне храма, семнадцать (именно 17 = 2 × 8 + 1) по длинному фасаду? В незаметном глазу наклоне колонн внутрь, который, скрадывая перспективу, как бы выравнивает их, не позволяет им при взгляде снизу «развалиться»? Или в ощущении воздушной легкости и гармоничности храма, пробуждающего невольные воспоминания о богине Афине-Деве, чья исполинская статуя стояла здесь, сверкая золотом в солнечных лучах, хоть и была деревянной, но в драгоценном чехле, служившем древним афинянам «золотым запасом». Теперь от нее осталось лишь место, где она стояла. Но путешествующие атеисты XX века с их пылким воображением готовы были преклониться перед великолепным языческим идолом.

Боги Олимпа! Сколько превосходных сюжетов получили мы от наивных, но поэтических верований эллинов!

Зевс-громовержец! Силой воцарившийся среди богов. Неистовый сластолюбец, зорко высматривающий для себя земных красавиц.

Его покойно-величавая жена, непроклонная Гера, покровительница домашнего очага, беспощадная гонительница рожденных от прелюбодеяния, в том числе и Геракла, побочного сына своего эгидодержавного супруга.

Бог света, враг зла, златокудрый, сияющий, но порой жестокий Аполлон с серебряным луком и не знающими промаха золотыми стрелами.

Богиня любви Афродита, воплощение женской красоты, рожденная морской пеной...

И множество других «узкоспециализированных» богов светлого Олимпа, которым противостоит брат Зевса Аид, правящий скорбным царством теней.

Украдкой подобрали мы бесценные сувениры, крохотные хрустевшие под ногами кусочки мрамора. Лишь много лет спустя я узнал, что туда по ночам завозили на самосвалах битый мрамор из карьеров специально для легковерных и жадных туристов, готовых растащить «на память» памятники беломраморной старины.

Довольные и взволнованные, вспоминая известные с детства мифы, шли мы по шумным улицам древнейшей из европейских столиц.

Афины в отличие от Рима с его остатками Колизея и раскопанными руинами прямо на улицах ничем, казалось, не напоминали своего древнего прошлого, но...

На углу переполненного машинами проспекта стоял продавец губок, величественно запрокинув голову, словно рассматривая видимый отсюда Акрополь, и держал на плече палку с ворохом губок, не поддельных, а собранных ныряльщиками со дна морского, чем-то похожих на детские воздушные шарики.

Задержавшись у перекрестка, мы все еще говорили о богах Олимпа, об их борьбе с титанами за власть над миром. О том, как они влюблялись, плодили детей, вели вполне человеческий образ жизни и следили за людьми, помогали героям, а великого героя Геракла даже сделали бессмертным.

— Рад, что наши древние боги занимают вас, — на чистом русском языке обратился к нам продавец губок. — Жаль, не вижу вас, мои бывшие земляки.

— Но мы перед вами, — начал было поэт, но спохватился, поняв, что старик слеп.

— Я родился в Колхиде, — продолжал тот, — жил там на берегу вашего Черного моря и до сих пор своими уже незрячими глазами вижу Кавказские горы и ту скалу, к которой бегал еще мальчишкой, ту самую, к которой был прикован Прометей.

Он произнес это с таким серьезным видом, что мы переглянулись.

— Я мог бы многое рассказать вам о Колхиде, о золотом руне, об аргонавтах, об Одиссее, Геракле...

Старый грек заинтересовал нас.

— Вы давно перебрались на родину? — спросил поэт.

— На «родину предков», — отозвался старик и раздраженно махнул рукой. — Отсюда виден Акрополь, но, увы, не видна наша с вами родина.

— Вы тоскуете о ней?

— Потому и заговорил с вами, услышав знакомую речь.

— Да, мы под впечатлением Парфенона! Какой непревзойденный гений создал его?

— Великий зодчий Фидий, друг Перикла, оратора и воина, мечом и словом подчинявшего себе всех. Но, увы, уже без него, — вздохнул старик, — гениальный зодчий по навету врагов, приписавших ему хищения, умер в тюрьме. Но разве найдется в мире столько золота, чтобы оплатить его творения, которыми спустя двести пятьдесят веков любуются люди Земли?

— С вами интересно говорить, — признался поэт.

— Я мог бы вам рассказать много интересного, чего почти никто не знает.

— Может быть, мы пройдем в кафе напротив? — предложил художник.

— О нет, почтенные гости! Там «Брачное кафе», туда приходят только люди, желающие вступить в брак, познакомиться. Боюсь, что нам с вами там делать нечего. Я проведу вас в другое место.

И он двинулся по тротуару. Мы шли за ним, видя, как колышется за его спиной огромная связка губой.

Подошли к кафе с вынесенными на тротуар, как в Париже, столиками. Усатый официант усадил нас за один из них, а мы, скинувшись своей туристской мелочью, хотели угостить нашего спутника, но он запротестовал, сказал несколько певучих слов официанту, и тот исчез.

Вскоре он вернулся, неся бокалы с чем-то ароматным, что нужно было потягивать через соломинки.

— Никак не могу освоиться с тем, что нахожусь на территории Древней Эллады, — сказал художник.

— Так посмотрите вокруг, — сказал слепец, словно видел все лучше нас. — Разве не найдете вы среди людей носатых и мясистых и тех, кто похож на древнегреческие статуи? Девушки, юноши... Представьте себе их с античными прическами, с ниспадающим складками одеянием... Не могу вам помочь в этом, но уверен...

Но он помог, помог! И был прав, слепец! Слепыми оказались мы, зрячие! Люди, сидевшие за другими столиками, прохожие на тротуаре если не все, то некоторые из них стали восприниматься нами как дети Эллады.

Вот юноша! Если вообразить себе его в тупике, с лентой на лбу, удерживающей пряди волос, его копию можно было бы поставить на пьедестал в музее!

А эта девушка, что так заразительно хохочет с подругой! Да обе они с удивительно правильными чертами лица, с линией лба, продолжающей нос, превратись они по волшебству в мрамор, могли бы поспорить с творениями древних мастеров!

Я сказал об этом слепому продавцу губок и еще больше расположил его к нам.

— Вы обязательно отыщете скалу Прометея в Колхиде. Я вам расскажу, как ее найти. Я мальчишкой лазил на нее и нашел выемку от кольца, к которому повелением Зевса приковали Прометея. На высоте ста локтей. И это кольцо разбил Геракл, освободивший титана.

В голосе старого грека звучало столько убежденности, он был так уверен в том, что говорил, что мы снова переглянулись.

Старик откинул голову. Его полуседые вьющиеся волосы были повязаны лентой, переходя в густую, тоже полуседую курчавую бороду, обрамлявшую неподвижное лицо.

Я подумал, что вот таким мог бы быть Гомер!

— Геракл освободил Прометея, приговоренного Зевсом-громовержцем за похищение огня с Олимпа и передачу его людям вместе с ценными знаниями. Но никто не догадывается, что в числе этих знаний было и знакомство с божественной игрой, которой увлекались боги Олимпа, и прежде всего сам Зевс. Он сделал богиней этой игры свою дочь Каиссу, которую прижил с одной восточной богиней, передавшей ей знания игры.

— Что это была за игра? — живо заинтересовался я, услышав знакомое имя Каиссы.

— Не знаю, господа. Могу только сказать, что это была игра богов. В благодарность за свое освобождение титан Прометей обучил Геракла этой игре. И великий герой, возвращаясь со спутниками из похода аргонавтов, коротал за этой игрой долгие дни плавания.

— Это миф? — спросил поэт.

— А что такое миф? — в свою очередь, спросил слепец. — Это сказание о случившемся, переданное из поколения в поколение, может быть, и с видоизменениями. Ведь с тех пор прошла не одна тысяча лет. Так предания становились мифами. Кое-что забывалось. Например, конец мифа о великом герое Геракле, который завоевал бессмертие своими подвигами.

— Загладив ими тяжкие преступления, — напомнил поэт.

— Но боги, назначив ему искупление, учли одно важное обстоятельство. Я не всегда продавал губки. Было время — изучал историю. Первую жену Геракла звали Мегарой. А почему слово «мегера» на многих языках стало символом сквернейшего женского характера? Ведь произношение гласных изменчиво. Отталкиваясь от этого, я делал вывод о возможных причинах преступления Геракла. Почему не предположить, что герой был доведен своей сварливой супругой до исступленного состояния и, не желая, чтобы семя этой женщины жило в его поколениях, в припадке безумия способный и на самоубийство, уничтожил, как самого себя, собственных детей. Нет, я не оправдываю его, но я пытаюсь понять его действия, что, очевидно, сделали и боги, позволив ему искупить свою вину. Не случись этого, не совершил бы он свои тринадцать подвигов, давших ему бессмертие.

— Двенадцать, — робко поправил я.

Слепец не обернулся в мою сторону. Вдохновенно глядя поверх голов прохожих, словно видя вездесущий в Афинах Акрополь, твердо сказал:

— Для людей двенадцать. Для богов Олимпа тринадцать. Об этом мало кто знает. Это результат моих исканий. Я был и археологом, и собирателем народных сказаний. А вот теперь губки...

— Если вы позволите, мы купим у вас по губке. Я хотел сказать, по две губки, — заверил художник. Мы с поэтом кивнули.

— Признателен вам, господа. Я подарю вам их в память о тринадцатом подвиге Геракла.

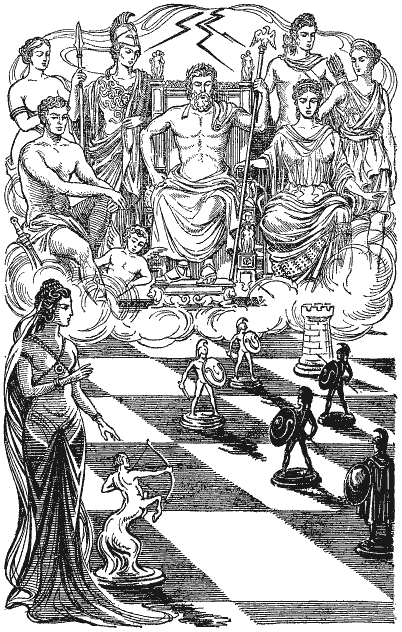
И слепец заговорил чуть нараспев, словно аэд древности, аккомпанируя себе на струнах невидимой кефары. Иногда он переходил на гекзаметр древнегреческого стиха, а потом, словно спохватываясь, продолжал мерное повествование по-русски.

Мы слушали как завороженные.

— Когда Геракл победно возвращался из своего последнего похода, жена его Даянира, мучимая ревностью, стараясь сохранить путем волшебства любовь мужа, послала ему великолепный плащ. Она пропитала его кровью кентавра Несса, пытавшегося когда-то ее похитить и сраженного стрелой Геракла. Коварный кентавр, стремясь из царства Аида отомстить Гераклу, сумел уговорить доверчивую женщину взять его кровь, которая якобы вернет ей любовь мужа, если пропитать ею его одежду. На самом же деле кровь эта была отравлена ядом Лейнерской гидры, уничтоженной Гераклом во время второго его подвига. Этот яд, которым Геракл придумал смазывать наконечники своих стрел, сделал кровь кентавра смертельной. И Геракл стал жертвой коварства мстящей ему тени. В великих мучениях вернулся он домой, где его несчастная жена, узнав о своем невольном преступлении, покончила с собой. Желая избежать дальнейших мук, Геракл потребовал от соратников положить себя на костер и поджечь его. И воспылал костер на высокой горе Оэте, взметнулось его пламя, но еще ярче засверкали молнии Зевса, призывающего к себе любимого сына. Громы прокатились по небу. На золотой колеснице пронеслась к костру Афина-Паллада и понесла Геракла, прикрытого лишь шкурой когда-то убитого им во время первого подвига Немейского льва. А нарядный плащ его, пропитанный смесью яда гидры и кровью лукавого кентавра, продолжал гореть. И поднялся от него ядовитый столб черного дыма ненависти и коварства, преградив путь золотой колеснице. То богиня Гера, преследовавшая героя всю его жизнь за то, что он был зачат Зевсом с земной женщиной, и теперь поставила перед ним преграду на пути к вершине светлого Олимпа. Да, герой, очистивший Землю от чудовищ и зла, заслужил обещанное ему бессмертие, но Зевс забыл сказать, где проведет он это бессмертие: на светлом Олимпе среди богов или в скорбном царстве Аида, служа там мрачному брату Зевса среди стонов и мучений теней усопших. И настояла Гера устроить Гераклу последнее испытание, потребовать с него еще один подвиг — сразиться в божественной игре с самим Корченным Тартаром, вызванным для этого из бездны тьмы. Там, за медными воротами, содержал он неугодных Зевсу титанов, туда ввергал из царства Аида попавших прославленных земных мудрецов, которых зловещий Тартар сперва обучал божественной игре, а потом, победив, ибо искусен был в ней, всячески издевался над ними, ввергая в конце концов в свою бездну мрака. Он, Тартар, породивший чудовище Тифоиа и адских многоголосых псов, не знал лучшей радости, чем торжествовать над кем-нибудь победу в божественной игре. Сам Тартар был порождением бога Обмана и богини Измены. Он исходил злобой на всех, корчась от безысходного гнева и неприязни. Такого противника предстояло Гераклу сокрушить, ничья означала для него поражение, иначе не было ему пути на светлый Олимп, и проведет он свои бессмертные дни среди мрака и скорби.

Олимпийские боги очень любили божественную игру и чтили богиню Каиссу за ее способность воспитывать игрой волю, отвагу, твердость духа и способность расчетливо находить жизненно важные решения.

Корченный Тартар знал, что освобожденный Гераклом Прометей обучил своего спасителя искусству божественной игры, и даже сам хитроумный Одиссей на обратном пути из Колхиды, научившись играть, нередко проигрывал Гераклу. Но злобный Тартар не боялся никого.



Поединок должен был состояться у подножия Олимпа, там, где каждые четыре года проводились игры атлетов. Но никто из смертных не должен был быть свидетелем этой битвы богов (Геракл уже стал равным им!). Боги же Олимпа сошли с его вершины, чтобы насладиться поединком, ибо нет большей радости, чем видеть борьбу умов.

Сам Зевс явился со своей супругой Герой и даже поспорил с ней об заклад, ставя на Геракла, а она на Корченного Тартара. Закладом были сокровища пещер далекого Востока, откуда прибыла богиня Каисса, назначенная теперь Зевсом бесстрастным судией этого поединка. В помощь к ней пришла богиня Фемида, которая сменила свои весы правосудия на сосуд, из которого она должна была наливать через узкое горлышко воду попеременно в чашу того из противников, кто обдумывал свои действия. И горе тому, чья чаша переполнится раньше, чем кончится бой, он будет считаться поверженным.

Остальные боги разместились вокруг игрового поля, расчерченного на разноцветные клетки, на которых по краям стояли в два ряда фигуры из белого и черного мрамора. Фигуры по указанию сражающихся переносили с клетки на клетку.

Противники смотрели на игровое поле со сторон, обмениваясь колкими словами, и для очередного хода подходили к богиням. Фемида, услышав распоряжение о сделанном ходе, тотчас начинала наполнять чашу другого противника, а Каисса передавала приказ карликам кекропам передвинуть нужную фигуру на указанную клетку.

Чтобы смертные не приблизились к сонму богов, любующихся схваткой, Зевс — «собиратель туч» нагнал их столько, что почернело небо и сверкающие молнии не только освещали игровое поле, но смертельно напугали всех окрестных жителей, которые не смели показаться из жилищ.

И под грозовые раскаты начался бой.

Тартар, царь мрака, огромный, хромой, весь перекошенный набок, взял себе черные фигуры. Геракл распоряжался светлыми.

Корченный насмехался над своим противником, который, «видно, не привык упражняться в игре ума». «Здесь мало подставить свои плечи под небесный свод вместо титана Атланта, мало оторвать от земли титана Антея, который набирался от нее сил». «Не пригодятся в игре ума отравленные Гераклом стрелы, одной из которых в конечном счете он глупо отравил самого себя!» «И не поможет здесь „навозная выдумка“ промыть Авгиевы конюшни повернутой в них рекой». «И уж совсем ни к чему верный глаз стрелка или разрубающий скалы удар меча!» «Думать надо уметь, думать! Головой играть, а не мускулами!»

Так насмешливо выкрикивал Корченный Тартар, стараясь унизить и запугать своего врага.

Конечно, Тартар был искусен в божественной игре. Но ему хотелось не только выиграть сражение, но еще и поиздеваться над Гераклом подобно царице Ливии Омфале, которой герой во искупление минутной вспышки гнева добровольно продал себя в рабство на три года. Вздорная женщина старалась вволю насладиться за этот срок, глумясь над сильнейшим из сильнейших. Она унизительно наряжала его в женские платья, заставляла ткать и прясть, но так и не смогла сломить терпение и выдержку героя.

Но здесь перед лицом всех богов обидные выкрики Корченного Тартара достигли цели, лишив Геракла спокойствия и ясности мысли. Слишком он был вспыльчив и горяч.

Неоправданная поспешность Геракла позволила Тартару, даже не вводя в бой всех своих сил, добиться значительного материального преимущества.

Богиня Гера сказала эгидодержавному супругу:

— Смотри, Зевс, твой сын потерял тяжелую колесницу. Любой оракул предречет теперь ему поражение.

Ничего не ответил Зевс, свел только грозно брови, и еще пуще засверкали молнии из сгустивших туч. А Корченный Тартар кричал:

— Смотри, герой, носивший бабьи платья, это не просто сгущаются тучи над тобой, это растет моя черная рать!

Смолчал Геракл, только глубокие морщины прорезали его лоб.

— Я заставлю тебя плясать в моей бездне! И загоню тебя туда еще на игровом поле! — грозил Корченный, приплясывая и припадая на одну ногу.

Искусными ходами вынудил он царя беломраморных фигур перейти все игровое поле и вступить «в край мрака», где в начале игры построена была черная рать.

Вздохи прокатились по подножию Олимпа. Переживали боги. Многие любили Геракла, но коль скоро дело доходит до заклада, приходится считаться с мрачной силой Корченного, который перешел на самые отвратительные оскорбления противника:

— Не сын ты Зевса, а помет анатолийского раба, прельстившего твою мать Аклмену. Анатолиец ты!

Вскипел Геракл, схватил рукой камень, чтобы бросить им в оскорбителя, но оплавился камень в его ладони, словно был он осколком прозрачной глыбы, встречающейся под белой шапкой высоко в горах за Колхидой или в царстве великанов на далеком севере.

Рассыпался в горячей руке оплавленный камень, и вспомнил Геракл, что бьется с богом мрака, сыном Обмана и Измены, бьется на игровом поле. И сдержался он, сказав, как когда-то так же оскорблявшему его великану:

— Пусть на словах ты победишь. Посмотрим, кто победит на деле.

Восхитилась богиня Каисса Гераклом, не выдержало женское сердце бесстрастной богини. Воспользовавшись тем, что Корченный продолжал кричать обидные для Геракла слова, обращаясь к наблюдавшим за игрой богам, она шепнула Гераклу:

— Герой, я не могу как судия подсказать тебе план борьбы, но как богиня божественной игры я вижу, что хоть и меньше у тебя светлых сил, чем сил мрака, все же ты можешь одолеть их, если совершишь свой тринадцатый подвиг на тринадцатом ходу...

Геракл гордо прервал ее:

— Я сражаюсь один на один.

— Да, один ты и одолеешь врага, если рискнешь после пяти ходов остаться на игровом поле один против всей черной рати, если отважишься принести в жертву богине Победы всех беломраморных воинов, чтобы один лишь светлый царь со стрелами выстоял против сонма врагов семь ходов и еще один ход, не защищаясь, а нападая.

— Семь ходов и еще один одному против всех? — отозвался Геракл. — Но так даже в бою не бывает!

— Это не просто бой, это твоя жизнь на Олимпе, это бессмертие! Я сказала тебе, ЧТО ты можешь сделать за тринадцать ходов, но не сказала КАК. И тем не преступила клятвы судии.

И она отошла к богине Фемиде, лившей воду в чашу задумавшегося Геракла, который смотрел на игровое поле, заполненное беломраморными и смольно-черны-ми фигурами. Он думал, а струйка воды из узкого горлышка кувшина Фемиды грозила переполнить его чашу.

«Богиня Каисса все видит на игровом поле, но как увидеть смертному на пороге бессмертия то, что доступно ей?»

Так думал Геракл, пока яркой молнией не озарился его ум.

Когда герой сделал свой ход, боги ахнули. Бог сна Гипнос даже вскочил с каменной скамьи, ибо такого не увидишь и во сне!

Ворвавшийся в стан светлых герой черных фигур уже уничтожил тяжелые беломраморные колесницы, копьеносца и грозил убить кентавра. Но Геракл не только оставил того на погибель, а бросил и второго своего кентавра в самую гущу вражеских сил.

Однако хитрый Тартар разгадал уготовленную ему западню и вместо того, чтобы сразить ворвавшегося в его лагерь кентавра, уничтожил другого, которого загнал перед тем в безысходность.

Геракл же, осененный открывшимся ему планом, поставил следующим ходом снова под удар, но на этот раз своего копьеносца, дерзко грозя копьем царю Корченного Тартара, который сам же ограничил свободу его действий, допустил к нему в лагерь царя беломраморных. К тому же и жадно сберегаемые Корченным в резерве огромные силы черных тоже стесняли их царя.

Наглого копьеносца, конечно, можно было сразить, и Корченный, не задумываясь, сделал это.

Тогда Геракл нацелил одну из оставшихся у светлого царя стрел прямо в грудь черному царю. Пришлось Корченному бросить на помощь ему героя черных, который прикрыл бы своей силой черного царя.

И тут Геракл обрушил на противника столь свойственные ему при свершении подвигов удары, каждый из которых дорого стоил ему. Сначала в жертву богине Нике принесен был кентавр, еще глубже врезавшийся в толпу врагов, затем пал там и сам герой светлых, оставив белого царя одного в поле.

Некому было теперь его защищать.

Но по воле Геракла он не защищался, а нападал, используя оставшиеся в его колчане стрелы. И ход за ходом, а было их семь и еще один, Геракл так сжал вражескую рать, словно заползшую в его колыбель змею или как придавил к земле адского пса Кербера, или Критского быка, или Немейского льва, шкура которого украшала теперь его могучий торс.

Корченный смолк. Он уже не выкрикивал оскорблений Гераклу, а хрипло отсчитывал ходы, не отходя от своей переполнявшейся водой времени чаши.

Семь ходов и еще один, как предрекла богиня, понадобились Гераклу, чтобы бросить на колени врага, сделать неизбежным появление на поле новых беломраморных воинов, в которых превращались достигшие края поля стрелы.

Богиня победы Ника опустилась на игровое поле и коснулась великого героя своим крылом.

Боги расплачивались друг с другом оговоренными закладами.

Зевс сказал Гере:

— Нет, не бесценные сокровища далеких пещер передашь ты мне. Раз ты проиграла, то должна отказаться от своей ненависти к Гераклу, который совершил свой тринадцатый подвиг и взойдет теперь на кручи Олимпа.

Гера поникла головой:

— Хорошо, Зевс, считай, что сын твой Геракл, став бессмертным на Олимпе, выиграл в своем тринадцатом поединке и мою любовь, которая, клянусь богиней правды и врагов обмана, будет так же глубока, как и былая моя ненависть, сопровождавшая всю его жизнь на Земле. И мы дадим ему в жены богиню.

— Каиссу, — решил Зевс. Боги встали.

Корченный Тартар шумел.

— Я требую переиграть! — вопил он. — Богиня Каисса постыдно шепталась с Гераклом, а продавшийся им бог Гипнос сидел на четвертой скамье и смотрел на меня, навевая сон. Я проспал последние ходы, и только потому Гераклу удалось довести до конца свой нелепый и ложный план.

Но богиня Фемида, за которой было последнее слово, объявила претензии Корченного Тартара презренными.

Богиня же Каисса, передвигая с помощью карликов кекрепов беломраморные и смолисто-черные фигуры, показала всем, что, как бы ни играл Тартар, победа Геракла была неизбежной.

Слепой старец кончил свой певучий рассказ о последнем подвиге Геракла. Он сидел спокойный, величавый, и пальцы его шевелились, словно перебирали струны невидимой кефары.

— Неужели это были шахматы? — спросил я.

— Я не играю в них, — вздохнул старик. — Я только передал ход игры, как рассказывали прадеды, а им их прадеды. Это такое же повествование, как путешествие Одиссея или осада Трои.

— Трою раскопали, пользуясь указаниями поэмы Гомера, — заметил художник.

— Да, Шлиман! — кивнул слепец. — Может быть, и сейчас найдется кто-нибудь, кто по моему рассказу раскопает «игровую Трою», разгадает, ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ИГРОВОМ ПОЛЕ богов у подножия Олимпа.

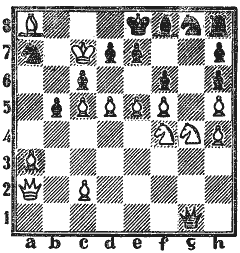
Мы расстались с нашим удивительным продавцом губок.

Подаренная им губка вот уже двадцать лет лежит у меня на столе, напоминая о встрече с «ожившим Гомером», лежит укором мне, поэту шахмат, все еще не расшифровавшему игры, в которой ее богиня Каисса не устояла перед обаянием героя.

Понадобились два десятилетия, чтобы я все-таки «откопал шахматную Трою», чтобы мог теперь предложить вниманию читателей свой вариант того, что произошло на игровом поле под Олимпом после слов Ка-иссы.

Вот какая позиция могла сложиться в шахматах (если это были шахматы!) в результате самонадеянной игры Корченного Тартара и неискушенного Геракла, у которого все же нашлось достаточно воли и ума, чтобы разгадать скрытый путь к выигрышу.

В этой позиции белые могут выиграть единственным этюдным путем, описанным в мифе о Геракле.



Первым ходом они жертвуют коня (кентавра), вторгаясь в стан черных.

1. Ке6!

Но черные разгадывают ловушку, связанную со взятием этого коня: 1... de 2. d6 — и атака белых неотразима: 2... Od4 3. Ф: еб Od5 4. d7 и выигрывают. Или: 2... ed 3. Ф: е6+Се7 4. dc Kpf8 5. de+ К: е7 6. Ф: f6 + Kpg8 7. К: h6 и мат.

Потому-то черные и взяли другого коня, не видя непосредственной угрозы и увеличивая материальное преимущество.

Но теперь их ошеломляет новый удар слона (копьеносца), грозящего непосредственно черному королю:

1... Ф:g4 2. С:с6!

Слона приходится брать, ибо отход короля 3... Kpf7 ведет к разгрому черных — 3. d6, и уже не спастись. Попытка же ввести в бой ферзя обречена — 2... Ф f5 3. Cd7+ Kpf7 4. Kd8+ — и выигрыш белых! Если же 2... Ф: h5, то 3. С: d7+ Kpf7 4. d6, и черные или теряют ферзя, или получают мат ферзем на f7. Но чем взять дерзкого слона? Если конем 2... К: сб, то последует 3. dc dc 4. К: d8 Фс4 5. Ф с4 be 6. еб с выигрышем. Или 4... Фg7 5. Феб и мат следующим ходом.

Безопаснее взять слона пешкой:

2... dc

Но теперь освободился путь для броска белой пешки с серьезной угрозой черному королю:

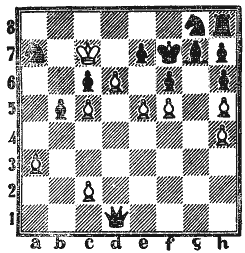
3. d6

Взятие этой пешки развязывает неотразимую атаку белых: 3... ed 4. cd С: d6 5. ed Ф§ 3 6. Kf4! Ф f4. 7. Феб + Kpf8 8. Kpd7, и у черных нет защиты. Если 8... Феб, то 9. d7 Ф: еб + 10. fe Кре7 11. Крс7 и выигрывают.

Вот почему Корченный Тартар вынужден был вмешательством ферзя отвести удар белой пешки (стрелы) с поля d7.

3. Фd1

Но белые планомерно освобождают диагональ для действия своего ферзя, чтобы провести комбинацию «удушения» черных.



Ферзь черных уже не контролирует поле g7, и Геракл может пожертвовать сначала на g7 коня, а потом на f7 ферзя (героя!).

4. Kg7+ C:g7 5. Фf7 + Кр: f7

Итак, король белых остался один на доске против черного воинства: короля, ферзя, ладьи, слона и двух коней! По рассказу слепого грека, царю светлых предстоит целых восемь ходов быть в поле одному, вооруженному лишь «стрелами» (пешками!), и не только выстоять, но победить противника!

6. е6+ Kpf8 7. d7 — вот он, смертельный зажим!

Тартар делает попытку вырваться хотя бы конем. Но у Геракла мертвая хватка, которую не раз познали враги (см.: диаграмму на стр. 296):

7... b4 8. а4

Тартар лукав и пытается оплести противника коварной сетью.

8... bЗ!

Никак нельзя сейчас 9. e8Ф? Ф d8 10. Кр: d8 be, и Геракл повержен! Но сила великого героя не только в гневном напоре, но и в ледяном спокойствии:

9. cb КЬ5 +

Тартар отдает своего коня, идя на все!

10. ab cb 11. d8Ф + Ф:d8 + 12. Кр: d8 b4!

Вот каково дно черного замысла! Сыграй здесь Геракл торжествующе 9. сб? и черным пат — ничья, закрывающая герою путь на светлый Олимп!

Однако Геракл настороже и не оставляет врагу никаких шансов. Своим тринадцатым ходом он завершает свой тринадцатый подвиг.

13. Крс7!

Черный король распатован, и белая пешка неизбежно пройдет на край доски, матуя черного короля.

Вот здесь богиня Победы Нике, очевидно, и опустилась на игровое поле, коснувшись крылом Геракла.

Корченный Тартар скандалил, пытаясь доказать, что план Геракла был ложным и опровержению помешал бог Гипнос, усыпивший бдительность Корченного Тартара.

Тогда богиня Каисса показала, что, если бы Корченный Тартар на восьмом ходу играл бы иначе, это не помогло бы ему:

8... Ф:b5 9. а8Ф+; Фе8 10. h5!

Но, конечно, не 10. Ф:е8, как показывал Корченный, после чего ему хотелось 10... Кр: е8 11. h5 Cf8! 12. Kpb7 Kpd8 13. Кр: а7 Крс7 — и ничья! При внимательной же игре будет совсем не так!

10... КЬ5+ 11. ab bЗ 12. ab cb 13. Ф:е8+; и снова выигрыш на тринадцатом ходу!

Поскольку мне после двадцатилетних усилий удалось воспроизвести на шахматной доске «шахматную Трою», описанную «ожившим Гомером XX века» битву богов на склоне Олимпа, во мне утвердилось убеждение, что шахматная игра, завезенная с Востока, была известна и древним грекам, найдя даже свое отражение в одном из мифов. И возможно, что старинные ограничения действий фигур были последующими искажениями ее первоначальных «божественных» правил, восстановленных ныне полностью.

Пусть это лишь гипотеза, но, может быть, она придется кому-нибудь по сердцу!

### ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО

Они вернулись через час на такси и в полицейской машине с моргающим фонарем на крыше.

Мы тут же, к величайшему удивлению прохожих, облачились в неуклюжие костюмы и вполне могли вообразить себя на Марсе, как заметил не без юмора наш усатый щеголь с радиометром, который привел нас по радиоактивному следу от обворованного пакгауза к этому дому. Инженер теперь походил на всех нас, кроме шерифа, выделявшегося завидным ростом. Прежде он был мясником и лихо разделывал туши. Он пожелал непременно перецепить свою шерифскую звезду на скафандр.

Противорадиационные костюмы были неимоверно тяжелы, будучи освинцованными. Я чувствовал, что меня пригибает к земле, по которой и в обыкновенном костюме хожу не слишком проворно.

Подъем на четвертый этаж был не только для меня, но и для моего приятеля Отто, толстого начальника пострадавшей железнодорожной станции, а также не менее грузного, чем он, старшего инженера, ворчуна, не прекращающего брюзжать, сущим мучением. Однако мы заползли наверх.

Шериф, когда инженер с аппаратом остановился перед нужной дверью, резко позвонил, а потом стал стучать в нее ногой.

Дверь вскоре открылась, и в ее проеме появилась испуганная изможденная женщина с девочкой лет шести, с торчащими косичками и круглыми от страха глазами, льнущей к материнскому бедру.

Вообще-то было отчего испугаться. Вид у нас, конечно, был ужасающий: толпа в шесть человек (включая прибывших полисменов), наряженная как на маскараде.

— Сюда! — приглушенным маской хриплым басом приказал шериф. — Вперед! — И он пропустил в дверь инженера с аппаратом, отстранив рукой хозяйку.

Счетчик заставил повернуть направо мимо туалетной комнаты на кухню.

Инженер водил своим аппаратом, словно обнюхивая всю убогую обстановку, наконец указал на полку.

— Боже! Что вы ищете, джентльмены? Это же просто сахарница! — со слезами в голосе произнесла бедная женщина.

Детектив Дэвидсон с завидной отвагой и предосторожностями движением фокусника сиял с полки сахарницу, около которой счетчик залился соловьем, словно сопровождая этим цирковой аттракцион...

Сахарница оказалась на столе.

— Где ваш муж, мэм? — грозно спросил шериф.

— Он болен, сэр, не встает с кровати уже второй день.

— Так. А когда это случилось в пакгаузе? — тем же тоном вопрошал глава нашего «марсианского» отряда.

— Как раз с того времени он в постели, сэр, — угодливо отозвался долговязый Дэвидсон.

— Вы-то откуда знаете? — возмутилась женщина. — Заболеть человеку не дают. Наряжаются бог знает как и врываются в частную квартиру. Я буду жаловаться.

— Жаловаться будете врачам! — грубо оборвал ее шериф, поглаживая свою звезду на скафандре. — Ведите меня к мужу. Кто он такой?

— Что вы хотите от него? Это Джон Смит, каких много. Копал землю, таскал тяжести. Сейчас без работы. Болен. И даже пособия по безработице уже не получает. Срок вышел. А у него дети. Он не встает.

— Поднимем. Небось через каменную стену перемахнул, как спортсмен.

— Да накажет вас бог за такие слова, сэр!

— Наказывать будут не меня, мэм. Давайте его сюда, стаскивайте с койки, не то мои молодчики сделают это за вас.

— Я здесь. Я сам притащился. Что вам надо? — послышался слабый голос появившегося в коридорчике человека с бледным лицом и впалыми глазами.

— Мне нужно ваше полное признание. Чистосердечное. И без всяких фокусов. Где вы взяли эту штуку? — И шериф показал на лежащую рядом с сахарницей вынутую из нее ампулу.

— Я нашел ее, сэр. Кто-то обронил. Я не сообразил, что она представляет какую-то ценность, не то непременно принес бы ее в полицию.

— Так. Кто бывал у вас в доме после хищения ампулы?

— Шериф? Это вы? Я не узнал вас в этом костюме. Я всегда голосовал за вашу партию. У меня были мои парни, чтобы поглазеть на находку.

— Поглазели? А где ты ее нашел? В пакгаузе?

— Может быть, сэр. Я случайно забрел туда... в поисках работенки. Помочь там... или что.

— Так где ж она была? Отвечай и не виляй!

— Валялась под ногами, сэр.

— Валялась? Внутри свинцового контейнера?

— Контейнеры были рядом, сэр. Это точно.

— Рядом с тем, который ты взломал? Так. Ну и зачем ты показывал ампулу приятелям?

— Они сказали мне, что она наверняка лечебная, сэр. Только, чтобы полечиться ею, надо иметь кучу денег. А у моей жены рак груди. Видите, как она выглядит? Двое детей. Работы нет, а лечиться надо. Ой как надо! Мне ампулы не жаль. Возьмите, пожалуйста, если она кому-нибудь поможет. Дай-то бог. Я католик, сэр. И мы ждем ребенка.

— Еще? Ну, кролики! В тюрьму тебе его принесут на свидание.

— За что, сэр? За то, что я нашел ее, эту дрянь?

— Нашел, нашел, не спорю. Внутри свинцового контейнера, который ломом вскрывал. Где он, твой лом? Куда забросил?

— Мы найдем его, господин шериф, — заверил частный детектив таким тоном, словно у него в руках был радиометр. — Отыщем, где он лежит.

— Ну, собирайся в тюрьму, негодяй! Эй, наручники!

— Не нужно, сэр. Право, не нужно, — вежливо попросил инженер с аппаратом.

— Как так не нужно? А закон?

— Он прав, господин шериф. Действительно не требуется, — подтвердил детектив.

Отто толкнул меня локтем в бок:

— Вы понимаете что-нибудь, Джим?

Я мрачно кивнул.

Инженеры, отведя шерифа в сторону, что-то объясняли ему.

— Ладно! — громогласно возвестил он и, обернувшись к полисменам, властно приказал: — Найти этих глупцов-приятелей, что рассматривали ампулу. Всех — тотчас в госпиталь! А этого, — он ткнул пальцем в беднягу вора, — оставить здесь. Но выходить из дома не позволим, пока не вынесут. Вперед ногами.

— Что вы такое говорите, сэр? — ужаснулась женщина.

— Повторяю то, что мне разъяснили господа инженеры, а они свое дело знают... на пригородном заводе. Ваш мистер Смит стащил в пакгаузе такую дьявольскую штуку, которая, считай, уже отправила его к праотцам. Пусть передаст им привет от местной власти. У меня там есть «подопечные», которым я помог туда попасть.

— Это же лечебное средство, сэр! — запротестовал похититель.

— Лечебное, — усмехнулся шериф, — против такой болезни, как твоя неудачная жизнь, негодяй, и всей твоей семьи тоже. Вот так, леди и джентльмены!

— Как? Что вы такое говорите? — еще больше побледнел похититель. — И моя семья тоже?

— А как же! Ты, должно быть, неграмотный? О нейтронной бомбе слыхал?

— Что-то там болтали. И даже читал где-то...

— Болтали и писали, что все останется нетронутым, кроме живности. А живность в твоей паршивой квартире известна: ты да твоя семья. Вот так.

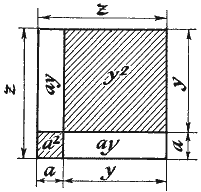
— Сэр! — запротестовала несчастная женщина. — А как же дети? Вы не имеете права так шутить! — И она заплакала.

Мы ушли.

1. √‑1 (Прим. автора) [↑](#footnote-ref-1)
2. М., «Наука», 1978. (Прим. автора) [↑](#footnote-ref-2)
3. Теперь говорят «галсами». (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-3)
4. Теперь произносят Картезий. (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-4)
5. Примечание автора для особо интересующихся. Приведя обе части уравнения к единому знаменателю, имеем: 14∙x + 7∙x + 12∙x + 5 · 84 + 42∙x + 4 · 84 = 84∙x и 9x = 9 · 84; x = 84. (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-5)
6. Арабские источники X—XII веков расходятся с современными представлениями о возрасте пирамид. (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-6)
7. Сопоставление современных данных астрономии с размерами египетских пирамид устанавливает, что упомянутые три пирамиды по своим объемам соответствуют массам планет Земля, Венера, Меркурий, высота же пирамиды Хеопса ровно в миллиард раз меньше (какими бы мерами ни пользоваться) среднегодового расстояния Земли от Солнца, причем ни это расстояние, ни массы планет древние астрономы без соответствующих астрономических приборов, казалось бы, измерить не могли. (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-7)
8. Величина «Пи» была известна древним египтянам как 22 / 7, выражавшаяся просто в семеричной системе счисления. (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-8)
9. Древние связи календарей и преданий со звездой Сириус известны не только у египтян или еще раньше у шумеров, но также и у некоторых африканских племен, в частности, у догонов, как свидетельствуют об этом французские этнографы Марсель Гриель и Жармена Дитерлен в журнале Общества африканистов (Париж, т. XX, 1950) и в монографии «Бледный лис» (т. 1, ч. 1, 1956), сообщившие, что догонам известно, будто Сириус двойная, даже тройная звезда (Сириус A и B, наблюдаемые в современные телескопы, и еще не открытый Сириус C!), кроме того, догоны, не имевшие никаких астрономических приборов, а тем более современных физических аппаратов, имели представление не только о параметрах Сириуса, его орбите и светимости, но и передавали из поколения в поколение посвященным некоторые совпадающие с современными взглядами на строение вещества, происхождение вселенной и подобные этому знания, якобы переданные их предкам людьми, прилетевшими от Сириуса. (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-9)
10. Раздвоенный внизу посох напоминает палочки «лозоискателей» древности, указывающих с помощью лоз места для рытья колодцев. Современная наука, используя биотоки мозга, создала «психотронику», позволяющую находить в земных недрах полезные ископаемые. Возможно, египтяне знали «лозоискательство», приписывая его появление богу Тоту. (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-10)
11. Легендарные «изумрудные таблицы бога Тота», расшифрованные в наше время, якобы содержат намеки на атомное строение вещества, относительность всяких измерений и другие современные знания. (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-11)
12. Решение это таково: если согласно четвертой и пятой строчкам надписи число прожитых Диофантом лет делится и на 12 и на 7, то возраст его будет равен 12·7 = 84 (или 168, что исключено). Возможно, надпись и предусматривала составление неопределенного Диофантова уравнения с тремя (а не с семью в определенном уравнении) членами:

    где «y» теоретически не может быть больше 19, чтобы «x» получился бы величиной целочисленной и реальной для человеческого возраста. Очевидно, в этом и подразумевалась мудрость искусства покойного математика. (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-12)
13. *Примечание автора для особо интересующихся.* Если, как следует из квадрата орнамента, z = y + a, то z2 = x2 + y2 будет иметь вид z2 = y2 + (a2 + 2ay) и x2 = a (a + 2y). Если a = a2 и (a + 2y) = b2 то x = ab, y = (a2 — b2) / 2; z = (a2 + b2) / 2.

    Из выражения для «y», где в числителе разность квадратов a и b, ясно, что хотя бы одна из этих величин не может быть четной, иначе «y» не будет целым числом. Случай с иррациональными числами рассмотрен в последующем примечании.

    Для возрастающих коэффициентов a и b можно составить таблицу, из которой вытекает ряд закономерностей, в частности формулировка новой теоремы. *Нечетный катет простейших пифагоровых троек в целых числах разлагается на два взаимно простых сомножителя, квадраты которых соответственно равны сумме или разности гипотенузы и второго катета* , то есть в дополнение к теореме Пифагора: a2 = z — y; b2 = z + y.

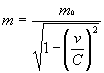
    Таблица простейших пифагоровых троек

    (В приводимой таблице цифры в скобках получены после сокращения намеченного в таблице значения на общий множитель и равны цифрам столбца при β = 1.) [↑](#footnote-ref-13)
14. x = m2 — n2; y = 2mn; z = m2 + n2. (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-14)
15. *Примечание автора для особо интересующихся.*

    Если положить a = m + n; b = m — n, то x = ab = (m + n) (m — n) = m2 — n2; y = 2mn; z = m2 + n2, что и было записано Декартом. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Примечание автора для особо интересующихся.*

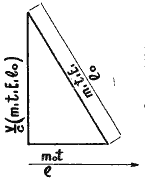
    Вертикальные ряды x представляют собой арифметические прогрессии с показателем = 2β. Все значения сторон треугольников с возрастанием ряда изменяются по арифметической прогрессии, показатель которой для y — постоянен и равен 4, а для x и z увеличивается с порядковым номером ряда и порядкового номера тройки в вертикальном ряду и равен 4 (β + i — 1), где i — порядковый номер тройки в ряду. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Примечание автора для особо интересующихся.* Золотое сечение было известно древним зодчим, но сформулировано Леонардо да Винчи. Цифры 3, 5, 8, 13 совпадают с частью ряда Фибаначчи, помогающего современным ученым объяснять ряд явлений природы (1, 1, 2, [**3, 5, 8, 13]** , 21, 34 и т. д.). [↑](#footnote-ref-17)
18. *Примечание автора для особо интересующихся.* Если α = p√2e, β = q√2e, то p и q могут быть и четными и нечетными, x = α β = 2pqe, y = (p2 — q2) e; z = (p2 + q2) e, то есть p и q тождественны m и n древних формул (см. пред. примеч.), x и y просто меняются местами, к тому же, помноженные на e, не являются простейшими. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Примечание автора для особо интересующихся.* По теории Эйнштейна, масса тела m, летящего со скоростью v при массе покоя m0 и скорости света C, меняются по формуле

    Это выражение легко преобразуется в

    или графически в Δ.

    Тот же закон прямоугольного треугольника отражен и в сокращении длины покоящегося тела l0 до l в полете, и парадоксе времени теории относительности (преобразования Лоренца) при t0 — прошедшее время неподвижного наблюдателя, t — время на улетевшем от него объекте и C — скорость света:

    или

    — опять Δ.

    Сокращение наблюдаемой с неподвижной точки длины летящего тела l по сравнению с длиной его в состоянии покоя — l0:

    или

    — опять Δ.

    И наконец, тот же закон скажется и на энергии летящего тела E при энергии его покоя E0:

    — Δ. Таким образом, все парадоксальные эффекты теории относительности подчинены основному закону Пифагора. [↑](#footnote-ref-19)
20. Лет двадцать назад во времена египетского президента Насера, стремившегося к дружбе своего народа с СССР, в Каире и Александрии гастролировал наш Большой театр, и друг автора, артист балета С. А. Салов, приобрел на рынке фотографию обугленного музейного документа, который, как ему казалось, может заинтересовать фантаста. По сохранившейся части таблицы автору удалось благодаря ранней работе заслуженного деятеля науки и техники РСФСР профессора М. М. Протодьяконова ее восстановить. (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-20)
21. Трудный юридический случай. (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-21)
22. Свои выводы по теории вероятностей Ферма опубликовал лишь по инициативе Паскаля в 1654 году, а применение этой теории в судебном деле нашло своих теоретиков лишь спустя более чем столетие в трудах маркиза Кондерса, а также Лапласа и Пуассона. (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-22)
23. Омнибус, предложенный Б. Паскалем. [↑](#footnote-ref-23)
24. Метод Ферма, в свое время несправедливо оспоренный Декартом, предвосхищал дифференциальное и интегральное исчисление, хотя задачу решал алгебраически, без анализа бесконечно малых величин. В задаче разбивки прямой с длиной «a» на две части, так, чтобы квадрат одной (x2), помноженный на величину другой части = (a — x), был бы максимальным, он приравнивал 2ax — 3x2 к нулю и получал, что x = 2 / 3a, то есть заменял современное дифференцирование и взятие первой производной. [↑](#footnote-ref-24)
25. Правота Торричелли была подтверждена знаменитым опытом Герике, получившим название «Магдебургские полушария», проведенным в Магдебурге лишь в 1654 году и доказавшим существование атмосферного давления. Торричелли принадлежит изобретение ртутного барометра и создание над ртутным столбом «торричеллиевой пустоты». (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-25)
26. *Примечание автора для особо интересующихся.* Автору удалось восстановить позицию в виде этюда с таким решением:

    . Лg1! (1. e7? f: g4 2. e8=Ф Кf8+ 3. Крd8 Л: e8+ 4. Кр: e8 с шансами у черных.) 1… Л: g1 2. Сe5+! d: e5 3. e7 Л: g5 4. Кd5 Кf6+ 5. К: f6 Кр: f6 6. e8=К+ мат!

    . e8=Ф? f4 7. Фe7+ Крf5 8. Ф: f7+ Крg4 9. Фe6+ Лf5! 10. Ф: g6+ Лg5 11. Фe6+ Лf5 12. Фg8+ Лg5, в лучшем случае для белых — ничья. [↑](#footnote-ref-26)
27. Эта мысль была высказана британским генералом на три с четвертью столетия раньше, чем в наше время (когда она звучит уже угрозой самому существованию человечества) американским генералом Александром Хейгом в бытность его государственным секретарем в администрации президента Р. Рейгана. (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-27)
28. В своем знаменитом «втором вызове» английским математикам в феврале 1657 года Пьер Ферма, предложив им решить указанное уравнение с названными коэффициентами, писал: «Я жду решения этих вопросов: если оно не будет дано ни Англией, ни Бельгийской или Кельтской Галлией, то это будет сделано Нарбоннской Галлией…» Уравнение это, получив название уравнения Пелля (без достаточных исторических оснований), теперь охотнее именуется уравнением Ферма, исследованное впоследствии Эйлером и окончательно проанализированное Лагранжем. (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-28)
29. Швейцарская легенда повествует о необычайно метком стрелке, народном герое Вильгельме Телле, которого враги принудили сбить стрелой яблоко с головы любимого сына. (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-29)
30. Переписка ученых, собранная Джоном Валлисом, вошла приложением к третьему тому сочинений Пьера Ферма на французском языке в 1679 году, выпущенных его сыном Самуэлем. (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-30)
31. Это письмо к Каркави получило название «Завещание Ферма». (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-31)
32. *Примечание автора для особо интересующихся.* Рассмотренный Паскалем «бином», впоследствии названный «биномом Ньютона», известен ныне как:

    (x + y)0 = 1;

    (x + y)1 = z;

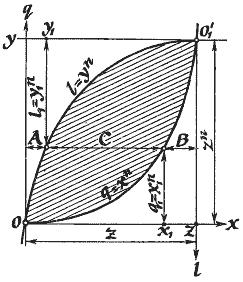
    (x + y)2 = x2 + 2xy + y2;

    (x + y)3 = x3 + 3x2у + 3xy2 + y3;

    (x + y)4 = x4 + 4x3y2 + 6x2y2 + 4xy3 + y4

    и т. д. [↑](#footnote-ref-32)
33. В своем 42‑м замечании на полях книги «Арифметика» Диофанта Пьер Ферма записал по‑латыни: «…наука о целых числах, которая, без сомнения, является прекраснейшей и наиболее изящной, не была до сих пор известна ни Боше, ни кому‑либо другому, чьи труды дошли до меня» (Боше де Мазариак — математик, издавший в переводе на латынь с древнегреческого «Арифметику» Диофанта, снабдив ее своими комментариями и дополнениями, ставшую настольной книгой Ферма). (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-33)
34. *Примечание автора для особо интересующихся* .

    Метод совмещенных парабол Пьера Ферма сводится к тому, что в системе прямоугольных координат (декартовых!) с горизонтальной осью x и вертикальной q — (x01q) — вычерчивается парабола по уравнению q = xn. Чертеж поворачивается на 180º, и на нем наносится (см. рис.) еще одна система прямоугольных координат (y01l) с горизонтальной осью «у» и вертикальной «l».

    Вертикальные оси двух систем координат отстоят одна от другой на величину z, а горизонтальные на zn. В перевернутой системе координат тоже вычерчивается точно такая же парабола по уравнению l = yn. Две совмещенные таким способом параболы образуют полусимметричную геометрическую фигуру, ограниченную ими. Выбирая точку x1 на оси x, строим от нее вертикальный отрезок (до пересечения с первой построенной параболой) с длиной g1 = X1n. Проведя теперь горизонтальную линию от пересечения вертикального отрезка с параболой через фигуру до второй параболы, получим точку, вертикальный отрезок от которой до оси у перевернутой координатной системы отметим на оси y точку y1. Длина же этого отрезка, равная ординате перевернутой параболы, будет l = yn. Из построения следует: q + l1 = x1n + y1n = z1n. Диофантово уравнение, положенное Ферма в основу его Великой теоремы. Все это восстановлено А. Н. Кожевниковым. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Примечание автора для особо интересующихся* . По просьбе автора вывод «бинома Ферма» выполнен заслуженным деятелем науки и техники РСФСР доктором технических наук профессором М. М. Протодьяконовым следующим образом. Из основной формулы xn + yn = zn и вышеприведенного рисунка следует: (A + B + C)n = (A + C)n + (B + C)n. После умножения обеих частей уравнения на множитель меньше единицы

    после объединения одинаковых степеней, раскрытия малых скобок, очевидных сокращений и преобразований:

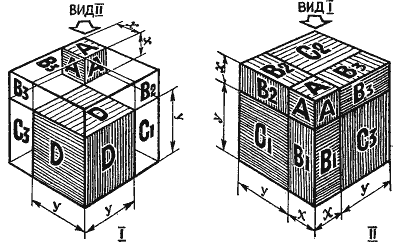
    после сокр. прав. части

    Обозначив через

    получаем «*Бином Ферма* »: (A + B)n = (A + MB)n + (MA + B)n, может быть, несправедливо забытый современными математиками, но восстановленный А. Н. Кожевниковым. [↑](#footnote-ref-35)
36. Лишь Эйлер в следующем веке показал, что эта дробь, если «a» целое и неквадратное число, будет периодической. (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-36)
37. Задача эта сводится к выражению xn + yn = zn. (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-37)
38. Великая теорема Ферма. (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-38)
39. В 45‑м замечании к книге Диофанта Ферма даст развернутое доказательство нерешаемости для четвертой степени уравнения: x4 + y4 = z4 в целых числах, к чему мы еще вернемся. Еще раньше, в 33‑м замечании, говоря о Диофанте, Ферма написал: «Почему же он не ищет двух биквадратов, сумма которых равна квадрату? Конечно, потому, что эта задача невозможна, как это с несомненностью показывает наш метод доказательства». (Примеч. авт.) [↑](#footnote-ref-39)
40. *Примечание автора для особо интересующихся.*

    Графическое решение «бинома Ньютона в третьей степени» представлено на рисунке, выполненном заслуженным деятелем науки и техники РСФСР доктором технических наук профессором М. М. Протодьяконовым. Куб у него складывается из кубов, среднего со стороной y и малого со стороной x, расположенных по диагонали большого куба, со стороной x + y, трех пластин объемом x2y и трех брусков объемом x2y, точно заполняющих оставшиеся в большом кубе места от двух первых кубов. Объемы всех этих фигур соответствуют: (x + y)3 = x3 + 3x2 y + 3xy2 + y3. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Примечание автора для особо интересующихся.* «Метод спуска» Ферма изложен в его 45‑м примечании к «Арифметике» Диофанта и в его письме к Каркави, где для доказательства того, что площадь прямоугольного треугольника не может быть равна квадрату целого числа, говорилось: «Если бы существовал некоторый прямоугольный треугольник в целых числах, который имел бы площадь, равную квадрату, то существовал бы другой треугольник, меньший этого, который обладал бы тем же свойством. Если бы существовал второй, меньший первого, который имел бы то же свойство, то существовал бы, в силу подобного рассуждения, третий, меньший второго, который имел бы то же свойство, и, наконец, четвертый, пятый, спускаясь до бесконечности. Но если задано число, то не существует бесконечности по спуску меньших его (я все время подразумеваю целые числа). Откуда заключаю, что не существует никакого прямоугольного треугольника с квадратной площадью».

    Этим методом доказаны частные случаи для степеней = 3 и 4. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Примечание автора для особо интересующихся.* «Метод подъема» гипотетически мог бы быть изложен так:

    Если прямоугольный треугольник можно построить только на плоскости, имеющей два измерения, и свойством такого «плоского места» будет пифагоров закон о том, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, то нет оснований полагать, что подобные «законы» отражают свойства «пространственных» и «субпространственных мест» с тремя и более измерениями, что при переходе (подъеме) от плоскости к объему (кубу, параллелепипеду или другой пространственной фигуре) диагональ, скажем куба, возведенная в третью степень, будет равна сумме других отрезков, укладывающихся в эту фигуру (сторон куба) в третьей степени. И еще меньше оснований полагать, что при переходе к «невообразимым фигурам» четырех и больше измерений можно найти целочисленное решение для четвертой степени одного отрезка, равного сумме двух других отрезков в четвертых степенях каждый. Для необоснованности подобных предположений достаточно доказать, что целочисленных решений нет, скажем, для биквадратов, что и будет общим доказательством отсутствия целочисленных решений для «пространственных» и «субпространственных» фигур вообще.

    Нерешаемость в целых числах уравнения с разложением числа в четвертой степени на два слагаемых в той же степени безупречно доказана Пьером Ферма с помощью его «метода спуска», а для третьей степени спустя столетие Эйлером. В наше время с помощью электронно‑вычислительных машин доказана подобная нерешаемость для всех чисел до многих миллионов с показателями от 3 до 100 000, что, по мнению Ферма, доказывать уже не требовалось, поскольку для четвертой степени это доказано и для третьей степени тоже удалось доказать, подтвердив тем, что «вероятностные кривые Ферма» расходятся. [↑](#footnote-ref-42)
43. Математики, предполагающие, что Ферма ошибся в своем доказательстве Великой теоремы и она простыми средствами якобы недоказуема, могут отыскать «ошибку» и в приведенном здесь «*гипотетическом* » «методе подъема», учтя, однако, при этом как его «литературную условность», так и математическое значение упомянутых «вероятностных кривых», которые, очевидно, должны отражать поддающуюся экстраполяции закономерность. И не забыть при этом корректность практической проверки доказательства. (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-43)
44. Написан в содружестве с Марианом Сияниным. [↑](#footnote-ref-44)
45. Герловин И. Л. Некоторые вопросы систематизации элементарных частиц. — Труды Глав. астр, обсерватории АН СССР. Л., 1966. [↑](#footnote-ref-45)
46. Протодьяконов М. М. и Герловин И. Л. Электронное строение и физические свойства кристаллов. М., «Наука», 1975. [↑](#footnote-ref-46)